

А. БОГДАНОВ

334

# О ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ

## 1904—1924



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ  
ТОВАРИЩЕСТВО „КНИГА“

ЛЕНИНГРАД, Пр. 25 Октября, 74, тел. 134-34 и 170-94  
МОСКВА, Тверская 38, тел. 264-61 и 377-23

1924



2005347837

Типография / имени тов. Володарского, аренд. Красной Газетой.  
Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 6198.

Отпеч. 4.000

1904 — 1924





## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Мы считаем появление в свет этой книги своевременным и целесообразным не потому, чтобы разделяли взгляды А. А. Богданова на культуру вообще и на пролетарскую культуру в частности. Мы отнюдь не принадлежим к числу их сторонников. Но мы находим полезным издать эту книгу потому, что придаем ей большое значение с иной точки зрения, а именно дискуссионной.

В настоящее время вопросы культуры стоят у нас в центре общественного внимания, занимая в нем место, если не на ряду, то прямо вслед за вопросами экономическими, вызывая оживленное обсуждение, порождая целую обширную литературу, где выступают разнообразные и противоречивые мнения. Этот интерес, понятно, не является случайным. Он связан с переходом Советской России на путь мирного строительства по линии новой экономической политики. Для успеха на этом пути необходимо завоевание культуры пролетариатом и крестьянством. Но существующая культура, та, о которой можно говорить как о настоящей, целой культуре, а не о ничтожных зародышах и больших мечтаниях, есть культура буржуазная. Значит, требуется завоевание буржуазной культуры рабоче-крестьянскими массами, как и было указано Я. Яковлевым, в его статьях-фельетонах в «Правде», а также и другими, при дискуссии по этому вопросу еще два года тому назад. Но самая мысль о рабоче-крестьянском завоевании буржуазной культуры заключает как-будто противоречие. Противоречие в значительной мере только кажущееся, поскольку нынешняя культура, хотя и находящаяся в руках буржуазии, хотя и вырабатываемая буржуазными учеными, инженерами, мыслителями, писателями, артистами, есть на самом деле культура вообще, просто культура. Однако, и противоречие действительное, диалектическое, поскольку буржуазия,

владеющая этой культурой, совместно со своими прислужниками, пользуется ею, как средством господства и средством угнетения трудовых масс. Отсюда множество опасений и недоверия, боязнь, как бы эта буржуазная культура не развратила, не «обуржуазила» народные массы. Указывают, что при НЭПе, заключающем в себе методы государственного капитализма и допускающем в широких размерах, хотя бы и в строгих рамках, элементы частно-капиталистические, такая опасность становится тем значительнее. Проявляют недоверие к силе и способности рабоче-крестьянской массы переварить буржуазную культуру без вреда и с пользой для себя.

Не приходится, конечно, закрывать глаза на тот факт, что упомянутые опасности существуют. Всем известно и неоднократно раскрывалось в печати, что иные профессора и педагоги, доставшиеся нам по наследству от буржуазно-помещичьего строя, пытаются нередко, под видом изложения и преподавания «чистой» науки, проводить анти-материалистические, анти-марксистские идеи. С этим надо бороться, это подлежит контролю и исправлению. Но надо ли от этого впадать в такую панику, чтобы искать спасения в планах немедленной «пролетаризации» самой науки, планах явно утопических, если подумать о том, как еще мало у нас пролетарской просто интеллигенции, не то что ученых, и какая огромная масса просветительных усилий требуется еще для того, чтобы дать многомиллионному крестьянству хотя бы грамотность и зачатки той культуры, которая не является ни буржуазной, ни пролетарской, а необходима всякому классу и всему обществу в целом.

Мы, впрочем, вовсе не имеем сейчас в виду критиковать относящиеся сюда идеи А. А. Богданова, это не входит в нашу задачу и было бы едва ли уместно в кратком предисловии. Но мы хотим выяснить читателю, почему считаем полезным представить ему более или менее полное и систематизированное самим автором собрание работ А. А. Богданова по пролетарской культуре. Дело идет не о литературных достоинствах этих работ и их общем интересе: мы думаем, что с этой стороны автор не нуждается в нашей рекомендации. Но мы хотим показать, какое значение может иметь данное собрание разбросанных в разное время по разным изданиям его работ в обсуждении и выяснении столь

определенно и настоятельно выдвинутого жизнью вопроса, к которому нельзя относиться безразлично, который надо решать так или иначе, и решать, конечно, на основе достаточного и полного материала.

Между тем, каково положение теперь? Имеется целый ряд, целая радуга мнений: на одной стороне—твердо-отрицательная позиция Л. Д. Троцкого, блестяще выраженная в его «Литературе и революции», «Вопросах быта»; сдержанно и осторожно, с большими оговорками положительная позиция Н. И. Бухарина в его статье «Буржуазная и пролетарская революция» и брошюре «Пролетарская революция и культура»; еще более приближающиеся порою к собственно-«пролеткультовским» взгляды А. В. Луначарского в его последней брошюре «Культура в капиталистическую эпоху» и целом ряде прежних статей, а также в его «Диалоге об искусстве»; затем разные оттенки пролеткультовства и новейшего «лефовства»; наконец, идеи А. А. Богданова. Во всем этом разнообразии предстоит еще разобраться, из него должно выкристаллизироваться ясное и определенное решение вопроса. Но для этого необходимо всестороннее освещение дела, всесторонняя критика; а она требует ясных сводок и материала, и мнений, притом в историческом охвате. В этом смысле предлагаемое собрание работ А. А. Богданова представляет двойной интерес.

С одной стороны, перед нами прямая и резкая постановка вопросов, связанное и по-своему последовательное их решение, вокруг которого сгруппировано много фактического материала и теоретических соображений. Пусть постановка вопросов, как нам кажется, черезчур упрощенная, решения черезчур прямолинейные, недостаточно считающиеся с конкретной действительностью (сам Богданов не даром считает себя «максималистом» в вопросах культуры). Но и не соглашаясь со всем этим по существу, мы получаем некоторую цельную канву для обсуждения, критики, нового, иного, быть может, противоположного решения.

С другой стороны, история вопроса, развитие относящихся к нему идей должны быть учтены в дискуссии. А. А. Богданов, как известно, не только больше других, но и раньше других писал о пролетарской культуре; в первые годы революции, да и потом его не мало повторяли. Получился такой результат, что

и теперь многие, совершенно не сочувствующие А. А. Богданову, как теоретик<sup>у</sup> вообще, даже относящиеся к нему прямо отрицательно, сами того не зная, повторяют иные его мысли, при чем считают их просто—марксистскими и ортодоксальными. Надо, разумеется, чтобы они знали, и уже в знании дела признавали или отвергали эти идеи.

Они должны будут, притом, считаться с внутренним единством идей А. А. Богданова во всех областях, где он выступал. Как правильно указывал В. И. Невский, о чем бы ни писал А. А. Богданов, о вопросах философских, социологических, культурных, даже экономических, он всюду проводит, в сущности, одно и то же, свой «организационный» метод, свою «тектологическую» точку зрения. Его взгляды на культуру тесно связаны со всеми прочими, это очень ясно и наглядно выступит для читателя в предлагаемой книге. И в то же время, как раз культурные идеи Богданова, имевшие полосу широкого успеха, оказали наибольшее, явное или скрытое влияние на распространение других сторон его системы. И как раз они же встретили и наименьшую до сих пор критику.

Как вообще обстоит дело с критикой Богданова? Раньше всего и шире всего она развернулась по философской линии. Здесь на первом плане стоят Плеханов и Ленин, затем целая плеяда философов-плехановцев—Л. И. Ортодокс, А. Деборин, Н. Рахматов, Ольгин, Грабовский (Горин), в последнее время В. Сарабьянов, С. Голышев, Бескин и др. Но этот богатый и ценный материал в общей критике Богданова и в нынешней обстановке уже стал менее актуальным не только вследствие того, что главная и важнейшая его часть—работы Плеханова и Ленина—написаны пятнадцать и более лет тому назад, но и потому, что сам Богданов уже отказался от философии вообще, и уже много лет старается заменить ее своей «Всеобщей организационной наукой» или «Тектологией». Правда, он не отрекался от своего «эмпириомонизма», как от заблуждения; но он рассматривает его, как окончательно пройденную ступень: его «тектология», по замечанию Н. И. Бухарина в его «Историческом материализме», есть «оригинальная попытка преодоления философии». В выпущенном нами 3-м издании богдановской «Философии живого опыта» помещен специальный его доклад «От ре-

лигиозного монизма к научному», посвященный общему спровержению и, так сказать, похоронам всякой философии.

Но уже критика «Организационной науки» представлена в литературе несравненно слабее,—мы можем указать только статью В. И. Невского «Философия мертвой реакции в приложении к последнем издании книги Ленина «Эмпириокритицизм и диалектический материализм», и статьи И. Вайнштейна в «Октябре мысли». Критика же социологического учения Богданова о классовой борьбе только начинается (статьи А. Удальцова в «Под знаменем марксизма» и того же И. Вайнштейна в «Октябре мысли»). Также в самом начале находится и критика его экономических идей. Но, пожалуй, всего меньше затронута именно культурная его позиция.

Что мы здесь имеем? Ни Троцкий, ни Бухарин не подвергли ее прямому критическому анализу, хотя высказали ряд аргументов и соображений, которые могут быть отнесены к ней. Затем два фельетона Я. Яковлева в «Правде». А дальше, по видимому, остается только старая меньшевистская критика в «Нашей Заре» 1913—1914 г.г., главным образом, А. Н. Потресова, да еще более ранняя полемика Г. Алексинского, что, разумеется, и устарело и вообще удовлетворить нас не может.

Повторяем, мы не сторонники воззрений Богданова; но раз мимо них просто пройти нельзя, а это, кажется, всеми признается, то нужна серьезная и систематическая их критика. И мы полагаем, что издаваемая нами книга, для этой цели необходимая, окажется полезной и для общего уяснения постановки вопросов культуры, классовой и не-классовой, в наше переходное время.

## ОТ АВТОРА.

Может показаться странным, что этот сборник начинается со статей 1904 года, тогда как самый лозунг пролетарской культуры был впервые открыто сформулирован в 1909 г., в партийной рабочей школе (о чем здесь рассказано в статье о «Пролетарском университете»).

Но дело в том, что три статьи 1904 года, напечатанные в московском журнале «Правда» и потом составившие книжку «Новый Мир», по существу представляют изображение именно высшего культурного типа жизни—типа социалистической, а в истоке своем пролетарско-классовой культуры.

Статьи о пролетарском искусстве и пролетарской науке были большей частью напечатаны в «Пролет. Культуре», органе Всеросс. Пролеткульта, за 1918—1921 г.г., и, кроме двух—трех, вошли в маленькие сборники «Искусство и рабочий класс» и «Социализм науки», изданные тогда же. Прибавлены из новошедших в эти сборники:

- 1) Нелегальная статья 1910 г.—«Социализм в настоящем».
- 2) Не увидевшая света из-за цензуры статья 1914 г.: «Возможно ли пролетарское искусство?» (полемика с А. Н. Потресовым и Г. Алексинским).
- 3) Три доклада на всероссийских съездах «Пролеткульта» о пролетарской науке, искусстве, о путях творчества.
- 4) Литературно-критическая статья «Простота или утонченность?» (о блужданиях пролетарских поэтов—из «Прол. Культ.» 1920 г.).
- 5) Доклад «Идеал воспитания» (сделанный на Московской учительской конференции 1918 г.).
- 6) Две статьи о «Пролетарском университете» (из «Пролет. Культуры» 1919 г.).

- 7) Статья «О тенденциях пролетарской культуры» (ответ Гастеву—оттуда же).
- 8) Доклад «О международном языке с точки зрения пролетарской культуры», раньше не напечатанный.
- 9) Новая статья, 1924 г.—«Законы новой совести».

По недостатку места, в сборник не вошли, кроме мелких статей и нескольких докладов, работа, вышедшая в 1911 г.—«Культурные задачи нашего времени», статья 1917 г. — «Программа культуры» (была напечатана в сборнике «Вопросы социализма» 1918 г.), «Элементы пролетарской культуры в развитии рабочего класса» (лекции 1919 г. в Московском Пролеткульте, напечатанные книжкой в 1920 г.). Из них самостоятельное значение сейчас сохраняет только последняя.

# НОВЫЙ МИР<sup>1)</sup>.

(1904 — 1924).

Эти три статьи составляют одно целое. В них я стремился обрисовать развитие нового высшего типа жизни, как я его понимаю. Статья первая посвящена изменению типа человеческой личности—устранению той узости и неполноты человеческого существа, которые создают неравенство, разнородность и психическое раз'единение людей. Статья вторая говорит об изменении типа общественной системы—устранении элементов принуждения из отношений между людьми. Статья третья намечает изменение типа человеческого познания—освобождение от фетишей, ограничивающих и извращающих познавательное творчество. В выяснении вопросов я старался идти по тому пути, который указан Марксом—искать линии развития «высших» проявлений человеческой жизни, опираясь на их зависимость от развития основных ее условий. В моей работе дело идет, разумеется, только о самых общих контурах нового жизненного типа.

---

<sup>1)</sup> Три статьи—«Собирание человека», «Цели и нормы жизни», «Проклятые вопросы философии». Они были напечатаны в московском журнале «Правда» 1904 г., а затем отдельными изданиями в виде книжки «Новый мир». — 1918



## I. СОБИРАНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

«Создал бог человека по образу  
и подобию своему...»

*Книга Бытия.*

«Общественное бытие определяет  
собой сознание людей...»

*К. Маркс.*

«Человек — мост к сверхчело-  
веку».

*Фр. Ницше.*

Что такое человек? Вопрос этот одни решают слишком прямо и конкретно, другие слишком сложно и отвлеченно. Оба типа решений во многом сходятся между собою не только со стороны реального содержания, которое охватывают, но и со стороны основной точки зрения, из которой исходят. Это наивные решения.

Для обывателя «человек» вовсе не загадка, не «проклятый вопрос», а просто живой факт его обывательского опыта: «человек» — это он сам и другие обыватели, и все, кто обладает достаточным сходством с ними. Решение, как видим, не только наивное, но явным образом и не вполне определенное. Однако, оно совершенно удовлетворяет обывателя: своей незатейливостью оно как нельзя более соответствует несложности запросов обывателя, своей узостью — крошечным размерам того мира, в котором он живет.

Для философа-метафизика «человек» — великая загадка, но при помощи «самонаблюдения», «умозрения» и других методов он разрешает ее довольно легко: «человек» — это существо, одаренное «разумом», «нравственной свободой», «стремлением к абсо-

лютому» и т. п. возвышенными свойствами. Формулы как будто не слишком отчетливые, не слишком точные, но для метафизика они обладают вполне достаточной определенностью. Они удовлетворительно резюмируют его личный опыт, кабинетный и житейский: «разум» для него означает способность к схоластическим упражнениям с их тонкостями и ухищрениями; «нравственная свобода» — склонность нарушать свои практические принципы и затем раскаиваться в том, что поступил так, а не иначе; «стремление к абсолютному» — общую неудовлетворенность жизнью, смутное сознание бессодержательности и бесплодности своего существования и т. д. И здесь наивность мышления заключается в том, что свой маленький и дрянный мирок, не стараясь расширить и развить его действительное содержание, делают, незаметно для себя, мерою для такой большой вещи, как человечество.

Наивным точкам зрения противопоставляются научные. К сожалению, в этом вопросе их имеется до сих пор не одна, а несколько. Так, для общей науки о жизни «человек» характеризуется определенными анатомическими и физиологическими особенностями, для психологии — определенными сочетаниями фактов сознания, для социальной науки — определенными отношениями к себе подобным, и т. д. Все эти точки зрения, разумеется, вполне законны и удовлетворительны каждая в своей области; но в одном отношении они недостаточны, и уступают даже наивно-обывательской и наивно-схоластической: все они «парциальны», частичны.

«Человек» есть целый мир опыта. Этот мир не охватывается полностью ни анатомическим и физиологическим комплексом — «человеческое тело», ни психическим комплексом — «сознание», ни социальным — «сотрудничество»... И если мы грубо соединим, механически свяжем все эти точки зрения, у нас еще не получится целостной концепции: собрание частей еще не есть целое.

В этом смысле и обывательская точка зрения, и ее разновидности — схоластическая имеют несомненное преимущество: каждая из них формально берет человека целиком, не отвлекая ту или другую его «сторону». Но от такой формальной целостности, к сожалению, толку очень немного, потому что содержание в обоих случаях берется мелкое и неопределенное. Самая «ни-

рога» этих концепций оказывается узкой и односторонней: «человек» выступает в них не как нечто беспредельно развивающееся, а как нечто неподвижное в своих основах, статически-данное: в одном случае он всецело ограничивается рамками обывательщины наивной, в другом—рамками обывательщины философской; здесь он навсегда обрекается быть существом «полным страха и надежды, что бог сжалится над ним», там—существом полным праздных размышлений чистого разума об истинном познании и безнадежных мечтаний разума практического о преодолении всех инстинктов. Общая предпосылка состоит в том, что «всякой твари предел положен есть», его же не преи-деши...

Задача состоит в том, чтобы дать и научную и в то же время интегральную, а не частичную, только концепцию «человека». Для этого надо рассматривать человека не только как целый мир опыта, но и как мир развертывающийся, не ограниченный никакими безусловными пределами.

## I.

Человек—мир, но мир частичный, не космос, а микрокосм, не все, а только часть и отражение великого целого.

Но почему он не целое? Что делает его частью? То, что связывает его с целым.

Если бы человек был один, он не был бы микрокосмом. Его опыт и мир совпадали бы между собою. Он, может быть, отличал бы от своего тела другие предметы, но все они были бы исключительно предметами его опыта. Всякое расширение этого опыта было бы тогда расширением мира в целом.

Общение с другими существами—вот что делает человека микрокосмом.

Только это общение научает человека тому, что есть вещи, которые не принадлежат к его опыту, и, однако, «существуют», потому что принадлежат к опыту других людей, что есть переживания, которых он не испытывает, и которые, однако, «реальны», потому что протекают в сознании других людей. Он убеждается, что поток опыта не один, а их много, и все они сливаются для него в бесконечный океан, который он называет природой.

Таким образом, между «человеком» — индивидуальным миром опыта и «природою» — миром универсальным связь создается средою общения, социальной средою в точном смысле этого слова. И если мы хотим решить вопрос, что такое человек среди всеобщего мирового процесса, то путь к решению лежит для нас через другой вопрос: в каком отношении находится опыт отдельного человека к опыту других живых существ?

Эти другие существа прежде всего, конечно, люди — именно те, с которыми он находится в наиболее тесном жизненном общении. — члены того общества, к которому он принадлежит.

## II.

На заре жизни человечества между опытом отдельного человека и коллективным опытом его «общества» разница сравнительно очень небольшая и очень простая: это разница количества, а не качества.

Первобытное родовое общество — это мир стереотипных людей, с ничтожными вариациями повторяющих один другого. Формы жизни просты, элементарны, однообразны; все что доступно в опыте одному члену родовой группы, доступно и всякому другому: что делает и умеет делать один, то делает и умеет всякий другой: что знает один, то знает и всякий другой. Одинакова среда, в которой каждый из них живет и действует: одна и та же маленькая группа людей, один и тот же маленький клочок природы. Одинаковы и средства, которыми каждый располагает в своей жизни и деятельности: один и тот же стихийно накопленный группою запас трудового опыта, одни и те же примитивные орудия.

Тут нет ничего такого, что выделяло бы некоторых среди остальных принципиально более широким содержанием жизни, ничего такого, что отличало бы некоторых от остальных принципиально и иным материалом опыта. Есть только незначительные количественные различия силы, ловкости, памяти, сообразительности: по существу, в полном жизненном цикле особей опыт каждого равен опыту всех.

Мышление людей при этом имеет «силошной» характер. Группа живет, как целое: нет личности, нет идеи «я», как

особого центра интересов и стремлений. Оттого в первобытных языках и не было личных местожительств.

Не раз пытался идеализировать первобытную жизнь, представить ее золотым веком позади нас. Отсутствие власти и подчинения истолковывали—как господство свободы и равенства; отсутствие внутренней борьбы в родовой группе и ее тесную сплоченность на почве кровной связи—как осуществление братства. Все это большая ошибка. Наши идеи свободы и равенства возникают из такого опыта, в котором существуют угнетение и неравенство; они выражают активные стремления, направленные против этих фактов опыта; наша идея братства также возникает из реальных противоречий общественной жизни и выражает активные стремления, направленные против их фактического господства. Где опыт не дает отрицательной основы для этих идей, там они пусты и неприменимы. Таковы они по отношению к первобытному обществу.

Простота и элементарность жизни еще не составляют ее гармонии, потому что гармония—это примирение противоречий, а не простое их отсутствие, объединение разнообразного, а не простое однообразие. Если гармония не всегда воплощается в могучем движении, то она всегда включает в себе возможность могучего движения. Этого нет в первобытной жизни людей: она неподвижна, стихийно-консервативна.

Бедность содержания жизни—такая бедность, какой мы не можем себе представить—основная причина этого консерватизма. Развитие, творчество жизни возникают из богатства комбинаций опыта. Где весь материал опыта сводится к небольшому числу привычных ассоциаций образов, привычных эмоций и действий, там нет условий для развития и творчества. Где все строение психики основано на привычке, там нет и потребности в изменениях. Основное орудие человеческого развития—познание, строго говоря, не существует в этом мире: то, что лежит в рамках привычного, не вызывает потребности «объяснения»; то, что, неожиданно являясь извне, нарушает эти рамки, в привычном материале психики не находит данных для своего объяснения. Жизнь без познания стихийна, власть природы над нею безраздельна.

### III.

При всей своей неподвижности первобытный мир обладает своими собственными силами развития. Это, конечно, стихийные, биологические силы: размножение, перенаселение, голод... Они вынуждают развитие, и оно совершается—в долгом ряду тысячелетий, с такой медленностью, которая недоступна нашему воображению.

Сначала это развитие имеет чисто-количественный характер: поле опыта расширяется, сумма переживаний возрастает,—но «общество» остается комплексом однородных единиц, «человек»—существом цельным и стереотипным. Это продолжается до известного предела, за которым изменения становятся качественными.

Сумма коллективного опыта возрастает до таких размеров, что отдельный человек овладевает ею только в поздних стадиях своей жизни, да и то не каждый в полной мере. Тогда выделяется старший в роде, как носитель всего опыта группы, в противоположность остальным ее членам, располагающим лишь неполным опытом.

Первоначальная однородность отношений внутри группы шаг за шагом исчезает. Один, опираясь на свой накопленный опыт, начинает указывать, остальные—следовать его указаниям. Это различие в дальнейшем возрастает, потому что неоднородность жизненной роли людей сама обуславливает неоднородность последующего развития.

Чтобы в пределах своей психики охватить наибольшую сумму опыта, тот, кто указывает другим, все в большей мере суживает свою «физическую» активность: он реже и реже действует лично, чаще и чаще—через других; он превращается в распорядителя по преимуществу, в организатора групповой жизни. Остальные, напротив, сохраняют все меньше личной инициативы, привыкают подчиняться, становятся постоянными исполнителями пчужих указаний. Относительная бедность их жизненного содержания—благоприятное условие для такой деятельности: больше автоматизма, меньше колебаний, организатору легче справиться со своей задачей.

Так совершилось первое дробление человека — отделение «головы» от «рук», повелевающего от повиняющегося; так возникла авторитарная форма жизни. В дальнейшей истории человечества она, развиваясь и усложняясь и разрушаясь, выступает в бесчисленных вариациях; до сих пор это — основное и главное разделение общества. В виде мягкого матриархата и сурового патриархата, в виде облеченной религиозной тайною власти жреческой и облеченной силою оружия власти феодальной, в виде чуждой всяких формальностей системы рабства и полной холодного формализма системы наемного труда, в виде бессмысленнотупого восточного деспотизма и западно-культурной власти избранника, в виде бумажно-сухой власти бюрократа над обывателями и опирающейся на правственную силу власти идеолога над его согражданами — во всех этих изменяющихся формах авторитарное дробление человека сохраняет одну и ту же основу: отчетливо или смутно, опыт одного человека признается принципиально неравным опыту другого, зависимость человека от человека становится односторонней, воля активная отделяется от воли пассивной.

#### IV.

Дробление человека вызывает дробление мира.

Дело начинается с того, что мышление людей перестает быть «сплошным», что один человек в их сознании отделяется от другого, как особый, своеобразный мир опыта. Возникает «я» — центр отдельных интересов и стремлений. Но оно находится еще в самом начале своего развития: это «я» — личность организатора; ему нет еще антитезы в виде других «я», которые бы с ним сталкивались, как независимые от него единицы; перед ним только подчиненные единицы, которые с ним неразрывно связаны, как низшие органы его организма. Организатор не может вполне отделить себя, как самостоятельное «я», от исполнителей: он им соотносителен, без них он немислим, как и они без него; логической невозможностью является и организатор без исполнителей, и исполнители без организатора.

Дальше, авторитарное дробление распространяется на всю природу, сохраняя тот же характер соотносительности и связности.

Первобытному мышлению мир представлялся как хаос действий, потому что именно в форме действий являлась человеку его собственная борьба за жизнь. При этом «действие» выступало в сознании как единый и цельный жизненный акт среди других таких актов. Теперь же «действие» дробится в опыте, разлагается на два отдельных момента,—на активно-организаторскую волю и пассивное ее выполнение. И вся природа, как мир действий, становится такой же двойственной: во всяком явлении принимается активная воля, как определяющее, и пассивная сила, как определяемое: это «дух» и «тело». Сам человек—явление в ряду явлений—подвергается такому раздвоению наряду со всем остальным: он приобретает «душу», как приобретают ее в то же время камни, растения, животные, светила. Развивается анимизм, как всеобщая форма мышления.

Нет надобности специально доказывать, что отношение «духа» и «тела» есть именно авторитарное отношение господства и подчинения, высшего и низшего. Но и фактически, насколько мы знаем историю первобытного человечества, этот дуализм именно там и тогда возникает в сознании людей, где и когда в общественной системе уже существует авторитарное дробление. И дальше, по мере того, как авторитарное дробление развивается, усложняется, меняет свои формы, то же самое происходит с авторитарным дуализмом мышления. Когда сознание группирует обширные ряды явлений в сложные единства, то за каждым таким рядом выступает организующая его высшая сила, и боги и божества политейзма занимают свои почетные места в человеческом мышлении. Когда развивающееся познание достигает обобщения всех рядов опыта в *Universum*, в мировое целое, тогда наступает эпоха единобожия. Когда противоречия социальной жизни, отражаясь в психике личности, порождают этическое мировоззрение, тогда человек раздвигает собственное сознание, противопоставляя в нем высшие стремления низшим, разумный долг—слепым инстинктам... Дуализм и религиозное сознание дороги именно тем классам общества, которые живут в атмосфере авторитарных отношений по преимуществу, которые тяготеют к власти и подчинению.



Где расцветает авторитарная жизнь, там расцветает и дуалистически-религиозное миропонимание, и в такой же связи совершается их упадок.

Авторитарный дуализм есть исторически-первая форма «миро-воззрения»: до него не было той связи опыта, для которой подходило бы это слово. Вместе с авторитарным дуализмом возникло то, что мы называем «познанием»: различая в явлениях активное и пассивное начало, человек тем самым уже «объясняет» через первое проявление второго. Это, разумеется, только начало познавательного развития; цепь «объяснения», цепь причинности обрывается здесь уже на втором звене: если явление имеет свою причину в собственной «душе», то дальше этой души объяснению идти некуда. Но подобно тому, как авторитарные отношения, расширяясь, развертывались в длинные ряды последовательных звеньев, усложнялась и развертывалась также цепь причинности; в общественной жизни людей авторитарные ряды отношений всегда сходились в каком-нибудь одном высшем авторитете; и точно так же познание людей стремилось сводить все причинные ряды в одной высшей первоначальной причине. Так познание отражает общественную жизнь людей не только в своем содержании, но и в своих формах.

## V.

В сущности, авторитарные формы дробят не столько самое содержание человеческого опыта, сколько отношения людей к данному опыту. Тот, кто повелевает, и тот, кто подчиняется, неизбежно с различной точки зрения воспринимают одни и те же факты.

Вторая фаза дробления человека—специализация—идет в другом направлении. Здесь для каждого качественно суживается содержание жизни, и коллективный опыт оказывается разделенным между людьми так, что одному достается по преимуществу одна его область, другому другая, и т. д. Сапожник знает свои колодки, купец свой прилавок, ученый свои фолианты, жрец свои молитвы, философ свои силогизмы. Микрокосм делается мал и узок, мир заслоняется колодками, прилавками, фолиантами, мысль вращается в тесном кругу, и не может из него выбраться.

Это суженное существование не способно к самостоятельности, и потому даже не в силах окончательно вывести человека из-под власти авторитаризма: она сохраняется в виде патриархального господства отца в семье, экономического господства предпринимателя в предприятии, политически-организаторской роли бюрократии, идейно-организаторской роли идеологов, и т. д.

Специальным опытом определяется специальное мировоззрение. В сознании одного специалиста жизнь и мир выступают как мастерская, где каждая вещь готовится на свою особую колодку, в сознании другого—как лавка, где за энергию и ловкость покупается счастье, в сознании третьего—как книга, написанная на разных языках и разными шрифтами, в сознании четвертого—как храм, где все достигается путем заклинаний, в сознании пятого—как сложная, разветвляющаяся схоластическая задача, и т. д. и т. д. В мире торговли и кредита вырастает утилитарист, для которого любое проявление жизни арифметически оценивается на разменную монету выгоды; в атмосфере специально-правовой деятельности юрист, который даже законы природы невольно рассматривает как нормы, извне для нее установленные и не подлежащие нарушению; среди стихийно-могучей и гармонически-связной работы машин современный работник бессознательно усваивает механическую концепцию природы... Всякий строит мир по образу и подобию своего специального опыта.

Вместе с тем суживается возможность взаимного понимания людей. Имея дело с различным содержанием опыта и создавая для этого содержания неодинаковые формы, члены общества, развившего специализацию, говорят неминуемо на разных языках. И если бы специализация могла бесконечно развиваться, если бы наряду с дроблением коллективного опыта значительная его часть не оставалась общей для всех, то повторилась бы история вавилонского столпотворения, и люди принуждены были бы разойтись вследствие полного взаимного непонимания.

## VI.

Специализация не разрушила общества, но все же она в высокой степени его разединила.

Хотя специализация возникла среди авторитарных отношений, не, развиваясь, она перестает укладываться в рамки той или иной

авторитарной группы. В своей обособленной сфере опыта каждый специалист встречает гораздо меньше сопротивлений, чем прежние цельные люди в своем разностороннем мире; поэтому расширение опыта идет здесь несравненно быстрее. Мир коллективный, разрастаясь одновременно по различным «специальным» направлениям, достигает колоссальных размеров по сравнению с прежней суммой коллективного опыта.

Между тем, силы старого авторитета ограничены хотя бы потому, что форма его конкретна и персональна; он воплощается в живом человеке, а никаких сил человеческих не хватит на то, чтобы владеть всей суммой опыта, какую представляет жизнь специализированного общества. Коллективное целое уже не может сдерживаться и регулироваться одной волею, оно дробится, распадается на независимые группы. Это—индивидуальные хозяйства.

Центром каждой такой группы становится отдельный «специалист». Он участвует в социальной жизни, как вполне самостоятельная единица, которой ничья чужая воля не предписывает ни путей, ни средств в ее трудовой деятельности. Общество, как целое, становится неорганизованной, анархической системой, и потому оно полно противоречий. Живя разнородной жизнью, будучи независимы по форме, но постоянно сталкиваясь в силу необходимой материальной связи, элементы общества оказываются взаимно неприспособлены, а это значит—взаимно враждебны. Коллективный мир превращается тогда в мир конкуренции, борьбы интересов, войны всех против всех...

Тогда развивается и выступает на первый план человеческое «я».

## VII.

В мире специализации уже одно различие жизненного опыта вместе с его результатом—неполным взаимным пониманием людей—глубоко ограничивает человека от человека в их сознании. Это отграничение упрочивается благодаря внешней независимости отдельной личности от других в ее трудовой деятельности. Оно завершается на основе взаимной борьбы людей, вытекающей из противоречия их жизненных интересов.

Реально противопоставляясь другим «я», человеческое «я» становится самостоятельным центром интересов и стремлений. Молот общественного антагонизма выковывает индивидуалистическое сознание.

Перед нами уже не то соотносительное «я» авторитарного мира, которое не может представить себя без исполнительского «ты»: перед нами «я» абсолютное, «я» an und für sich, само по себе и само для себя, чуждое сознания своей органической связи с другими «я» и всем миром.

Старый авторитет не в силах примириться с этим развивающимся анархическим сознанием,—он вступает в борьбу с ним, пытается подавить его. В борьбе с авторитетом индивидуализм становится освободительным течением. Эта его роль имеет громадное историческое значение, но она исторически проходяща. В старых революциях XVII и XVIII веков она выступает еще в полной силе; в революциях нашего времени борьба индивидуализма против авторитарного прошлого все более отступает перед его борьбой против социалистического будущего.

### VIII.

«Абсолютное» индивидуальное «я» выражает собою социально-раздробленный опыт и жизненное противоположение человека человеку. Понятно, что единство общественного целого — вне его поля зрения. И это единство не только невидимо для личности,— оно, кроме того, несовершенно, стихийно, неорганизовано: оно полно жизненных противоречий. Личность и в этих противоречиях недоступного и непонятного ей целого, она бессильна перед ними; стихийные силы общественной жизни господствуют над человеком.

Каков опыт, таково мышление. Оно индивидуалистично, его вечным центром является «я», «абсолютное», оторванное от общественного—и тем более от мирового целого: это «я»—«субъект», противостоящий всему остальному, как «объекту», в бесконечном ряду явлений действительности оно не находит себе места. Оно мучительно чувствует господство над собою каких-то темных сти-

хийных сил,—но эти силы переходят за пределы его опыта, они сверх-индивидуальны; и свое смутное представление о них человек воплощает в безличных абстрактных метафизики, с их неопределенным, колеблющимся содержанием. Вся жизнь, весь мировой процесс представляются тогда сознанию «проявлением» таинственных, безлично-абстрактных реальностей, глубоко скрытых под корою «видимого» мира, как его непознаваемая «сущность».

В философских головах эти метафизические формы мышления получают только наиболее чистую и тонкую отделку; но они характерны для всякого индивидуалистического сознания, как бы ни было смутно и неуклюже их выражение в психике неученого обывателя.

## IX.

Воплощая в себе раздробленный, противоречивый опыт, индивидуалистическое сознание необходимо становится жертвою «проклятых вопросов». Это те безнадежно-бесплодные вопросы, на которые вот уже сколько веков «глушец ожидает ответа». Что я такое?—спрашивает он,—и что этот мир? Откуда все это? Зачем? Почему столько зла в мире? и т. д., до бесконечности.

Приемлитесь к этим вопросам, и вам станет ясно, что это—вопросы раздробленного человека. Именно их должны были бы задавать себе раздвинутые органы одного организма, если бы продолжали жить и могли спрашивать.

Что я такое?—разве это не самый естественный вопрос для какого-нибудь пальца руки, оторванного от тела? Зачем я? откуда?—как не спрашивать об этом живой части, потерявшей связь со своим жизненным целым? И неминуемым дополнением этих вопросов выступают другие—относительно того целого, которое необходимо и в то же время недоступно для своей части: что такое мир, зачем он, откуда? А там, где проходит разрыв живой ткани, отделяющий орган от тела, там чувствуется мучительная непонятная боль;—и вот вопросы о зле жизни.

Безнадежность вопросов вытекает из того, что никакие ответы на них все равно не могут и не должны удовлетворить индивидуалистического сознания. Ведь эти вопросы выражают муки разорванной жизни,—и пока она остается разорванной, никакой

ответ не прекратит боли, потому что на боль вообще не может быть ответа. Здесь все бесполезно; даже когда развивающаяся критика докажет, что эти вопросы неверно поставлены, не имеют смысла, основаны на ложных посылах,—даже тогда индивидуалистическое сознание не перестанет задавать их, потому что критика не в силах реально преобразовать это сознание, не в силах превратить его из жизненной дробы в целое.

## X.

Специализация не устранила авторитарного дробления человека, она только ограничила его поле и создала для него новые рамки. «Специалист» — ремесленник, крестьянин, ученый — не только внешним образом независим в своей деятельности, но он еще «авторитет» в пределах той маленькой группы, с которой связан прямой жизненной связью: он «глава» своей семьи, своего хозяйства. «Мещанский мир» — это мир авторитарно-индивидуалистический.

Блестящий представитель этого мира, Людвиг Берне, определил, помнится, свободу, как деспотизм в известной, ограниченной сфере. Эта сфера прежде всего, конечно, семья; и потому великий либерал горячо отстаивал рабство женщины и детей.

Мышление мещанского мира естественно совмещает в себе и авторитарный дуализм и индивидуалистическую разорванность. Оно религиозно и метафизично. Его *Universum* раздвоено по всей линии и полон таинственных противоречий.

## XI.

Дробление человека порождает не только неполноту жизни, раздвоенность опыта, разорванность мира; оно порождает реальные жизненные противоречия и через них — развитие.

В раздробленном человеке со стихийной силою возникает потребность стать целым. Она несет ему тяжелые муки неудовлетворенности, но и толкает его на путь борьбы за ее удовлетворение. На этом пути совершается собирание человека.

Процесс этот жизненно-сложнее и потому жизненно-труднее, чем процесс дробления. Таким образом, пока этот последний раз-

вивается прогрессивно, первый неминуемо отстает от него все более. В результате, хотя собирание человека постоянно вызывает дробление и идет за ним следом, но оно им совершенно маскируется в течение долгих периодов жизни человечества. Только тогда, когда процесс дробления замедляется и приостанавливается, только тогда процесс собирания выступает на первый план, и налагает свою печать на развитие жизни человечества.

Новейшее время истории является эпохой собирания человека.

## ХП.

В специализированном обществе потребность объединить, сознательные попытки в этом направлении. Эти попытки брать раздробленный опыт достигает такой силы, что вызывает несят название «философии». Задача философии—гармонически-единое мышление мира—совпадает с задачей собирания человека, потому что мир есть вся сумма доступного людям опыта.

Пока дробление человека прогрессивно развивалось, работа философии была работою Сизифа. Это была мучительная трагедия героических умов, вновь и вновь повторявших безнадежные усилия связать тонкими, светлыми нитями идей глубоко разорванную и все дальше расползающуюся ткань мира.

На известной стадии развития этой трагедии в нее вступает элемент комического. Философ делается специалистом, и чем далее тем более узким. У него оказывается своя специальная область опыта—область слов, выражающих попытки объединения опыта. Он перестает быть энциклопедистом, каким был раньше, и уже не стремится быть им. Он замыкается в специальность и становится ходячим противоречием: оторванный кусок, серьезно занимающийся спиванием целого.

Идя по этому пути, философ все больше превращается в филистера. Его деятельность становится систематическим штопаньем дыр мироздания бумажной тканью его ночного колпака. Таков преобладающий тип современных гносеологов и метафизиков. Беспольность их усилий только смешна, их судьба—фарс, а не трагедия.

Каждый из них искренно считает себя наследником философа-

ских гениев прошлого—героев борьбы за единство мира и человека,—я не замечает, что в действительности он только плохой портной, не более.

Филлстерская философия, разумеется, бесполезна и даже вредна для дела собирания человека. Оно осуществляется помимо нее, не схоластической болтовней, а самой жизнью. Сама жизнь становится «философией».

### XIII.

Самый живой, самый типичный и яркий пример собирания человека мы найдем именно там, где дробление человека дошло до последней крайности.

Предел дробления человека—это детальный работник мануфактуры. Уже ремесленник был «узким специалистом», дробью человека по содержанию и по объему опыта: но работник мануфактуры сделался мелкой частью ремесленника. Один всю жизнь обтачивал острей иголок, другой—всю жизнь пробивал ушко... Это были люди-машины.

Они и отупели почти до степени машины. И чем больше каждый из них тупел, утрачивая жизнь и индивидуальность, тем лучше он был в качестве машины,—и тем выгоднее для того, кто над ним господствовал и им пользовался. Выгода и привела к полному устранению этой индивидуальности и этой жизни: детального работника заменила машина, и это оказалось возможно и сравнительно легко—до такой степени он был раздроблен и упрощен.

Но вместе с тем явился новый тип труда: работник машинного производства.

Работник мануфактуры был мыслим только как исполнитель чужих указаний: он был машиной, а машиной надо управлять. Работник при машине — тоже исполнитель, но не только это: он управляет машиною. Он направляет и контролирует деятельность механизма,—работа по своему психическому содержанию того же типа, как деятельность организатора, направлявшего и контролировавшего труд мануфактурных работников. «Организаторские» качества—интеллигентность, внимание—нужны машинному работнику даже в большей сте-



лепи: детального работника понимать было легко, и слушался он почти всегда; но машину понимать зачастую гораздо труднее, и она нередко перестает слушаться...

Так в мире техники делается важный шаг на том пути, на котором преодолевается основное—авторитарное дробление человека: возникает психический тип, совмещающий организаторскую и исполнительскую точку зрения в одной непосредственно-цельной деятельности.

Этого мало. Требуя от работника интеллигентности и внимания, машина в то же время сама по себе вовсе не способна удовлетворить вызванным ею запросам. Работа при машине пуста, малосодержательна: она только время от времени полностью занимает интеллект и внимание. Приходится искать для них иной пищи, чтобы заполнить пустоту. Развиваются умственные интересы, стремление углубить и расширить опыт, интересы и стремления, направленные к собиранию человека.

Но как удовлетворить их? Об этом заботится капитал. Он собирает людей, и это ведет к собиранию человека.

Капитал объединяет людей большими массами за общей работой. Им надо только понимать друг друга, чтобы взаимно расширять и углублять свой опыт. И к этому взаимному пониманию нет прежних препятствий, потому что тут перед нами уже люди, а не специализированные машины мануфактур. При каких бы различных машинах ни находились машинные работники, в общем характере и содержании их труда всегда много сходного; и это сходство все более возрастает по мере того, как машина совершенствуется и приближается к своему идеалу—автоматическому механизму. Таким образом, общности опыта достаточно для взаимного понимания при общении. И общение развивается.

Так шаг за шагом преодолевается вторая форма дробления человека—специализация.

#### XIV.

На основе общности опыта, как той, которая дана непосредственно, так и той, которая развивается путем общения, возникают далее новые и более совершенные формы собирания человека.

Типичнейшая из этих форм есть групповое и классовое самосознание. Оно расширяет индивидуальный опыт до группового, и более широкого—классового, индивидуальные интересы и стремления до групповых, и затем классовых. Это необходимая стадия собирания человека.

На ее почве в свою очередь возникают различные новые формы и комбинации собирания людей—экономические, политические, идейные союзы, партии, доктрины. Одни из них оказываются более жизнеспособными, другие менее; одни развиваются, другие распадаются. Но в конечном счете, прямо и косвенно, все они служат делу собирания человека.

## XV.

Машина родилась в мире конкуренции, общественного антагонизма. Эту конкуренцию, этот антагонизм она, как известно, обострила, довела до крайности. Но тем самым она обострила и усилила потребность развития.

Для конкуренции становится необходимым непрерывное, планомерное совершенствование техники в каждой данной ее области. Потребность эта удовлетворяется выработкой общих технических методов.

Общие методы техники ведут к тому, что все машины шаг за шагом приближаются к высшему их типу, автоматическому механизму. Этот процесс не только прямо и непосредственно уменьшает значение специализации, увеличивая сходство различных форм труда,—он имеет еще иное, косвенное, но громадное значение для дела собирания человека.

Наука в своей основе есть систематизация техники: ее материалом является «труд, который есть опыт, и опыт, который есть труд». Общие технические методы она выражает и отражает в общих методах познания. Она становится монистичной.

Всеобщий научный закон сохранения и превращения энергии есть именно всеобщий технический принцип машинного производства: он выражает собою тот основной факт всякого человеческого труда, что работа необходимо почерпается из какого-нибудь наличного запаса сил. А дополняющий собою закон энер-

гни всеобщий ограничительный закон энтропии отражает собою всеобщую ограниченность человеческой техники: наличный запас энергии никогда не может быть всецело, полностью использован человеком.

Так систематизируется весь коллективный опыт в объединяющие формы познания, доступные психике отдельного человека. Знание общих методов заменяет знакомство с бесконечными деталями. Неспециалист тогда в любой специальной области перестает чувствовать себя чуждым: ему, конечно, многие частности и мелочи неизвестны, но все в общем для него понятно, и с каждой из этих частности и мелочей он может легко ознакомиться, как только пожелает. Специалист же остается таким лишь в сфере деталей; а в сфере методов, т.-е. во всей активной стороне своего специального опыта, он уже — человек.

Специалист прежнего типа становится не только уродливой, но и бесполезной фигурой, он не в силах ничего создать в своей области, потому что приемы его стереотипны, а психика узка и бедна. В лучшем случае он годится еще для собирания фактов; но и тут зачастую приносит вред вместо пользы, не умея разобраться в этих фактах, без толку их нагромождая, или даже бессознательно их искажая соответственно своей отжившей точке зрения. Когда же он вступает в область широких обобщений, то оказывается прямо реакционером: в биологии он — виталист, в экономической науке «Grenz-nützlich», в философии — метафизик, повсюду — схоластик. Тут он еще вреден, но для развивающегося познания уже не страшен; его величественная миша вызывает только веселый смех молодой критики.

На смену старому филистеру-специалисту приходит новый тип ученого: широко образованный, монистически мыслящий, социально-живущий. В нем выражается сознательно-систематическое собирание человека: оно идет чем дальше, тем успешнее, потому что находит себе опору в стихийно-общественном процессе. Лучшим, почти идеальным воплощением этого типа был тот, кто первый дал монистическое понимание общественной жизни и развития — великий философ-боец Карл Маркс.

## XVI.

Собирание человека происходит различными путями: я указал для них только основные—в сфере техники и познания. Проследивать все производные—в области «политических», «правовых», «правственных» отношений—было бы слишком долго. Важно то, что каждый новый шаг на этом пути облегчает дальнейшие, увеличивая связь и взаимное понимание тех элементов человечества, которые вовлечены в процессе «собрания». Следовательно, как ни трудец, как ни мучитель порою этот процесс, но с каждой новой своей фазой он осуществляется все легче. Скорость его возрастает.

## XVII.

Куда же ведет эта линия развития? К превращению человека—дробь в человека—целое. Но что это значит?

Должно ли при этом получиться возвращение к первобытному типу стихийно-целостной жизни, когда опыт каждого и опыт всех совпадали, когда человек был стереотипно повторяющимся элементом недифференцированного целого? Конечно, нет.

По мере завоевания человеком природы, сумма коллективного опыта возрастает до таких колоссальных размеров, что ее нельзя себе представить полностью вмещающей в каждую отдельную психику. И самый процесс собирания человека, насколько он нам известен, направлен вовсе не к такому чудовищному распаду человеческого духа.

Дело идет о возрастающей общности основного содержания опыта, а не бесчисленных частных переживаний; о возможности полного взаимного понимания людей, а не об их психическом тождестве; о способности каждого во всякое время овладеть какой угодно частью опыта других людей, а не о фактическом обладании всем этим опытом.

Первобытная цельность основывалась на ограниченности жизни и соединялась с крайним ее консерватизмом; та новая цельность, к которой ведет собирание человека, должна охватить громадное богатство жизни и дать простор ее беспредельному развитию. Первая имеет статический характер, вторая—ди-

намический; первая является привычною, вторая — пластичною; сущность первой составляет простота, сущность второй — гармония.

Вы смотрите вокруг себя, в поле вашего зрения развертывается бесконечный мир. В ваших глазах лучи света рисуют изображения предметов; это уменьшенные, но «верные» изображения. Одни предметы ближе к нам и воспринимаются с большей детальностью, другие дальше и воспринимаются лишь в общих чертах, третьи в данный момент недоступны нашему зрению. Для другого человека все отношения иные: он видит те предметы, которых вы не видите, и, наоборот, для него с мелкими подробностями выступают такие части среды, которые вам являются лишь в виде смутных контуров, и т. д. Словом, поле зрения у него другое. Но вам стоит только подойти или приложить к глазам бинокль, чтобы разглядеть любой из ближайших к нему предметов настолько же ясно и детально, насколько он его видит. Зрительный мир у вас обоих один и тот же, и оба вы располагаете общими методами, чтобы зрительно «овладеть» любой частью этого мира.

Однако, если вы живете на маленьком острове, которого не можете покинуть, или если вы не знаете употребления оптических инструментов, которыми пользуются другие, то для вас зрительный мир не тот, что для других людей, и вам «непонятны» их описания других стран, их сообщения относительно формы и движения планет и тому подобные высказывания.

Поставьте в обоих случаях вместо зрительного мира коллективный опыт, и вы получите антитезу между гармонической жизнью будущего, к которой ведет собирание человека, и современной отживающей специализацией. Если человек владеет выработанными общими методами познания и практики, то стоит ему «подойти» с этими методами к любому вопросу, к любой жизненной задаче, и он разрешит этот вопрос, эту задачу, хотя они вне его «специальности». А при старой специализации человек «подойти» не в силах, общих методов не имеется, — для разрешения частного вопроса, частной задачи надо овладеть целой новой специальностью, что может потребовать всей жизни человека.

Когда в опыте каждого имеется уменьшенное, но верное

и гармоничное отражение опыта всех, когда в переживаниях другого никто не находит ничего принципиально недоступного и непонятного, тогда «специальный» труд так же мало отрывает человека от коллективной жизни, как данное поле зрения отрывает его от всего зрительного мира. Тогда жизнь может свободно расширяться во всяком данном направлении, не уродуясь, не искажаясь, не делаясь болезненно-односторонней.

К этому ведет собирание человека.

## XVIII.

Человек — отражение общества. Каким же общественным отношениям соответствует новый, развивающийся тип человеческой жизни?

Принципиальное равенство опыта, соединенное с полным взаимным пониманием людей, может явиться лишь результатом широкого общения людей при полном равенстве их взаимного положения. Этим условиям соответствует только один тип отношений между людьми — отношения товарищеские. Отношения эти по существу враждебны всяким перегородкам между людьми — всякому подчинению и сужению, всякому дроблению человека.

Собирание человека и совершается в действительности именно там и постольку, где и постольку отношения авторитаризма и специализации сменяются товарищескими.

Доказывать это нет надобности: подробно выяснять — здесь не приходится.

## XIX.

Несомненно, что всеобщие товарищеские отношения и полное взаимное понимание людей означают уничтожение общественных противоречий и антагонизмов.

Здесь возникает вопрос о силах развития.

Противники товарищеских отношений утверждают, что сами по себе эти отношения застойны, именно потому, что гармоничны. Только борьба между людьми, в виде войн, конкуренции, группового антагонизма, наконец, хотя бы ослабленного психического отражения этой борьбы — соревнования, только она, по их мне-

нию, вызывает развитие и гарантирует его непрерывность. Где есть гармония, там некуда и незачем идти дальше.

Так ли это?

Разве жизненная борьба прекращается с прекращением борьбы между людьми? Разве стихийная природа заключает тогда мир с человеческим сознанием? Разве страдания, смерть, непознанное нашего мира и неизвестное других отдаленных миров перестают окружать человека? Разве великий враг раскрывает ему тогда свои объятия?

Борьба человека против человека—это только дорогая цена, которою покупается с т л х и й н о е развитие. Масса сил бесплодно растрчивается на эту борьбу, и только небольшая часть их идет прямо на то, чтобы сделать человека сильнее и совершеннее. С прекращением такой растраты сил начинается эпоха с о з н а т е л ь н о г о развития.

Там, где опыт каждого непрерывно получает новое и новое содержание из опыта всех, где из взаимного общения людей для каждого непрерывно возникают новые и новые вопросы и задачи, где гармоническое об'единение коллективных сил дает каждому возможность вступить в общую борьбу против стихийной природы с уверенностью в победе—там не может быть вопроса о стимулах развития.

Кто считает борьбу между людьми необходимым условием их развития, тот просто обобщает свой узкий опыт, грубо перенося прошлое в будущее. Нередко человек, воспитанный на розге, считает невозможным без ее помощи научить детей чему-нибудь. Это та же логика.

Собирание человека ведет не к застою, а к смене одного типа развития другим: дисгармонического развития человечества раздробленного — гармоническим развитием об'единенного человечества.

В сущности, дробление человека никогда не было только дроблением. Оно совершалось гораздо больше путем одностороннего развития, чем путем сокращения жизни, гораздо больше путем гипертрофии одной ее стороны, чем путем атрофии других сторон. Полнота жизни при этом не уменьшалась, а возрастала.

Даже самый узкий специалист нашего времени—какой-ни-

будь кузнец, выковыливающий одни гвозди, или запыленный гносеолог, видящий жизнь только через тусклые стекла своего кабинета, — даже они обладают неизмеримо большим богатством переживаний, чем первобытно-целостный человек времен давно минувших. И таково же должно оказаться различие суммы жизни для одностороннего, противоречиво развивающегося человека наших времен — и для того гармоничного, разностороннего существа, которое его сменит.

При громадном количественном различии опыта и при коренном несходстве самого типа жизни, представитель одной фазы развития человечества не в силах даже понять представителя другой фазы, не в силах конкретно вообразить его психическую жизнь; исследуя ее, он может только абстрактно характеризовать ее основные черты, как делаю это я по отношению к типу доисторического прошлого и к типу исторически намечающегося будущего.

Тут возникает вопрос: имеет ли смысл одним и тем же словом «человек» обозначать существа, настолько разнородные?

И да, и нет. Да, потому, что цепь развития здесь все же непрерывна. Нет, потому, что мало пользы в объединяющем понятии там, где реальные различия преобладают над сходством, где нет психической связи и единства, достаточных для взаимного понимания живых существ. Очевидно, что «нет» здесь вернее, чем «да».

Итак, что же такое человек? Ответом на этот вопрос служит вся обрисованная картина развития.

Признаем ли мы человеком существо эмбрионально-простое, стихийное, чуждое развития? Мне кажется, нет.

Признаем ли мы человеком существо неполное, часть, оторванную от своего целого, дисгармонически развивающуюся? Мне кажется, нет.

Но если человеком мы признаем существо развитое, а не эмбриональное, целостное, а не дробное, то наш вывод будет такой:

Человек еще не пришел, но он близко, и его силуэт ясно вырисовывается на горизонте.



## II. ЦЕЛИ И НОРМЫ ЖИЗНИ.

### I.

Прошло всего несколько тысяч лет, с тех пор, как жизнь человечества перестала быть голою «борьбой за существование». Целые тысячи веков весь ее смысл, все содержание сводились к простому ее сохранению, к ее отстаиванию против грозных и враждебных сил внешнего мира. Все усилия людей направлялись к тому, чтобы только избежать ее крушения и гибели, чтобы только поддерживать ее, поддерживать такую, какова она есть; при ее слабости и неустойчивости малейшее изменение угрожает ей страшной опасностью, почти неминуемым разрушением: и человек чувствует непреодолимый ужас перед всем новым и необычным в своей собственной жизни, как и в окружающей природе.

Все это вполне естественно и закономерно. Когда чуть теплится огонек жизни, всякое колебание для него опасно, грозит погасить его бесповоротно. Стихийные влияния внешнего мира не могут не порождать время от времени стихийных изменений в природе людей, в их взаимных отношениях; но изменения эти бесконечно чаще губительны, чем полезны для жизни; они нарушают сложившееся равновесие жизни, а в ней нет элементов для того, чтобы произвести новое, высшее, и тогда ее падение неизбежно. Отсюда стихийный консерватизм первобытной жизни, отсюда то громадное внутреннее сопротивление, которое оказывает она всякому развитию, всякому преобразованию. Этот консерватизм и это сопротивление так долго царили над человечеством безраздельно, что их не успело изгладить все движение исторической жизни, и следы их на каждом шагу дают себя чувствовать даже в психологии прогрессивнейших групп и классов современного общества.

В эпоху первобытного консерватизма вопрос о «нормах» человеческой жизни являлся чрезвычайно упрощенным, точнее даже— не существовал. Данная, сложившаяся форма жизни и есть абсолютно-должное; ее консерватизм есть ее норма. Ничто не должно изменяться; все должно быть, как было и как есть: такова «всеобщая норма» первобытной психологии.

Но, в сущности, это даже не норма. Всякая норма предполагает более или менее сознательную формулировку, и предполагает мысль о возможности «нарушения». Первобытный консерватизм свободен от всякой сознательной формулировки, в ней нет надобности, потому что нет мысли о возможности «нарушить» этот консерватизм. Он существует, и его так же мало требуется формулировать в виде нормы, как инстинкт самосохранения, чистейшей формой которого он является. Все, что его нарушает,— внешняя и враждебная сила для первобытного человека; и против всего этого человек борется стихийно, повинувшись непосредственному импульсу своей организации, а не голосу совести, правового сознания или хотя бы благоразумия, выражающему свои требования в виде различных «норм».

Над первобытной жизнью царит «обычай»,—так принято ее характеризовать. Но этот «обычай» вовсе не то, что называют таким именем в современном мире: он не есть старая, известная всем норма, не правило, которым люди руководятся и которого стараются не нарушать, а тысячелетняя привычка, составляющая нераздельную часть человеческого существа. Бывают случаи, что и этот «обычай» нарушается; но для первобытного сознания—это просто нарушение естественного порядка фактов, все равно как рождение двухголового чудовища или солнечное затмение. Чудовищного младенца выбрасывают, нарушителя обычая убивают или изгоняют, темную силу, помрачающую солнце, стараются отогнать стрелами,—все это психологически-однородные действия, проявления бессознательного и безусловного консерватизма жизни, инстинкта самосохранения в первичной фазе его развития.

Люди, принадлежащие к одной первобытно-родовой группе, психологически настолько же тождественны между собою, насколько одинаково организованы физически. Благодаря этому их взаимные отношения бесконечно просты и чужды всяких проти-

воречий. Нормы же нужны только там, где отношения сложны и противоречивы. Вот почему первобытная жизнь их не знает, вот почему ей незнакомы даже те основные представления, которые составляют необходимое содержание всякой нормировки. В этом далеком от нас мире нет места идеям «должного» и «не должного», «принуждения» и «свободы», «закона» и его «нарушения». Есть только непосредственная жизнь, которая судорожно борется против всего нарушающего одинаковый в бесчисленных повторениях цикл ее стихийного течения.

## II.

Нормы человеческой жизни выражают собою познание «добра и зла». Царство их начинается с грехопадением человека.

Грехопадение это совершилось не в один день и не в тысячу лет: оно было долгим, страшно медленным процессом. Состояло оно в том, что жизнь все более переставала быть абсолютно верною тому, чем она была,—переставала быть верною своей изначальной окаменелой форме.

Как бы ни были редки и случайны полезные изменения первобытно-консервативной жизни, но они сохраняются с нею, потому что помогают ей сохраняться, тогда как все иные изменения губят ее и гибнут вместе с нею. Путем бесконечного накопления бесконечно-малых создаются новые реальные величины. Сила жизни возрастает и перевешивает в борьбе силы враждебной природы.

Избыток энергии вызывает рост жизни, и накапливаясь, порождает потребность в новых формах ее равновесия. Чем быстрее совершается накопление энергии, тем сильнее потребность в новых комбинациях и отношениях, тем менее возможно и целесообразно простое сохранение данных форм.

Таким образом, в силу необходимости, из простого повторения неизменных циклов жизнь мало-по-малу начала превращаться в развитие, из голой борьбы за сохранение того, что есть, в борьбу за большее. Д а н н о е перестало быть для нее единственной целью и нормой.

Зарождающееся развитие не могло быть иным, как стихийным развитием. возникающая борьба за большее в жизни—иное,

как бессознательной борьбой. Движение вперед было произвольным и чуждым планомерности. Поэтому в каждый данный момент, в каждом данном проявлении оно оказывалось частным и односторонним, а не целостным и общим. Оно нарушало сложившуюся гармонию жизненной системы. Тогда выступал на сцену старый инстинкт сохранения данного, стремление отстоять и восстановить прежнюю гармонию; но победить вполне он уже не мог, потому что сила развития возрастала, и, отступая перед нею в борьбе, он переходил в новую форму—стремление положить границы нарушению сложившейся гармонии. Здесь и лежит исходная точка образования принудительных норм.

Так, если в коммунистических родовых общинах начинали все чаще появляться случаи захвата отдельными их членами в исключительное пользование каких-нибудь средств труда или потребления,—орудий, одежды, украшений, — то, несомненно, что эти факты — исторически вполне прогрессивные — глубоко потрясали весь строй общинной жизни и вызывали болезненную реакцию. Но простое их подавление, какое практиковалось, разумеется, вначале, не достигало цели; они повторялись чаще и чаще, их неизбежность входила в коллективное сознание, оно вынуждено было к ним приспособляться. Тогда его полубессознательное творчество приводило к некоторому компромиссу: «новое» допускалось, но до известного предела, за которым начиналось подавление. Воплощением компромисса была норма обычая: «это можно, а этого нельзя». «Нельзя» означало реальную санкцию нормы—общественное принуждение, насилие, направленное против ее нарушителя. Таков был первый плод коллективного творчества, направленного на борьбу с противоречиями социального развития.

### III.

Что же именно довело людей до такого греховного состояния, при котором уклонения от сложившихся форм жизни перестали быть совершенно исключительным явлением, вошли в цепь естественных событий?

Дело началось с того, что психологическое тожество людей одной группы исчезло, их мышление сделалось не «сплошным».

Разделение труда стало шаг за шагом вытеснить прежнюю его однородность; а оно было в то же время разделением опыта. Содержание трудовой деятельности людей становилось все более различным; материал впечатлений, над которым приходилось работать мышлению, был для земледельца уже не тот, что для лесного охотника, у охотника не тот, что у рыбака. Имея дело с неодинаковым материалом, мышление отдельных людей все чаще приводило к неодинаковым результатам. Общество превращалось в непрерывно усложняющуюся комбинацию элементов возрастающей разнородности. Жизненные проявления людей оказывались все менее согласованными, возникала глубокая и сильная потребность в их согласовании.

Разделение труда нередко приводит людей к столкновению даже в сфере их непосредственных целей, когда, например, охотник, гоняясь за дичью, топчет посевы хлебопашца, или скотовод, пригоняя стадо на водопой, мешает работе рыбака. Но гораздо важнее, гораздо чаще и глубже те конфликты, которые обнаруживаются между привычками различных работников, их точками зрения на жизнь, их способами реагировать на окружающее: грубость и беззаботность воина плохо мирятся с мягкостью и предусмотрительностью его сообщинника-земледельца, повышенные потребности искусного ремесленника вызвали недоумение и отторжение неприхотливого рыбака, и т. д. и т. под. Органическое сходство привычек исчезало; они потеряли характер абсолютной устойчивости и стихийной непреложности.

При таких условиях нарушение прежнего «обычая» должно было встречаться все чаще и чаще, оно переставало казаться чем-то чудовищно-странным и непонятным, прежде бессознательно-рефлекторное отношение к нему становилось невозможным. Работа сознания в этой области была неизбежна и необходима: прежняя форма обычая была негодна для восстановления то-и-дело нарушаемого жизненного равновесия.

Тут и происходит коренное преобразование обычая, коренное даже в том случае, если самое содержание его продолжает сохраняться: из голого, непосредственного факта жизни он становится ее н о р м о й, органическая тенденция получает определенную формулировку.

«Должно поступать так-то»!.. Это «должно» включает в себе не только стремление сохранить исторически-данную форму жизненной связи, но также и представление о возможности ее нарушить. Оно выражает борьбу двух сил, внутреннее противоречие жизни. Обе стороны обычая находят объективное воплощение тогда, когда его «норма» нарушается: на сцену выступает «принуждение», которым нарушение прекращается. «Обычай» проявляется как принудительная норма с определенной санкцией.

Этим открывается целая новая область человеческого развития.

#### IV.

Развитие неоднородности элементов общественного целого влечет за собою, на известной стадии, развитие его неорганизованности; и тогда мир принудительных норм развертывается до колоссальных размеров.

По мере того, как отдельные элементы общества становятся все менее однородными, они все больше и легче обособляются в своих жизненных функциях, и поддержание постоянной связи между ними делается все труднее. В небольших родовых или племенных общинах это поддержание связи достигалось деятельностью общего организатора—патриарха или вождя. Но прогресс производства приводит к тому, что размеры общества возрастают во много раз; и тогда общая организация труда становится невозможной. Для отдельной личности она уже совершенно непосильна, а общество в целом, благодаря разнородности своих элементов, неспособно выполнять ее коллективно. Происходит распад общества на отдельные маленькие группы—частные хозяйства, из которых каждое самостоятельно организует свою трудовую деятельность и внешним образом не связано с другими.

Матерьяльная связь между хозяйствами остается, они образуют из себя звенья одной гигантской цепи—системы общественного разделения труда; иначе они были бы вполне самостоятельными обществами, и тогда каждое из них, по ничтожности своих сил, было бы совершенно неспособно к борьбе за жизнь против внешней природы. Неорганизованный характер этой трудовой

связи находит себе выражение в меновых отношениях между хозяйствами, это также анархичное, не объединенное чьей-либо сознательной волею, неплановое распределение продуктов труда в обществе.

Неорганизованность жизни означает непроизводительную растрату ее сил, антагонизм ее форм, противоречивость ее проявлений. Это относится ко всем областям жизни. В сфере производства общественный труд должен удовлетворить точно и во всей полноте общественные потребности. Но когда он не организован, когда его распределение между общественными единицами совершается без всякого плана и контроля, то это строгое соответствие его результатов с общественными потребностями уже невозможно. Часть труда неминуемо рассеивается бесплодно, создавая излишнее в области той или иной общественной потребности, часть потребностей остается неудовлетворенной, не найдя достаточного количества необходимых продуктов общественного труда. «Перепроизводство» идет рядом с «недопроизводством».

В сфере распределения неорганизованность порождает новые глубокие дисгармонии. Самое распределение получает форму борьбы и конкуренции, борьбы покупателя и продавца, конкуренции покупателей и продавцов между собою; каждый стремится получить больше за счет другого. В результате—неравномерность, непропорциональность распределения: и даже при общем избытке потребности многих членов общества оказываются неудовлетворенными, многие хозяйства гибнут или испытывают понижение жизни. Грубая власть рынка издевается над усилиями людей.

В дальнейшем развитии та же неорганизованность социальной системы порождает борьбу классов, обостряющуюся по мере роста силы самих классов. Борьба эта проникает собою в всю общественную жизнь, от самых «материальных» до самых «идеальных» ее проявлений... Колоссальный прогресс жизни и силы человечества идут все время рука об руку с колоссальным ростом социальных контрастов и противоречий.

Нетрудно понять, какое громадное значение для развития имеет все то, что вносит какой-нибудь порядок в этот хаос, что сколько-нибудь организует эту неорганизованность, что ставит какие-нибудь рамки этой дисгармонии, как это делают принуди-

тельные нормы. Вот почему общественное творчество в этой области развертывается с громадной силой и порождает громадное богатство форм. Это—результат суровой жизненной необходимости.

## V.

Начало развития нормативного мира положено было, как мы видели, тем, что обычай из непосредственного проявления органически-целостной жизни превратился во внешнюю норму принудительного характера. В дальнейшем этот новый, «нормативный» обычай стал родоначальником целого ряда иных форм того же типа: обычного права и закона, приличий и нравственности. При всех видовых различиях, формы эти сходны между собою в том, что представляют для членов общества силу внешнюю и принудительную, направленную к регулированию их отношений. Смысл этого регулирования заключается в том, что оно стремится ослабить и устранить противоречия, порождаемые развитием, внести организованность в раздробленное и анархичное общественное бытие.

Первичная и основная форма внешнего принуждения, санкционирующего предписание норм, есть прямое материальное насилие общества над тем, кто преступает норму. Эта санкция сохраняется всецело в сфере обычая и права. Иной характер имеет то принуждение, которое составляет жизненный базис для норм приличия и нравственности: оно сводится к общественному порицанию и презрению. Эта смягченная форма общественного противодействия «ненормальным» (с точки зрения сложившихся отношений) поступкам людей остается единственной для тех случаев, когда уклоняющиеся поступки не нарушают прямо и резко основных жизненных интересов коллективности, как они выступают в ее сознании.—Когда эти интересы затрагиваются лишь слабо или косвенно. Являясь ослабленным отражением грубо-материальной борьбы общества против «аномальных» действий его членов, этот второй тип принуждения, конечно, не исключает первого, и обыкновенно к нему присоединяется в случаях «преступлений» и «проступков» против норм исконного обычая или права: такие преступления и проступки не только



пресекаются и наказываются физической силой общества, но и клеймятся, как нечто безнравственное, а иногда также—неприличное.

Нарушитель нормы сам—дитя того общества, которое карает ее нарушение порицанием и презрением; он сжился с нормою, он ее признает даже тогда, когда, повинувшись мотивам непосредственного характера, он ее преступает. Поэтому он и сам выполняет по отношению к себе то «принуждение», ту кару, которая в данном обществе сделалась постоянным результатом «ненормального» образа действий, выполняет, по крайней мере, в нематериальной форме порицания и презрения. Такова объективная основа мучительного чувства, называемого угрызением совести; это—индивидуально-психологическое отражение общественной реакции на противные норме поступки.

Здесь имеется удобная почва для индивидуалистического фетишизма, который и формулировала кантианская философия морали. На том только основании, что нравственные нормы, раз они сложились, приобретают внутреннюю санкцию «угрызения совести», им приписывается и исключительно внутренняя обязательность, они выдаются за собственное автономное законодательство абсолютной личности, лежащей в основе человеческого существа. Игнорируется при этом весь генезис нравственности: ее происхождение по прямой линии от обычая, ее позднее обособление от обычного права, далеко еще не достигнутое, напр., в феодально-католическом обществе; игнорируется и явно неавтономный характер ее норм, их внешне-принудительный характер, отчетливо выступающий в столкновениях морального долга с инстинктами и стремлениями развивающейся жизни. Игнорируя все это, кантианской философии морали удалось надолго и для многих затенить тот элементарно-простой факт, что «внутренние» моральные конфликты суть конфликты непосредственных импульсов жизни с внешней для них, хотя и встречающейся с ними в одном поле личного сознания, кристаллизованной силой социального прошлого. Во всяком случае, освободительная борьба современного аморализма, индивидуалистического и социального, уже сама по себе является живым и ярким доказательством того, что обязанность нравственных

норм есть только исторически-преобразованная форма общественного принуждения.

В этом смысле, между нравственностью и всеми другими нормативными формами—обычными, правовыми и т. д.—нет никакого существенного различия.

## VI.

Организирующее значение нормативных форм для противоречиво-развивающегося социального бытия людей по-истине громадно. Чтобы понять его во всей полноте, надо хоть приблизительно себе представить, во что обратилось бы общество, если бы не было этих норм. Оно рассыпалось бы, как бочка без обручей, оно разложилось бы, как человеческий организм, лишенный, объединяющей и регулирующей жизнь его частей, деятельности нервной системы.

Обмен—необходимое условие жизни исторически-данных нам культурных обществ, конкуренция и классовый антагонизм—движущие силы их развития. Но обмен имеет форму борьбы между покупателем и продавцом из-за приобретения возможно большей ценности; если бы борьба эта не находила себе границ в том принуждении, которое налагается обычаем, правом, нравственностью, то естественно развертываясь, она переходила бы в беспощадный взаимный грабеж обменивающихся, т.-е. самый обмен стал бы невозможен. Конкуренция аналогичным образом перешла бы в физическое истребление конкурентов, которых желательно устранить; а классовая борьба не была бы мыслима в иных формах, кроме ожесточенной и кровавой междоусобной войны.

Все это так и бывает в действительности, когда жизненные противоречия, временно обостряясь до крайности, прорывают оболочку норм и стихийно разыгрываются на свободе. Тогда громадное разрушение элементов жизни, не только дряхлеющих, но также и нарождающихся, с потрясающей наглядностью обнаруживает реальный смысл «развития в противоречиях».

По широте своего жизненного значения различные нормы весьма неравноценны. Правовая норма частного присвоения охватывает и определяет собою всю жизнь современного общества, между тем как многие, напр., правила приличия имеют от-

ношение лишь к некоторым частным случаям общения между людьми. Это не создает принципиального различия между нормами,—они остаются по существу однородны, как организующие и приспособленные для общественной жизни людей.

Организовать жизнь—это для нас означает строить ее регулировать, гармонически приспособлять одни ее проявления к другим. Но именно с этой точки зрения организующее значение принудительных норм нередко может казаться очень спорным; и даже более—роль их становится в иных случаях безусловно дезорганизующей, вносящей противоречия в процесс развития. Так, в наше время очень многие правовые нормы в политической жизни общества, многие нравственные в жизни семейной порождают невыносимые противоречия, глубоко дезорганизуя развивающуюся жизнь. В таких случаях дело выливается историческим исследованием генезиса нормы, потому что тогда ее положительная роль принадлежит прошлому. Норма продолжает сохраняться, когда уже исчезли условия, ее создавшие а с ними—ее жизненное значение, и она остается, как ненужный пережиток на пути развития. Иногда норма дряхлеет очень быстро, как это бывает со многими правовыми установлениями: иногда она не теряет своей жизненности целые тысячи лет, как некоторые нравственные принципы; различная по степени, но всегда исторически ограниченная жизненность эта сводится к одному и тому же основному содержанию, к организующей функции в общественном процессе.

Современные общества, с анархическим строением их системы сотрудничества, держатся всецело на принудительных нормах. Нормы собственности и договорного подчинения составляют душу капитализма.

## VII.

В первобытном обществе обычай-привычка охватывал собою все существование людей, все сферы их деятельности. Наследуя обычаю, нормативные формы захватили мало-по-малу такую же обширную область. Они регулировали и технику общественного труда, и экономические отношения людей, и их потребление,

и их мышление. Человек повсюду стал наталкиваться на принудительные границы, повсюду стал чувствовать над собою власть внешних норм, не им установленных, а помимо него сложившихся в его общественной среде.

Так как всякое отклонение от нормы было «преступно», то «преступления» были возможны решительно во всех сферах жизни. Всякое крупное усовершенствование техники рассматривалось как «преступное нововведение», и ожесточенно преследовалось до тех пор, пока сила нормативного принуждения не отступала перед силою экономической необходимости. Живой иллюстрацией может служить трагическая судьба многих изобретений и изобретателей в Средние века и на пороге Нового времени. Такое же отношение к техническим и экономическим новшествам, только в ослабленной форме—нравственного отвращения,—наблюдается и у современного крестьянина отсталых местностей, который в необычных улучшениях хозяйства видит «бесовские выдумки», т.-е. нечто в высшей степени греховное. В области потребления характерны различные «табу», обычные, правовые, нравственные и т. д. Религиозно-закрепленные в «пятнишки» обычай, воспрещавшие евреям употребление свинины, крови животных и многих других видов пищи, законы Средних веков, каравшие роскошь не по состоянию или, вернее, не по сословию, приличия, не допускающие в наше время наиболее простых и удобных костюмов, а также известных способов принятия пищи, нравственное отвращение многих культурных и некультурных людей к спиртным напиткам,—вот типичные примеры «табу», примеры, которых можно было бы еще привести бесчисленное множество.

Всеобъемлющая сила обычая-привычки определяла собою первоначально не только поступки людей, но и их внутренние переживания. Здесь принудительные нормы также наследовали обычаю. В восточных деспотиях древности встречались случаи смертной казни за «преступные сновидения», когда, наприм., человеку приснится, что он убил царя; инквизиция считала еретические мысли преступными независимо от того, высказывались они или нет; и был случай, что инквизитор сам донес на себя, когда его стали осаждать богохульные мысли, за что и был по справедливости сожжен на костре. И в нашем куль-

турном мире представление о «грешных» или даже «преступных» мыслях далеко еще не вполне исчезло; исчезло только правовое принуждение, карающее «незаконную» ассоциацию идей; но осталось до сих пор в большой силе принуждение нравственное, в виде общественного порицания и угрызений совести, и почти не отличающееся от него принуждение, связанное с нарушением норм приличия.

Так есть внешних норм, то грубых и твердых, то мягких и эластичных, оплетает собою всевозможные проявления человеческой жизни.

### VIII.

Внешне-принудительные нормы всех видов служат для того, чтобы внести порядок в дисгармонию жизни, порождаемую стихийным развитием. Но тот порядок, который они вносят, еще не есть гармония в положительном смысле этого слова. Об'единение и регулирование разнородных жизненных процессов получается лишь внешнее. В человеке возникает, напр., противоречие между непосредственно-эгоистическими стремлениями и непосредственно-социальными, между желанием отвернуться и уйти от чужих страданий, и желанием помочь им ценою некоторой жертвы. Веление закона или нравственного долга подчиняет один из этих мотивов другим: человек действует сообразно тем из них, которые соответствуют «норме». Но в пределах психики борьба их от этого не прекращается: она может даже все более обостряться, если сила нормы дала победу не тем мотивам, которые в данное время сами по себе усиливаются, а тем, которые слабеют; и человек, напр., горько раскаивается в том, что отдал бедняку часть денег, которые могут очень понадобиться самому.—Таким образом, сглаживая и подавляя проявления внутренних противоречий, внешняя норма этих противоречий не устраняет. Пожалуй, даже, она прибавляет к ним новое противоречие: между той частной жизненной теплеющей, которая нормой подавляется, и самой этой нормой.

Далее, внешне нормы консервативны, они медленно складываются и большей частью медленно изменяются; они всегда живут дольше, чем вызвавшая их потребность, и умирают толь-

ко после упорной борьбы. Наше время полно такой борьбой: к ней часто сводится почти вся политическая жизнь отсталых стран, и даже значительная часть политической жизни стран передовых. То же и в других областях нормативной идеологии. Пережившая себя правовая организация, система обычаев, морали уже не регулирует стихийного развития, не сглаживает его противоречий, а просто его задерживает, вызывая иногда своим сопротивлением колоссальную растрату лучших сил развивающейся жизни, чему столько примеров мы видели в нашей стране. Здесь—новый источник жизненных противоречий.

Внешне-принудительные нормы безусловно необходимы для сохранения жизни среди противоречий стихийного развития, но достигают они этого сохранения лишь ценою стеснения самого развития, ценою его ограничения и задержек. Зато они, заменяя внешние конфликты грубой борьбы внутренними противоречиями, вытекающими из принуждения, направляют тем сильнее человеческое сознание в сторону выработки новых форм жизни и развития, форм, свободных от стихийности, от противоречий и принуждения.

## IX.

Можно считать за общее правило, что противоречия стихийного развития тем острее, глубже и шире, чем выше та ступень жизни, на которой они проявляются. В стихийном росте человеческого организма выступление на сцену половой жизни дает гораздо больше новых тревог и диссонансов, чем в развитии какого-нибудь молодого животного. Точно также прогресс «культурных» капиталистических обществ покупается ценою несравненно большей суммы противоречий, чем прогресс «докультурных» общин натурально-хозяйственного типа. Для высших форм стихийно-развивающейся жизни ее ускоренный рост соединяется с усиленной ее растратой.

Очень часто бывает даже так, что растрата перевешивает рост жизни, развитие переходит в деградацию, «шаг вперед» влечет за собою «два шага назад». Болезни роста приводят иногда к глубокому и длительному истощению молодой, тонкой организации, а то и к полному ее крушению.

Что же именно обостряет до такой степени для высших форм жизни противоречия стихийного их развития? Те самые особенности этих форм, которые делают их «высшими».

Прежде всего их меньший консерватизм, их большая гибкость и пластичность. Неподвижные, консервативные, низшие формы обладают, естественно, гораздо большей непосредственной устойчивостью. Правда, это только непосредственная устойчивость, подобная прочности камня, который трудно разбить, но раз это случилось—его прежняя форма потеряна навсегда. Однако, такая устойчивость гарантирует жизненный комплекс от слишком быстрого разрушения под действием умеренно-сильных вредных влияний, т.-е. именно наиболее обычных и частых. Так, для горожанина или, вообще культурного человека, с их более впечатлительной, менее выносливой организацией, противоречия периода половой зрелости имеют\* гораздо более болезненный и острый характер, чем для дикаря или крестьянина.

Другой момент, действующий в том же смысле, это богатство жизненного содержания высших форм—большое количество элементов и разнообразие частей, из которых они слагаются. Всякое изменение, порождаемое стихийным развитием, среди массы наличных комбинаций, входящих в данную жизненную систему, встречается, естественным образом, очень много таких, с которыми оказывается в жизненном противоречии. Так, новая идея, возникшая в голове отдельной личности, имеет все шансы встретить гораздо больше сопротивлений и противодействий в сфере сложной, широко расчлененной идеологической жизни общества, чем в узкой и небогатой идейной жизни ближайшего к автору кружка людей.

Наконец, третья особенность высших форм, обостряющая противоречия их стихийного развития, это их внутреннее единство, их организованность, тесная жизненная связь их частей и элементов. Именно в силу этой связи и организованности для человеческого, напр., организма гипертрофия или атрофия какого-нибудь его органа или функции, оказывая более глубокое влияние на все остальные его отношения, гораздо опаснее, чем, положим, для кольчатого червя с его сравнительно малой жизненной связью и зависимостью отдельных частей.

Очевидно, все эти условия, обостряющие дисгармонию стихийного развития, должны все более усиливаться по мере

самого этого развития. Противоречия должны все более возрастать.

Выход лежит за пределами стихийного развития, он дается изменением самой формы развития.

## X.

Из мучительных колебаний жизни, порождаемых стихийным развитием, из его дорогой цены и возрастающей ненадежности возникает новая потребность: внести гармонию и единство в самый процесс развития, сделать его стройным и целостным, устранить его стихийность. Его колебания должны уступить место непрерывности, его диссонансы—полным и ясным аккордам; его цена должна стать равной его результатам, элемент случайности должен из него исчезнуть. Словом, необходимо, чтобы из движения стихийного жизнь превратилась в движение гармоническое.

Только тогда прогресс находит несокрушимую опору во всей сумме накопленных сил жизни, только тогда перед ним открывается бесконечность побежденной и постоянно вновь побеждаемой природы: борьба за большее превращается в борьбу за все.

В этом сознательно-целесообразном прогрессе жизни вопрос о целях жизни получает впервые законченное значение и находит свободный от противоречий ответ—в бесконечно возрастающей сумме счастья. Представить себе этот тип жизни скольнибудь полно и ясно не в силах мы—люди одностороннего, дисгармонического развития, люди эпохи противоречий. Но мы смутно предчувствуем его в моменты экстаза созерцания или мысли, когда при живом общении с прекрасной природой или могучим гением нам кажется, что наше маленькое существо исчезает, сливаясь с бесконечностью.

## XI.

Было бы, однако, неразумно говорить о высшем типе жизни, о гармоническом ее прогрессе, если бы в нашем опыте не имелось ничего, кроме смутных его предчувствий, кроме неопределенного стремления к нему,—если бы нельзя было наметить его зароды-



шей в прошлом и настоящем, если бы не было данных, чтобы хоть в самых общих и схематичных чертах обрисовать его вероятное дальнейшее развитие. К счастью, такие зародыши и такие данные существуют, и их достаточно для того, чтобы дать основу для вполне определенных выводов.

Прежде всего, где лежат те условия, которые создают самую возможность перехода от стихийно-противоречивого развития к планомерно-гармоническому? Там же, где условия прогрессивного обострения противоречий стихийно развивающейся жизни: в возрастающей пластичности жизненных форм, в умножающемся богатстве их содержания, в их увеличивающейся организованности.

Только высокая пластичность жизни допускает быстрое и разностороннее приспособление к ее среде; сравните в этом отношении гибкую натуру городского работника-пролетария с деревенно-неуклюжею психикой крестьянина отсталой деревни. Только в богатом жизненном содержании, сложном и разнообразном, могут всегда найтись необходимые элементы для такого приспособления;—сопоставьте, напр., живую находчивость много выдавшего и много испытавшего человека при всевозможных обстоятельствах с обычной тупой растерянностью человека, бедного опытом, при сколько-нибудь новой комбинации условий. Наконец, только растущая организованность форм делает отдельные, частные процессы развития все менее изолированными, приводит к тому, что каждый из них уже не ограничивается той частью жизненного целого, где возникает, но немедленно отражается на всех остальных частях, вызывая в них ряд соответственных изменений. Характерна в этом смысле противоположность между высоко организованным мышлением философа, в котором новое явление, новая идея может вызвать созвучные изменения или даже преобразования во всех областях мировоззрения, и сравнительно слабо организованным мышлением филистера, который укладывает новый факт или новую мысль в один из многочисленных ящичков своего мозга, и затем запирает на ключ впредь до практической надобности, не заботясь о том, что в других ящичках лежат мысли и факты, глубоко этим противоречащие или особенно с ними гармонирующие.

Так переход от низших форм жизни к высшим, усиливая

противоречия стихийного развития, подготавливает в то же время коренное устранение этих противоречий вместе с порождающей их стихийностью.

## ХП.

Вполне гармоничное, чуждое внутренних противоречий развитие—это для нас только предельное понятие, выражающее известную нам из опыта тенденцию к освобождению процессов развития от связанных с ними противоречий. Поэтому дать наглядное представление о гармоническом типе развития можно лишь путем сопоставления таких конкретных случаев, которые наиболее к нему приближаются, с такими, в которых недостаток гармонии бросается в глаза.

В современном обществе образцом высоко организованной, богатой содержанием и пластичной жизненной комбинации может служить крупно-капиталистическое предприятие, взятое специально со стороны его трудовой техники. В этой ограниченной сфере процессы развития совершаются довольно гармонично. Вводится, положим, новое техническое изобретение, которое во много раз уменьшает затрату рабочей силы в одной из операций данного производства. Немедленно происходит ряд дальнейших изменений.

Нельзя ограничиться удалением старых машин и постановкою новых; надо приспособить к этим новым машинам все внутреннее устройство фабрики. Напр., старое здание может для них не годиться; тогда его надо переделать применительно к новым требованиям; и соответственно этому могут понадобиться частичные переделки в других отделениях фабрики и в сообщениях между ними. Система передаточных механизмов, распределяющих механическую силу между отдельными машинами, также должна быть соответственно преобразована. Уменьшение потребности в рабочей силе освобождает часть капитала, и ее можно употребить на более или менее равномерное расширение всего предприятия. Освобожденные машиной рабочие руки при этом могут вновь найти себе применение, но в значительной части уже не то, какое прежде; и при этой перемене ролей надо, в интересах предприятия, дать каждому работнику наиболее подходящую для

него функцию, а некоторых, может быть, совсем устранить из данного производства, и взамен их нанять умело выбранных новых. Все это перераспределение капитала и труда выполняется быстро и легко, благодаря наличности инженеров и директоров, обладающих богатым опытом и знаниями по организации дела. Таким образом, развитие в одной части системы вызывает соответственные приспособления во всех остальных, и частичный прогресс превращается в прогресс целого. Никаким значительным замешательством или расстройством в технической жизни предприятия он не сопровождается.

Но совсем в ином виде выступает дело тогда, когда мы берем данное предприятие в связи со всеми другими. Капиталистическая система в ее целом отличается анархичностью, и в этом смысле по сравнению с высоко организованным ее же отдельным предприятием представляет низшую форму жизни, развитие которой имеет несравненно более стихийный и противоречивый характер. Здесь технический прогресс одних предприятий вызывает упадок и даже гибель других; он лишает множество сильных работников их полезной роли в общественном труде, а вместе с тем и всяких средств к жизни,—делая их рабочую силу излишней в тех предприятиях, где производительность труда повысилась, не дает им места в других, отсталых, а потому падающих предприятиях. Временами тот же технический прогресс приводит к общим кризисам производства — ужасным потрясениям всей общественной жизни. Наконец, классовые противоречия—порождение того же стихийного прогресса; и хотя только они в своем развитии создают для общества возможность выбраться из-под власти собственной стихийной природы, но все же сами по себе они полны мучительной дисгармонии, заключают массу элементов разрушения жизни...

Так анархия целого господствует над организованностью частей, на каждом шагу уничтожая или ослабляя своей стихийною силою результаты планомерно-гармонического их развития. Общий характер социального процесса остается глубоко противоречивым.

### XIII.

Весь жизненный смысл, все положительное значение принудительных норм неразрывно связаны с противоречиями стихий-

ного развития. По мере того, как эти противоречия и эта стихийность в той или другой области жизни отступают перед организованностью и планомерностью, общественная роль принудительных норм радикально изменяется; их смысл исчезает, их значение извращается. Принужденные, подавляющее противоречия, излишни там, где развитие само по себе их уже не порождает. Консерватизм внешней нормы резко сталкивается с непрерывной тенденцией прогресса и в свою очередь, становится источником — в этом случае основным или даже единственным — глубоких жизненных противоречий. Возникает потребность в иных нормах, соответствующих новому типу движения жизни. Эти новые нормы, очевидно, должны быть свободны и от принудительности, и от консерватизма прежних.

Таковы нормы целесообразности.

Нормы внешнего принуждения — правовые, моральные и т. д. — разумеется, могут быть «целесообразными», т.-е. полезными для общества; и они даже лишь постольку занимают в жизни прочное место, поскольку «целесообразны»; однако, это не делает их нормами целесообразности. Они принуждают, не мотивируя и не разбирая условий; они не приспособляют своего принуждения к изменяющимся условиям: «ты должен делать то-то и не смеешь поступать так-то», должен и не смеешь совершенно независимо от того, насколько в каждом данном случае это для тебя целесообразно, — должен, не смеешь, и только: императив безусловный, категорический.

Нормы целесообразности не имеют ничего общего с такой императивностью. Вполне типичный образец их — научно-технические правила. Правила эти, в сущности, никого и ни к чему не принуждают, а только указывают наилучшие способы к достижению той или иной данной цели. Они говорят: если ты хочешь достигнуть того-то, ты должен действовать так-то. — императив условный, гипотетический. Нормы внешнего принуждения предписывают человеку самые его цели, или, по крайней мере, границы этих целей: «не пожелай жены искреннего твоего», и т. п. Нормы целесообразности представляют выбор целей самому человеку: если ты пожелаешь жены искреннего твоего, то... и т. д.

Связь этих норм с гармоническим ходом развития очень понятна. Если развитие не порождает противоречий, то цели, из него вытекающие и выражающие собою его тенденции, не сталкиваются между собою в безвыходных конфликтах, а потому в интересах жизни для них не требуется никаких ограничений.

Впрочем, поскольку дело идет о промежуточных, о посредствующих целях, постольку и нормы целесообразности могут определять собою выбор целей: если ты хочешь достигнуть такой-то конечной цели, то сначала должен поставить себе такие-то ближайшие цели, а от них перейти к таким-то последующим, и т. д. Очевидно, и здесь указание имеет тот же условный характер: это выяснение необходимых средств, которые временно играют роль целей. Так, для сознательного политического деятеля сила его партии есть одна из главных целей, но отнюдь не конечная цель; в случае надобности он ради этой последней должен забыть о первой: если данное средство перестало быть необходимым для достижения поставленного идеала и всего вернее к нему ведущим, то целесообразность предписывает отказаться от этого средства.

Нормы целесообразности всецело подлежат критике опыта и познания, нормы принуждения требуют себе господства и над этой критикой. Эти две тенденции мышления философски выражаются, с одной стороны, в виде «примата» теоретического разума над практическим, с другой— в идее «примата» практического разума над теоретическим.

#### XIV.

Если нормы целесообразности сами по себе не предписывают людям тех или иных конкретных целей, то не следует ли из этого, что они предполагают полный произвол в выборе этих целей?

И да, и нет.

Формально—да, потому что логически мыслимы какие угодно цели, самые разумные и самые чудовищные, и вместе с ними— вполне соответствующие им нормы целесообразности: если ты хочешь пожертвовать своею жизнью с наибольшей пользой для развития человечества, то это надо сделать таким-то способом;

если ты хочешь отнять жизнь у своего ближнего то здесь всего удобнее такне-то приемы, и т. п.

По существу—нет. Из бесчисленных логических возможностей только одна равняется реальности. Нормы целесообразности—не игра мышления, а определенные формы жизни. Они выступают в общественных отношениях на место норм принуждения только при определенных жизненных условиях, и исторически неразрывно связаны с этими условиями. Они соответствуют гармоническому развитию жизни и имеют его своей предпосылкой. Этим вполне определяется та всеобщая конечная цель, которой они подчинены: максимум жизни общества, как целого, совпадающий в то же время с максимумом жизни его отдельных частей и его элементов—личностей. Поскольку такого совпадения нет, постольку не может быть и речи о гармоническом развитии,—а следовательно, и о социальном господстве норм целесообразности; поскольку оно есть, постольку цели, которым служат эти нормы, при всем своем конкретном разнообразии, сливаются в высшем единстве социально-организованной борьбы за счастье, борьбы за все, что жизнь и природа могут дать для человечества.

## XV.

Нормы целесообразности только на определенной стадии развития человечества должны отнять у принудительных норм господство над социальной жизнью; но возникают они гораздо раньше этой стадии, проходят долгий путь развития, распространяются шаг за шагом на целые обширные области жизни, продолжая в ее общей системе занимать подчиненное положение. Это вполне понятно: где и поскольку цели и результаты человеческих действий перестают оказываться взаимно-противоречивыми, где и поскольку дисгармония стихийного развития исчезает,—там и постольку освобождается место для норм целесообразности...

Всего быстрее они завоевывают область трудовой техники, область непосредственной борьбы человека с природой. Здесь первично создается объединение человеческих усилий, здесь необходимость победы над великим всеобщим врагом всего рань-

ше преодолевает и прямые конфликты человеческих целей и косвенно порождаемые их стихийными комбинациями жизненные противоречия.

Система норм целесообразности, планомерно организующих технический опыт людей, называется наукой.

Сюда относятся не только собственно технические науки, которые так и излагаются в виде систематизированного ряда практических указаний, какими способами всего легче достигается та или другая техническая цель; науки естественные, от математики и астрономии до социологии и теории познания, имеют по существу то же значение. Они представляют систему норм целесообразности высшего порядка, норм, нормирующих нормы, подчиняющих себе применение всяких практических правил. Когда инженер при помощи математического анализа и принципов механики вырабатывает проект постройки здания и моста, он создает непосредственно-технические нормы целесообразности при помощи норм научных. Когда политик вырабатывает программу действий для данного исторического момента и данной общественной группы, опираясь на определенную социально-философскую теорию и на анализ соотношения общественных сил, он также создает непосредственно-практические нормы целесообразности, опираясь на нормы научные. В конечном счете, всякое научное познание представляет из себя творчество норм целесообразности для практической деятельности людей.

В идеологической жизни общества также преобладают в наше время нормы целесообразности, но там они не господствуют всецело. Человек может в современном обществе верить, как ему кажется целесообразным для спасения его души, размышлять, как ему кажется целесообразным для правильного понимания и оценки окружающей его действительности; но как только он начинает высказывать результаты своей идеологической работы, так наряду с нормами целесообразности он обыкновенно вынужден принимать во внимание еще некоторые принудительные нормы—права, приличия, обычая; в обществах отсталых этих принудительных норм больше, и они даже решительно преобладают; в обществах передовых они имеются в меньшем количестве и отступают на второй план. Развитие

и здесь ведет к относительному упадку норм принудительных и к замене их нормами целесообразности — к освобождению человеческой деятельности.

## XVI

Когда в той или другой сфере жизни процесс освобождения людей от принудительных норм завершился, и самое воспоминание о них исчезает, то практически устраняется из жизни и мысль о «свободе» в этой области. В наше время в передовых странах никто не думает о «свободе» внутренних переживаний — мыслей и снов, о «свободе» технических изобретений и усовершенствований, и т. п. Но самый процесс освобождения неминуемо протекает в формах принудительных отношений — нравственных, правовых.

В культурных странах существует «свобода» совести, слова, печати, союзов. Что такое эта свобода? Определенное право. Как норма правовая, она должна, следовательно, заключать в себе элементы внешнего принуждения. В чем они заключаются? В том, что общественной силою подавляются всякие попытки нарушения этой свободы. Напр., юридическое содержание «свободы слова» таково: никто не должен препятствовать другим высказывать их мысли, а кто делает это, тот подвергается наказанию. Но самая мысль о возможности препятствовать людям высказывать их мысли означает, что сохранились еще следы прежнего принудительного нормирования человеческих высказываний, что есть, по меньшей мере, воспоминания о прежней насильственной цензуре слова. Когда эти следы и воспоминания окончательно исчезнут, то общество так же мало будет помышлять о свободе слова, как мало уже в наше время оно помышляет о свободе дыхания или о свободе сновидений.

Тут проявляется тот общий закон эволюции, что новое содержание жизни первоначально берет элементы для своих организующих форм от старого содержания, и только по мере отмирания этих элементов вырабатывает на их место свои вполне оригинальные формы. Новое из старого и через старое. Правовое принуждение цензуры преодолевается правовым принуждением, ограждающим свободу слова, и только вместе с этим по-



следним отрицательным принуждением исчезает в данной области правовая форма вообще.

Метафизический идеализм в социальных науках создает из свободы совести, слова и т. д. ряд «абсолютных» или «естественных» прав человека, непреложных и вечно-обязательных. Он не понимает, что действительная, вполне реализованная свобода есть вовсе не «право», а отрицание права. Он достиг той ступени развития, на которой городского, стесняющего свободу, стремятся заменить городским, охраняющим свободу; но выше этого последнего такой идеализм не в силах подняться в полете своей творческой фантазии, и наивно мечтает сделать его вечным. Тут сказывается специфическая узость буржуазной психологии, не позволяющая «идеалисту» выйти из рамок идеологических форм, свойственных буржуазному миру — форм правовых, нравственных и т. д.

## XVII.

Итак, в сфере техники и познания господство норм целесообразности намечается с определенностью уже в наше время. Иначе обстоит дело в области экономики — взаимных отношений между людьми, возникающих в трудовом процессе.

В современном обществе отношения эти характеризуются неорганизованностью, анархичностью. Их развитие связано с наибольшею суммою противоречий. Поэтому здесь объективно дается наименьший простор для норм целесообразности и наибольшая потребность в нормах принуждения. И мы уже видели, насколько необходимы эти нормы для менового процесса, выражающего в себе основное экономическое строение нынешнего общества, необходимы в силу коренных и неустранимых противоречий его содержания.

Здесь царствует принцип собственности — права определенных людей на определенные вещи, — и около этого принципа, как его частные проявления, вариации, или как его необходимые дополнения, группируются всякие другие принудительные нормы, правовые, нравственные и т. д.

Буржуазный экономический строй совершенно немислим вне правовой системы: она — его скелет. необходимая связь его частей и постоянная облекающая их форма.

## XVIII.

Переход от экономической системы, полной противоречий и потому регулируемой внешними нормами к гармонической системе сотрудничества, для которой такие нормы не нужны, может совершиться только через определенную переходную фазу, где новое, незаконченно сложившееся содержание пользуется еще старыми формами. Преобразование экономического строя должно произойти при посредстве новых правовых отношений, т.-е. политическим путем. Поэтому оно исторически выступает, как цель определенной партии, при чем обыкновенно обозначается термином «государство будущего».

Исследуя эту формулу при помощи исторической теории той же Марксовской школы, которая делает ее своим лозунгом, легко прийти к мысли, что тут есть противоречие. «Государство есть организация классового господства», учит эта школа, и в то же время она выставляет, как идеал, уничтожение классов. Каким образом примирить с этим идею «государства будущего», которое все же есть государство?

Противоречие здесь, конечно, только кажущееся. «Государство будущего» есть действительно организация классового господства, — но только того класса, который стремится устранить классы. Таким образом, оно есть переходная стадия; оно предполагает пережитки старых классовых идеологий, стоящие в противоречии с новой организацией жизни и подлежащие правовому нормированию. Когда эти пережитки исчезнут, и психология всего общества придет к соответствию с его новой системой сотрудничества — всеобщей кооперацией для всеобщего развития, — то и «государство будущего», теряя элементы принуждения, перестанет быть «государством». Это — общество, в котором взаимные отношения людей так же, как их отношения к природе и опыту, определяются нормами целесообразности. — Таков идеал, доступный взгляду современного человека, — социалистический мир.

## XIX.

Современный человек — дитя эпохи противоречий и принуждения — неминуемо задаст здесь вопрос: мыслимо ли такое

общество? И после этого вопроса другой: вероятно ли его возникновение?

Первый вопрос выражает собою требование указать теперь же элементы такой общественной связи, которая сводилась бы к нормам целесообразности.

Второй вопрос — требование показать, что существует объективная возможность расширения такой связи до пределов всего общества.

Ответом на первый вопрос нам послужит картина внутренних отношений товарищеского кружка.

Как совершается распределение труда в группах этого типа? Вне зависимости от норм принуждения и согласно нормам целесообразности. Люди собираются и обсуждают, какую именно часть общего дела каждому из них удобнее на себя взять. Общая цель является исходной точкой всех решений.

Что здесь не может быть речи о принудительности правовой, это очевидно само собою.

Исключается здесь и та ее вариация, которая обозначается, как обязательность «условного соглашения». Обязательность эта заключается в том, что человек подчиняется решениям своей группы, пока в ней участвует; если же не хочет подчиниться, то должен уйти. При товарищеских отношениях, в их чистой и развитой форме, этого нет. Если член группы заявляет, что та роль которую предлагают ему остальные, для него не подходит, что он не может ее выполнить, — это не влечет за собою его исключения из товарищеской организации.

О нравственной обязательности также не может быть речи. Никакой безусловный императив здесь не руководит действиями человека. Человек может взять на себя такую работу, которая мало гармонирует с его привычками, или даже прямо ему неприятна; но он поступает так или потому, что ее некому из товарищей выполнить, кроме него, т.-е. ради чисто практической целесообразности, или потому, что ему хочется избавить других товарищей от тяжелого для них труда, — стало быть, в силу непосредственной симпатии к ним; а симпатия эта, как всякое непосредственное чувство, конечно, не заключает в себе ничего нормативного, ничего формально-обязательного.

Частные цели отдельных лиц вытекают здесь, таким образом.

из их общего дела и возникающих на его почве непосредственных отношений между ними; а действия определяются нормами целесообразности соответственно этим целям.

Таков высший тип трудовой организации в своем элементарном виде.

## XX.

Теперь перед нами выступает второй, более трудный вопрос: возможно ли расширение товарищеской организации труда, свободной от принуждения, до размеров всего общества, и далее — до пределов человечества?

Отрицательный ответ представляется с первого взгляда единственно вероятным. Аргументы в его пользу толпятся такой массой, что не знаешь, с чего начать.

Однако, исследуя эти аргументы, легко свести их к двум типам: одни из них имеют исходную точку в определенном понимании самых товарищеских отношений, которым приписываются свойства, исключющие возможность их беспредельного расширения: другие ссылаются на природу человека и общества, в которой, будто бы, существуют условия, ставящие узкие границы такому расширению. Рассмотрим аргументы первого рода.

Самый общий и самый серьезный из них таков. Товарищеские отношения — это по существу отношения к ружковые. Они опираются на личные симпатии отдельных людей друг к другу: там, где таких симпатий нет, товарищеская организация невозможна или нежизнеспособна: а между тем, для каждого человека область личного чувства ограничена, — и, следовательно, так же ограничена сфера товарищеской связи людей: она не может охватывать миллионы и миллиарды личностей, образующие общество и человечество.

Вся сила этого аргумента заключается в смещении частной, конкретной формы товарищеских отношений, и притом низшей их формы, с товарищескими отношениями вообще, с тем особым типом развития, который они выражают.

Сущность товарищеской организации заключается в единстве цели, свободно, без всякого принуждения поставленной себе людьми и выходящей за пределы личных интересов каждого из

них. В раздробленном, анархичном обществе, где цели человеческой деятельности чрезвычайно разнообразны, и так мало связаны между собою, что противоречиво сталкиваются на каждом шагу,—в таком обществе вполне естественным образом товарищеское единство цели выступает на первых порах только в маленьких группах людей, близко связанных родством, дружбой, вообще личными симпатиями, личными элементами жизни. Эта узкая непосредственная связь чувства упрочивает собою и самое единство цели: любовь к общему делу сливается с любовью к людям, его выполняющим, и находит в ней для себя лишнюю опору. Но все изменяется по мере расширения самого дела.

Тут личная близость и кружковая связь не только перестают служить надежной опорой общей работы, но нередко оказываются прямо вредными для нее. Привыкшие связывать в своем сознании стремление к общей цели с определенными личностями, и субъективно-односторонне оценивая эти личности под влиянием живой симпатии к ним, человек кружковой психологии не мирится с неизбежным теперь в силу интересов самого дела изменением их роли в работе, и вносит свое недовольство, как источник раздора и противоречий, в общую жизнь товарищеской организации. На этой стадии развития товарищеская связь не лишена еще к тому же некоторой авторитарной окраски, — положение одних товарищей, как признаваемых руководителей, кажется более «влиятельным» и «почетным», чем положение других, и человек кружка нередко готов даже вступить в борьбу с товарищами, лично ему не близкими и не симпатичными, из-за «мест» для «своих», для более близких и симпатичных людей.

Так бывает нередко в жизни профессиональных и политических организаций товарищеского типа при переходе их от узкогрупповой постановки дела к более широкой, особенно при слиянии в партию ряда отдельных «кружков», долго работавших независимо один от другого. Тогда получается странная картина: люди, стремящиеся, повидимому, к одной и той же цели, и во расходящиеся даже в основных средствах ее достижения, ведут ожесточенную борьбу между собою, бессмысленно растрчивая силы своего коллективного целого. Борьба эта заканчивается только тогда, когда побеждают в ней группы, наименее пропитанные духом кружка, наиболее проникнутые идеей целого. То-

варищеская организация освобождается тогда от господства личных связей и симпатий, и выступает как действительная коллективность, сплоченная реальная единством работы.

Впрочем, при анархическом, неорганизованном строении всего общества, при неизбежном в его условиях преобладании индивидуалистической психологии, даже товарищеская организация по мере своего расширения принуждена одеваться в различные формы условного нормативного характера, в формы организационных «уставов». На вид это такие же внешне-принудительные нормы, как юридические, обычные, нравственные и т. под.; по существу же они совсем не таковы. Их обязательность заранее подчинена их целесообразности; заранее признается возможность и даже необходимость их нарушения, как только они, окажутся в явном противоречии с той общей целью, ради которой возникла самая организация. Это не веления личной или безличной власти, которая, ее мотивируя, требует повиновения; это организационные нормы целесообразности, которыми устанавливаются наиболее целесообразные способы сотрудничества. В них нет, при нормальных условиях, того фетишизма, который составляет душу норм принуждения, который делает из этих норм законы для постановки людьми самых целей их деятельности, а не для выбора только наилучших средств к достижению их свободно поставленных целей.

Итак, принципиальная узость связей кружковых отнюдь не означает такой же узости связей товарищеских. Совсем напротив. Только путем устранения элементов специально-кружковых могут товарищеские отношения получить возможность свободного развития. Но это не значит, чтобы в них могли совершенно отсутствовать элементы симпатии, чтобы товарищеская связь являлась по существу эмоционально-холодной, узко-деловой связью. Нет, только симпатия здесь имеет не такой узко-личный, индивидуалистический характер, как, положим, в отношениях дружбы, кровного родства, половой любви. Симпатия, основанная на сотрудничестве, на общей борьбе, на общей цели, может быть не менее глубока, чем симпатия, основанная на обычных приятных впечатлениях, получаемых от другого человека. В то же время по своему типу она более совершенна в том смысле,

что гораздо менее чувствительна к случайностям жизни, гораздо менее болезненна при неизбежных жизненных крушениях. В ней преобладает не сострадание, а сорадование.

Товарищ дорог товарищу, как гармонично с ним действующая сила в общей борьбе, как частичное живое воплощение общей цели. Каждый успех в этой общей борьбе, каждый шаг к этой общей цели служит богатым источником той общей радости, в которой взаимные выражения счастливых переживаний углубляют и усиливают их радостный характер. Но неудача или поражение далеко не в такой мере влекут здесь за собою обмен проявлениями горя и печали: этого не допускает активный характер товарищеской связи. Товарищ выбыл из строя, товарищ погнб,—первая мысль, которая выступает на сцену, это как замолить его для общего дела, как заполнить пробел в системе сил, направленных к общей цели. Здесь не до унынья, не до погребальных эмоций: все внимание направлено в сторону действия, а не «чувства». — Отсюда та «бесчувственность» к страданиям товарищей, которая так поражает филантропических филантеров в активных политических борцах.

Итак, по существу, товарищеская связь способна к такому же безграничному расширению, как сознательное сотрудничество, составляющее реальную основу этой связи. Симпатия узколичного характера не только не является необходимым условием товарищеских отношений, но, наоборот, находится в некотором антагонизме с тенденцией их развития. Это чувство, неизбежно играющее большую роль на ранних ступенях развития товарищеской организации, становится на следующих его стадиях препятствием, которое необходимо преодолеть. На место такой симпатии выступает план, чуждая индивидуализма и мелочности, способная в своем развитии охватывать неопределенно-расширяющийся круг человеческих личностей.

## XXI.

Переходим к другому ряду обычных аргументов против защищаемой нами концепции. Разве в самой природе человека и общества нет коренных условий, делающих неизбежными жизненные противоречия между людьми, и как необходимый резуль-

тат этих противоречий — принудительное регулирование человеческих отношений внешними нормами? Условия эти неустрашимы, пока человек есть человек, а не ангел; эгоистические инстинкты всегда будут вызывать столкновения личных интересов, и чтобы столкновения эти в своем прогрессивном развитии и обострении не превратили людей в настоящих волков, перегрызающих горло друг другу, необходимо внешнее обуздание законом, правом, моралью и т. д. Нормы же целесообразности совершенно не могут заменить такого обуздания: они одинаково будут указывать при одних условиях наилучшие способы помочь ближнему, при других — наилучшие способы перегрызть ему горло; их условный императив определяет средства, а не цели; регулировать цели в силах только императив категорический, безусловное принуждение.

Представьте себе, — говорят представители таких взглядов, — громадную железнодорожную сеть, где непрерывно движутся и скрещиваются тысячи поездов, где только величайшая точность в выполнении каждым из бесчисленных агентов общего дела его специальной роли гарантирует непрерывность целого, где малейшая небрежность угрожает гибелью тысячам человеческих жизней и глубоким потрясением всей общественной системе. Что будет, если каждый из агентов руководится при этом лишь нормами целесообразности, т. е. в сущности преследует повсюду свои собственные цели, стараясь только достигать их возможно быстрее и полнее, с наименьшей затратой сил? Пусть опытные специалисты составили самое лучшее, самое целесообразное расписание, указывающее каждому работнику системы его функцию во всех ее подробностях; кто может поручиться, что указания эти будут всеми строго выполняться? Все будет завлесть от личного произвола каждого из многих тысяч работников; не чувствуя над собой никакой принудительной силы, не опасаясь никакого наказания, они будут на каждом шагу поддаваться индивидуальным и случайным настроениям, ошибочным расчетам, и жизнь целого станет невозможной: сегодня усталый машинист найдет целесообразным остановить поезд на несколько часов, чтобы отдохнуть, завтра кондуктор предпочтет созерцание прекрасных ландшафтов утомительной тонке паровоза, послезавтра стрелочник



счтет удобным направить все поезда на запасный путь, чтобы они там подождали, пока он вернется с любовного свидания, и т. д., и т. д. Только суровое принуждение может непрерывно удерживать всякого в точных границах его обязанностей.

Те сильные аффекты — гнев, месть, половое влечение, ревность, — которые в наше время так легко разрывают даже прочные рамки закона и морали, тем более не встретят серьезного сопротивления в гибких, эластичных формах члестой целесообразности. Это будет полная свобода для преступления. Спасительный страх не будет удерживать людей от крайностей и порывов; и все социальное потонет в анархическом хаосе разнузданных инстинктов. Безумие и страх воцарятся на месте разума и свободы.

Все эти соображения имеют своей исходной точкой ту идею, что человеческая природа в основе своей неизменна, что при всяких общественных формах, при всяких исторических условиях она остается эгонистичной, индивидуалистичной, какой видим мы ее в современном обществе. Верная узко-личному интересу, она чужда идее целого, и общественный интерес, социальная целесообразность только тогда получают для нее руководящее значение, когда при посредстве наказания и принуждения, насилья и страха преобразуются в личную целесообразность, в индивидуальный интерес. К счастью, с человеческой природой дело обстоит не так плохо, и представление об ее неизменности — давно пройденная ступень познания.

Человек — производное своей общественной среды, — учит современная историческая теория. Если в данную эпоху он является по существу индивидуалистом, то это именно потому, что таким создает его современное общество, атомистически раздробленное, анархичное, построенное на конкуренции и классовой вражде. Отражая собою это социальное строение, человек не может быть индивидуалистом; но он не был им в ином, иначе устроенном — первобытно-коммунистическом, родовом обществе. Там личный интерес не обособлялся от коллективного, там человек органически сливался со своим целым — группою; общиной, как сливаются клетки в живых тканях. Понадобились тысячи лет развития, чтобы человек стал выделять свои личные цели из общих целей своей коллективности: и это случилось уже тогда, когда

распалась первобытная связь общества, когда из маленькой организованной системы оно стало огромным неорганизованным агрегатом.

Нет и не может быть сомнения, что в новом обществе, где исчезнет раз'единяющая сила конкуренции и классовой борьбы, исчезнет и та психология раз'единения, в которой личность противопоставляет себя со своими целями и интересами другим личностям и всему обществу. Сознывая себя интегральной частью великого целого, живя непрерывно единой с ним жизнью, человек утратит даже представление об эгоистических, узко-индивидуальных целях. Вместе с тем станут излишними и регулирующие борьбу этих целей нормы принуждения.

Даже в современном обществе связь принуждения и насилия только в общем и целом преобладает над связью симпатии и трудовой солидарности. В целой массе случаев эта последняя всецело устраняет первую, и именно тогда коллективное действие достигает наибольшей силы и планомерности. Когда в столкновении двух армий солдат одной из них объединяет и ведет на бой принудительная сила долга, служебного и морального, а солдат другой—живое, непосредственное сознание общей цели в виде любви к родине, как было в борьбе отсталой Европы против великой французской революции,—тогда мы знаем, которая из двух оказалась на деле организованнее и героичнее. Насколько живее, ярче и глубже должно проявляться сознание коллективной цели в таком обществе, где цель эта выступает на сцену не в отдельных исключительных случаях, но проникает собою всю социальную жизнь, непосредственно воплощаясь в организованной системе коллективного труда.

## XXII.

Тут аргумент, опирающийся на «природу человека», изменяет свою форму и превращается в аргумент, основанный на природе общества. Именно та самая коллективная организация труда, которая одна в силах устранить антигонизмы личные, групповые и классовые, и этим, будто бы, освободить путь для господства норм целесообразности, именно она требует для своего осуществления громадного развития принудительных

норм, громадного расширения их области. В самом деле, общественное производство должно быть организовано так, чтобы полностью удовлетворять все общественные потребности. Для этого человеческий труд должен быть целесообразно распределен между всеми отраслями производства; а каким путем достигнуть такого распределения помимо внешне-принудительных приемов? Если предоставить каждому свободно определять для себя и род, и количество труда, то в результате наиболее интересные и приятные отрасли труда будут постоянно переполнены работниками, тогда как в других отраслях недостаток рабочих сил будет совершенно неизбежным хроническим злом. Поэтому там безусловно необходимо установление всеобщего рабочего дня, может быть, не очень продолжительного, но обязательного для всех, и притом без права для каждого отдельного лица по произволу выбирать себе работу. Такой принудительный рабочий день, очевидно, предполагает периодическое полное подчинение личности внешней для нее силе общественного целого, и исключает собою действительное господство норм целесообразности.

Грозный призрак государственной казармы, неумолимо приковывающей личность к ненавистной для нее работе, призрак «грядущего рабства» жестоко тревожит сердце современного индивидуалиста. Великий ученый, проводящий ежедневно по восьми часов на отупляющей работе у ткацкого станка, талантливый художник, отдающий столько же времени на выламывание угля в темной шахте, гениальный романист за счетной конторской работой, и т. д., и т. д., — все эти каторжные ужасы отражают одновременно и стихийное, истинно-инстинктивное отвращение нынешнего индивидуалиста к тем высшим формам, которые зарождаются в глубине капиталистического общества, и глубочайшее их непонимание.

Труд — органическая потребность человека, и обществу нет надобности стегать личность бичем государственного или хотя бы морального принуждения, чтобы заставить ее трудиться. Для нормального, развивающегося человека трудовой день, наверное, не 8 часов, а значительно больше. Посмотрите на проснувшегося к жизни рабочего, который в прошлые годы, до революции, нередко после 10—11 часов принудительной работы на фабрике

тратя еще целые часы на интенсивнейшую работу самообразования; посмотрите на активного политического работника, часто едва находящего время есть и спать после самого напряженного труда; психология этих представителей будущего общества в обществе современном достаточно ручается вам за то, что грядущий социальный строй будет располагать колоссальною суммой свободного труда. Даже при нынешних социальных отношениях, систематически воспитывающих высшие классы в паразитическом направлении,—даже тут представители этих классов отнюдь не являются, в громадном большинстве случаев, простыми бездельниками; работают обыкновенно даже чистейшие рентьеры, хотя и меньше, чем другие люди; они только свободно избирают себе род труда, и, по большей части, в силу классовых предрассудков и других ненормальных условий жизни, избирают именно какой-нибудь наименее содержательный, наиболее бесполезный для общества. Итак, есть все основания думать, что недостатка в труде будущее общество, и помимо всяких форм принуждения, в общем и целом испытывать отнюдь не будет.

Правда, можно думать, что даже в общем и целом этот свободный труд заполнит далеко не все сферы производства равномерно,—его в целом ряде отраслей окажется слишком мало. Здесь-то и выступает вопрос о принудительном пополнении недостающего. То переходное коллективистическое общество, которое будет организовано еще в государственных формах, правовых, которое будет еще организацией классового господства, организацией власти пролетариата, это общество, конечно, и прибегнет к принудительному установлению рабочего дня. Но уже здесь, при достаточном развитии производительных сил, обязательный труд будет схватывать лишь некоторую, с самого же начала едва ли значительную часть коллективно-необходимого количества, так что прийд ли потребуются не только 8-часовой, но даже 6-часовой «рабочий день». В распределении этой доли труда общество опять-таки необходимо должно—в интересах самой производительности труда—считаться по мере возможности с личными склонностями и вкусами работников; и лишь постольку, поскольку и тогда окажется, что самораспределение работников не соответствует реальной потребности произ-

водства, на сцену выступит социальная обязательность, принудительная норма.

Таково, однако, лишь переходное состояние общества. В дальнейшем перемена должна совершаться в двух отношениях. С одной стороны, быстрое развитие производительных сил само по себе будет уменьшать потребность в принудительно-организованном труде; машина будет заменять здесь человека, освобождая его от работы, но не от средств к жизни, как она делает это при капитализме. С другой стороны, в новой общественной организации будет изменяться самая психология человека, становясь все более социальной, все менее индивидуалистичной. При этом свободное самораспределение труда будет все более облегчаться: недостающее в той или иной области производства количество труда будет быстро поопыняться добровольными работниками, для привлечения которых понадобится не сила общественного принуждения, а только статистические таблицы, констатирующие общественную потребность. И это будет достигаться тем легче, что бесконечно прогрессирующее развитие машины делает все менее трудным переход от одних видов работы к другим, а интенсивный рост энергии человеческого организма будет постоянно порождать в нем стремление к новой и новой смене одних трудовых процессов другими.

### XXIII.

Итак, ни в природе человека, ни в природе общества нет таких условий, которые исключали бы возможность развития вплоть до полного устранения внешних норм и принудительных отношений, вплоть до полного господства перм целесообразности и товарных отношений между людьми. Остается еще один, страшно важный вопрос: насколько прогрессивны эти высшие формы жизни? Давая беспредельный простор развитию, дают ли они достаточные стимулы к нему? Их гармония не ведет ли к застою, и их стройность—к неподвижности? Если бы это было так, то даже современный мир, с его болезненным развитием среди бесчисленных противоречий, был бы бесконечно лучше того «высшего» мира, гармонично и безболезненно процветающего в бессмысленных циклических повторениях.

А между тем, это именно так и есть, — решительно утверждают защитники индивидуализма. Только из противоречий общественной жизни рождается общественное развитие, только конкуренция и борьба классов создают движущие прогресса. Разве родовые общества, чуждые этой борьбы и этих противоречий, не были самыми застойными, как не знает история? Разве технический прогресс — основа всякого иного прогресса — не вызывается именно конкуренцией, заставляющей капиталистов искать новых и новых средств удержать за собою рынок среди отчаянных нападений соперников? Разве самая смена общественных форм не обуславливается борьбой классов? А потому не очевидно ли, что устранить конкуренцию и борьбу классов, устранить общественные противоречия стихийного развития — значит устранить прогресс техники и общественных форм, устранить развитие вообще?

Не только конкуренция и прямая борьба, но даже простое соревнование должно исчезнуть там, где исчезают индивидуалистические чувства, потому что оно из них всецело вытекает, потому что для него нет почвы там, где личность не противопоставляет себя другим личностям. Откуда же возьмутся стимулы развития?

Ответ очень нетруден. Борьба между людьми, их конкуренция, соревнование — все это только производные стимулы развития и за ними скрываются иные, глубже их лежащие, — стимулы первичные. Эти последние возникают там, где человек встречается лицом к лицу с природой, где в непосредственной борьбе с нею он сам выступает как производительная, как творческая сила. Вот неутомимый путешественник ведет свою одинокую, отчаянную борьбу с полярной природой, вот страстный охотник ежечасно рискует своею жизнью в истребительной войне с хищниками, вот упрямый изобретатель без отдыха напрягает свою мысль и свое воображение, чтобы подчинить человеку еще одну из стихийных сил вселенной, вот идеалист ученый с непреклонною энергией стремится вырвать у природы ее тайну, — эти люди переживают наиболее быстрое, наиболее интенсивное развитие, а разве только конкуренция или соревнование с другими людьми двигают при этом их волей? Конечно, нет: эти мотивы имеют для них наименьшее значение.

Всюду, где дается новый и новый материал опыта, и всюду, где обнаруживается дисгармония в старом его материале, там начинается прогрессивная, творчески-гармонизирующая работа психики. Родовое общество теряло свой консерватизм и начинало преобразовывать технику, когда абсолютное перенаселение проявляло себя в общем голодании; конкуренции между отдельными людьми при этом не требовалось. Открытие Америки с той массой нового жизненного содержания, которую принесло оно человечеству, и без всякого соревнования успешно было преобразовать всю жизнь человечества. Враг человек не сильнее и не вернее толкает человека на путь развития, чем другой великий враг — и в то же время полный таинственного очарования друг его — природа.

При полном взаимном понимании людей широта товарищеского общения между ними в будущей социальной системе гарантирует для личности постоянный приток новых и новых переживаний, нового и нового материала опыта. В то же время исторически выработанная и ставшая привычной тупая и сложная гармония жизни обусловит высшую чувствительность ко всякой возникающей дисгармонии. Эти условия интенсивнейшего развития представляют прямую противоположность с теми, какие создаются в нашем современном мире. Здесь «дробление» человека, порождаемое специализацией, понижает степень взаимного понимания людей и суживает сферу их общения: а в то же время привычка к жизненной дисгармонии, естественно возникающая там, где человека на каждом шагу окружают противоречия, притупляет чувствительность ко всякой новой дисгармонии. Мы из опыта наших дней хорошо знаем, до чего может в эпоху острых общественных кризисов доходить эта нечувствительность людей к самым ужасным, до безумия чудовищно проявляющимся противоречиям жизни.

Та внутри-общественная борьба, в которой индивидуалнет видят единственный и безусловно необходимый двигатель прогресса, в действительности является не только двигателем, но отчасти и тормозом прогресса: она растрчивает силы и рассеивает творческое внимание человека. Первое понятие само собою: второе также становится в высшей степени очевидным,

если ясно себе представить, что победа в борьбе человека с людьми, хотя бы и в экономической борьбе, очень часто достигается и такими путями, которые ничего общего с социальным прогрессом не влекут. Сколько ума и изобретательности, пригодных для лучшего дела, тратится на спекуляцию и биржевые проделки! И в то же время возможность введения машин в производстве значительно суживается оттого, что условием этого введения служит не их полезность, а их прибыльность, не бережливость при их помощи труда работников, а увеличение процента.

Все эти побочные вредные действия совершенно чужды тому в целом и основному двигателю прогресса, каким является непосредственная борьба человека с природою.

Степень прогрессивности товарищеских организаций находится в наибольшей зависимости от широты общения между людьми, какая в них достигается. Узкие кружки, с их бедным жизненным содержанием, неминуемо впадают в консерватизм по мере того, как исчерпывается все новое, что могут их члены дать друг другу. Крупные товарищеские организации развиваются гораздо дольше, интенсивнее,—в зависимости опять-таки от их широты: коммунистические общины с несколькими сотнями участников после нескольких десятков лет процветания переходят к вырождению, политические партии аналогичного типа со многими тысячами членов растут и крепнут и вырабатывают новые формы все быстрее и энергичнее, не обнаруживая никакого истощения.

Все это с полной определенностью приводит к тому выводу, что наибольшая скорость и энергия прогресса, наибольшая его разносторонность и гармоничность могут быть достигнуты только в таком обществе, которое своей социальной формой будет иметь товарищеское сотрудничество, своими рамками—границы человечества. Там силы развития станут беспределными.



### III. ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ.

У моря пустынного, моря полнотного  
Юноша грустный стоит.  
В груди тревога, сомненьем полна голова.  
И мрачно волнам говорит он:  
«О, разрешите мне, волны,  
Загадку жизни —  
Древнюю, полную муки загадку:  
Уж много мудрilo над нею голов —  
Голов в колпаках с иероглифами.  
Голов в чалмах и черных, с перьями, шапках.  
Голов в париках, и тысячи тысяч других.  
Голов человеческих, малых, бессильных...  
Скажите мне, волны, что есть человек?  
Откуда пришел он? Куда пойдет?  
И кто там над нами на звездах живет?  
Волны журчат своим вечным журчаньем:  
Вест ветер; бегут облака;  
Влещут звезды безучастно холодные:  
И дурак ожидает ответа!

Г Гейне.

Те философские вопросы, с которыми гейневский герой обращается к мореплавателям волнам, после того как без успеха обращался к современной ему немецкой идеалистической философии Фихте, Шеллинга и Гегеля, эти «последние», «высшие» или «вечные» вопросы не во все времена обнаруживали те свойства, за которые получили характеристику «проклятых». Так-называемые «органические» эпохи, когда общественный мир стоит твердо на своих китах, и эти серьезные, флегматичные животные, не тревожимые острыми гарпунами практических противоречий и идейной критики, не проявляют опасной склонности ворочаться с боку на бок и нырять, — органические эпохи, в сущности, не знают проклятых вопросов. Если бы наш симпатичный молодой метафизик адресовал свои вопросы, например, к тому нетронутому капитализмом и культурой натурально-хозяйственному мужичку, который некогда был настоящим «китом» для целого стройного, полного надежд старонароднического мировоззрения, а ныне превратился почти в мифическое существо, — то ответы получились бы определенные и вразумительные, чуждые всякой «тревоги» и «со-

миный». Правда, эти ответы не удовлетворяли бы, вероятно, нашего героя, может быть, показали бы ему вовсе даже не ответами; но это именно потому, что он—представитель совершенно новой, «критической» или «переходной» эпохи, которая уже выполнила одну половину дела—покончила со старыми ответами, но не успела выполнить другой—покончить со старыми вопросами.

Философское и теологическое образование «мрачного юноши» не может подлежать сомнению. Он знаком со всевозможными ответами, какие когда-либо давались мудрецами человеческого рода на занимающие его вопросы. Почему же он не в состоянии успокоиться ни на одном из этих ответов? Что довело его до такого безнадежного к ним недоверия, что морские волны кажутся ему более компетентными в метафизике, чем мудрые авторы этих ответов, и что даже головы означенных мудрых людей он считает вполне достаточным классифицировать по тем колпакам, которыми они украшены?

Во всех ответах метафизиков и теологов он нашел одно общее и крайне прикормное свойство: разбегаться в бесконечные ряды, не двигаясь с места.

«В чем состоит существо человека?»—спрашивает, например, он, и ему, положим, отвечают: «В бессмертной душе». «А в чем существо этой души?»—спрашивает он тогда. Допустим, что на это дается такой ответ: в вечном стремлении к абсолютному идеалу добра, истины и красоты. «А что такое этот идеал?»—предлагает он; и когда ему дадут определение: идеал этот есть то-то и то-то,—он вынужден спрашивать дальше: «Что есть это самое «то-то и то-то», которое заняло место сказуемого при подлежащем «абсолютный идеал?»—и т. д., без конца. Перед ним выступает как будто бесконечный ряд отраженных образов в двух параллельных зеркалах. Успокоиться на каком-нибудь из ответов его ум может так же мало, как его зрение остановиться на каком-нибудь из отражений. Напротив, образы становятся все более тусклыми, ответы все менее понятными, чувство неудовлетворенности возрастает.

Та же история повторяется с каждым из «проклятых» вопросов; и наш юный философ, видя, что не может ни от кого добиться иных ответов, кроме еще более «проклятых», впадает

в вполне понятное отчаяние. Мудрецы пытаются объяснить ему, что это совершенно неосновательно, что во всем виноват он сам. Они говорят: «Молодой человек, вы впали в очель грубую ошибку. бесконечно растягивая цепь вопросов. Вы можете, разумеется, по поводу всякой вещи, по поводу всякого определения спрашивать: что такое это? что такое то? — но вопросы эти не всегда имеют разумный смысл. Есть вещи, непосредственно известные, непосредственно очевидные и понятные; всякая попытка определить их, во-первых, бессмысленна, потому что они не нуждаются в определении, во-вторых, неосуществима, потому что нет ничего более их известного, через что их можно было бы определить. Раз вы дошли до них, вы достигли цели, и должны остановиться: дальнейшие вопросы представляют уже только злоупотребление грамматическими формами и нашим терпением».

— Прекрасно, — замечает мрачный юноша, — так будьте же любезны указать мне, где то непосредственно известное, о котором вы говорите. Я спрашивал вас, в чем состоит существо человека; вы мне сказали: в бессмертной душе. Уж не она ли должна быть непосредственно для меня очевидна и понятна?

— Конечно, да! — подхватывает один мудрец, — разве вы не чувствуете ее в себе, разве вы не сознаете себя, свое духовное «я», так резко и ясно выделяющееся среди всего мира? Неужели тут нужны еще какие-нибудь определения?

— Так вот, представьте себе, что для меня это «я» совсем не ясно и не понятно. Иногда мне кажется, что я его действительно чувствую и отличаю от всего остального; иногда, напротив, оно совсем куда-то ускользает и становится неуловимо; а иногда я замечаю, что оно у меня не одно, а как-будто их несколько. Как же мне не спросить, что оно, в сущности, такое?

— В этом вы совершенно правы, — снисходительно замечает другой мудрец. — Эмпирическое «я», которое старые богословы смешивали с душой, отнюдь не есть что-либо определенное, — это не более, как хаос переживаний. В нем надо выделить то абсолютное, нормальное «я», которое составляет подлинную сущность человеческой личности, ее бессмертную душу. Именно это «я» вы сознаете в себе, когда подчиняете свои переживания внешним эти-

ческим, эстетическим и логическим нормам, когда стремишься к абсолютному добру, красоте, истине.

— Увы, почтеннейший, — с грустью отвечает наш герой. — с этими вашими абсолютами дело обстоит для меня еще хуже, чем с душой вообще. Вчера мне казалось, что я стремлюсь к абсолютному добру, отдаваясь порыву патриотической ненависти к врагам отечества и подавляя все противоположные чувства; а сегодня я вижу, что это была оргия пошлого шовинизма, враждебного истинному идеалу. Вчера я старался обуздывать чувственные страсти, стремясь, как мне казалось, к высшей духовной красоте; а сегодня я подозреваю, что в основе этого обуздания лежала просто подлая трусость перед стихийными силами моей собственной природы. Как же мне не спросить вас, что такое ваши абсолютные идеалы?

Очевидно, несчастье молодого философа, а вместе с тем и его отличие от тех мудрецов, которые предлагали ему свои решения вечных задач, сводится к полной невозможности найти в своих переживаниях что-нибудь достаточно определенное и непосредственно-понятное, чтобы оно могло послужить надежным базисом и критерием для всего остального. Если человек старых времен употреблял выражение «моя душа», то он хорошо знал, о чем говорит: то было его сегодняшнее сознание, которое лишь незаметно отличалось от вчерашнего и завтрашнего, которое представляло прочный и консервативный в своих повторениях комплекс переживаний, а потому и воспринималось как нечто вполне известное и само собою понятное. Привычное не возбуждает вопросов и недоумений, человек не может видеть в нем никакой загадки; силою многократного повторения даже самое смутное понятие, как о том свидетельствует вся история религиозных догматов, получает в конце-концов окраску величайшей достоверности и очевидности. Различные мелкие божества католической религии, с которыми ежедневно вступает в молитвенное общение итальянский крестьянин, для него ничуть не менее реальны и несомненны, чем его соседи, с которыми он беседует и ссорится. Чем консервативнее сознание, тем больше в нем самоочевидного и самопонятного. — того, что не порождает сомнений, а, наоборот, может служить опорой против всяких сомнений, базисом для надежных и убедительных ответов на всякие вопросы.

В своей психике наш герой не находит ничего достаточно устойчивого и консервативного, ничего настолько «непосредственно-известного», чтобы можно было остановиться, и с успокоенным сердцем сказать: «вот это для меня понятно и не требует ни вопросов, ни объяснений; и так же будет приятно все, что мне удастся свести к этому». Все отвлеченности, которыми угощают его мудрецы, кажутся ему переменными, неопределенными и сомнительными по содержанию. Все определения, которыми ему пытаются помочь, кажутся ему бесплодной игрою со смутными и туманными образами, в которых нет жизни и силы, чтобы материализоваться. «Mobilis in mobili» — «изменяющийся в изменчивой среде», — таково трагическое положение, которое делает совершенно безнадежными, с его точки зрения, все усилия философских голов, без различия их уборов, в деле решения «вечных» вопросов, — вопросов о неизменном и неподвижном в жизни.

На сцену выступает новое лицо, для которого мрачный юноша, к своему удивлению, не находит места в своей классификации философских голов. Это — критик-позитивист, который, вместо измышления ответов на «проклятые» вопросы, ставит вопрос о самих этих вопросах, об их законности и логической состоятельности.

«Вы хотите знать, в чем состоит «сущность» человека, жизни, мира? — говорит он, — но постарайтесь сначала выяснить себе, что, собственно, подразумеваете вы под этим словом «сущность». Оно означает неизменную основу явлений, тот абсолютно постоянный субстрат, который скрывается под их непостоянной оболочкой. Это слово имело смысл для ваших предков, которые не знали, что в действительности нет ничего неизменного, ничего абсолютно-постоянного. Они выделяли из действительности более устойчивые элементы и сочетания и, считая их, по недостатку наблюдений и опыта, за абсолютно устойчивые, называли их «сущностью» данных вещей и явлений. Вам же хорошо известно, что абсолютно постоянных комбинаций вовсе нет, что в каждом явлении каждый его элемент может исчезнуть и смениться новым; и если вы, стремясь добраться до сущности, устраните из действительности все, что в ней изменчиво и что, следовательно, не соответствует самому понятию сущности, то у вас ничего не останется. Останется только слово «сущность», выражающее

вашу попытку найти неизменное в изменениях, попытку безнадежную по своей внутренней, логической противоречивости. И все ваши вопросы, в которых фигурирует это слово, так же логически противоречивы, как выражаемое им понятие. В них не больше разумного смысла, чем, напр., в вопросе, как велик объем дальной поверхности, или из какого дерева сделано железо.

«Другие ваши вопросы—о «происхождении» человека, жизни, мира,—происхождении не в смысле научного опыта и наблюдаемой последовательности явлений, а в смысле абсолютного, внеопытного, творческого первоисточника,—вопросы эти выражают стремление найти последнюю причину всего существующего. Но понятие причины возникло из опыта и относится к опыту, оно выражает связь между одним и другим предметом, между одним и другим явлением; вне отдельных данных предметов и явлений оно лишено всякого смысла. Между тем, то «все», о котором вы спрашиваете, отнюдь не есть какой-либо данный предмет или данное явление,—оно есть бесконечно развертывающееся содержание, к которому принадлежат все предметы и явления; применять к нему понятие причины—значит принимать его за нечто данное, ограниченное,—а оно безгранично и никогда не дано нам. И опять-таки ваши предки знали, что говорили, когда ставили вопрос о причине всего, о творении мира. Их «все», их «мир» представлял из себя, действительно, нечто данное и вполне ограниченное, хотя бы в их мысли: им чужда была идея о бесконечности бытия, природа была для них только очень большой вещью, для которой они подыскивали и соответственно большую причину. Но вы, имеющий понятие и об экстенсивной и об интенсивной бесконечности существующего<sup>1)</sup>, как можете вы ставить об этой бесконечности вопрос, относящийся только к конечному? Вы, знаящий, что «все» не есть объект возможного опыта, а только символ его беспредельного расширения, каким образом хотите вы обращаться с этим «все», как с одним из таких объектов? По-истине, вопрос ваш подобен вопросу ребенка о том, сколько верст от земли до небесного свода, или сколько лет господу богу.

«Третий ряд ваших вопросов относится к «смыслу», т.-е.

---

<sup>1)</sup> Бесконечность «широты» и «глубины»: явлений бесконечно много, и каждое бесконечно сложно для исследования.

к «цели», существования человека, жизни, мира. Здесь недоразумение еще очевиднее. Понятие «цели» заимствовано из психического опыта, из области сознания; оно выражает связь между представлениями и сознательного существа и результатами его действий. Следовательно, вопрос о цели мира и жизни заранее предполагает уже наличие какого-то сознательного существа, которое стремится своими действиями достигнуть определенных результатов, т.е. очевидно, обладает определенными потребностями, для удовлетворения которых средством или одним из средств служит мировой процесс и жизнь человека. Но, где нашли вы такое существо, и что дает вам право а priori предположить его наличие? Вполне естественно и понятно, что ваши предки, жившие в атмосфере рабства и подчинения, привыкшие во всевозможных случаях жизни играть роль средства для целей чуждого расчета и произвола, что они повсюду присоединяли к наблюдаемым действиям людей, и даже к явлениям мертвой природы мысль о деспотической воле, которой служат эти действия или явления. Но вы, человек знакомый с идеями свободы и также с борьбою за свободу, вы, практически отрицающий рабство и подчинение, а теоретически признающий их за пройденную ступень развития человечества, почему в сфере высших обобщений вы ставите вопрос так, будто не можете и вообразить себя иначе, как рабом чьей-то чуждой воли? И при этом вопрос ваш оказывается так же мало мотивирован, так же плохо обоснован, как если бы вы, напр., спрашивали у голодного человека, по чьей просьбе он собирается обедать, или у падающего с колокольни — по чьему поручению он спешит.

Итак, бросьте эти бессмысленные комбинации слов, называемые «вечными вопросами»; на них не требуется ответа, потому что это — вопросы только по грамматической форме, а не по логическому содержанию; и, кроме отрицания самой их постановки, всякий иной ответ на них был бы такой же, как и они сами, нелепостью».

Юный вопрошатель, прошедший школу кантовской «Критики чистого разума», не может отрицать законности постановки вопроса о критике самых вопросов, которые его занимают. После нескольких возражений и попыток защитить эти вопросы, он приходит к выводу, что с формальной стороны отстаивать их — дело

безнадёжное. Тогда он обращается к своему собеседнику с таким замечанием:

«Я допускаю, что логически вы совершенно правы, что волнующие меня вопросы нелогичны и противоречивы. Но отчего же ваши аргументы, против которых я уже не в силах возражать, не убеждают меня настолько, чтобы я отказался хотя от одного из этих вопросов? Отчего, когда я принуждаю себя стать на вашу точку зрения, отвергнутые вопросы напоминают о себе тоской и болью в душе, и через минуту вновь всплывают, прорывая всякие логические преграды? Отчего они так неустрашимы из моего сознания, и даже кажутся для меня дороже всего остального, что в нём имею? Я думаю, что не в одной логике дело, и что теоретический разум некомпетентен отвергать и даже подвергать критике то, что рождается из глубочайших глубин практического разума. Может быть, нелогичность вопросов означает только то, что они выше логики?»

«Мой друг, — отвечает критик-позитивист, — если вам угодно отрицать логику, то никакой спор с вами, никакая попытка убедить вас вообще не могут иметь места. Но посмотрите, до чего жалкий вид имеет то подобие аргументации, которое вы применяете в защите своих вопросов. Разве тоска и боль в душе могут доказать что-нибудь, кроме болезни? Разве неустрашимость из сознания не свойственна многим окончательно опровергнутым иллюзиям, напр., хотя бы иллюзии движения солнца вокруг земли, или движения луны вместе с вашей особой, когда вы идёте? А ваше соображение, что нелогичное может быть выше, а не ниже логики, — скажите, что может быть печальнее в смысле убедительности, чем такое «может быть — соображения»? И напрасно вы прячетесь под приоритет практического разума над теоретическим; этот удобный догмат — да не вменится он покойному Канту в день страшного суда! — никак не может отменить логику, ибо то, что называется разумом, по самому понятию «разума» должно подчиняться логике. Итак, бросьте бесплодные умствования над несуществующими вопросами, — ваши юные силы могут пригодиться на что-нибудь лучшее!»

«Ах, оставьте вы меня в покое — нервно протестует наш вопрошатель. — Нет для меня на свете ничего ни лучшего, ни худ-



него, пока не решены эти вопросы; а если они неслепы, то к чему и сам, и не все ли равно, куда я растрачу свои силы? Нет цели, нет смысла в жизни, все течет и изменяется, призраки рождаются из призраков, и ничего нет за ними, кроме бесконечной, зияющей пустоты. К чему мне тогда ваша логика, ваша наука, ваша критика и ваши положительные знания? Не могу я вам поверить, даже если за вас очевидность: ибо что мне в такой холодной, безжизненной очевидности?

— И знаете ли что?—прибавляет вдруг он, останавливая свой пристальный, горящий взгляд на грустно-насмешливом лице своего собеседника,—вы, ведь, и сами не вполне себе верите. Там, в темной глубине вашей души, осталось то, против чего вы боретесь, что так горячо отрицаете. И я, милостью божьей психолог и поэт, которому дано проникать в человеческое сердце дальше, чем другим людям,—я говорю вам: только ваша борьба против этих проклятых вопросов спасает вас от их фатального влияния. Если бы эта борьба кончилась, вы убедили бы всех и самого себя, и некому было бы доказывать то, что вы мне пытались доказать,—эта победа превратилась бы в величайшее поражение. Холод охватил бы вашу опустошенную душу, бездна раскрылась бы перед нею, и из ее темной глубины восстали бы все те же, ненавистные и неизбежные, проклятые вопросы.

— Да, это и болезнь не вылечит ваша беспощадная хирургия. Вам приходится изрезать всего пациента, — и останется от него только система *legge artis* наложенных повязок. Лучше пойду я, неисправимый, допрашивать волны; если они и не сумеют мне ответить, то дадут мне минуту забвения в уносящем всякие вопросы созерцании. А пройдет эта минута, и вновь обступят мою душу проклятые гости,—ну, тогда, может быть, я обращусь к волнам за другой услугой: в их холодных объятиях можно навек избавиться от тревог и сомнений, все смеют они, чистые, прозрачные...

Позитивист удаляется, сострадательно пожимая плечами, и молодой философ остается один со своими мыслями.

Пойдем же и мы, в свою очередь, побеседовать с ним об этих мыслях. Правда, поступая так, мы впадаем в несомненный анахронизм; но что значат анахронизмы для «вечных» вопросов? К тому же, мы на три четверти века старше его, потому что яви-

льсь на свет тремя поколениями позже; и, может быть, тот большой опыт, который стоит за нашими плечами, даст какие-нибудь указания или намеки на выход из той мучительной безысходности, которая так угнетает этого симпатичного идеалиста времен минувших.

Он спрашивает о сущности человеческого сознания, об его последней причине, об его конечной цели: соотносительные вопросы о мире подразумеваются при этом сами собою. Что же получили бы он в случае удачного решения вопросов? В чем их жизненный смысл?

«Сущность» — этот неизменный субстрат изменений — дала бы ему твердую, устойчивую точку опоры в хаосе непрерывного движения, вечной смены форм в нем самом и в окружающей среде. К «сущности» мог бы он апеллировать, на ней успокаиваться каждый раз, как его познание и воля терялись бы в этом хаосе, каждый раз, как опасное головокружение угрожало бы отнять его силы и радость жизни.

А «последняя причина», эта остановка на пути бесконечно развертывающегося в прошлое познания причин? Она, очевидно, была бы также точкой опоры, именно — точкой опоры в прошлом.

Такова же и «конечная цель» — точка опоры в будущем.

Кто ищет для себя с тоской и тревогой точек опоры в жизни? Тот, у кого их нет, кого уносят куда-то, и уносит против его воли, — потому что пловец, добровольно и радостно отдающийся волнам, не мучится в это время тревогой и тоскою по прибрежным скалам.

Уносит против воли и неизвестно куда! Вот в чем трагизм положения нашего идеалиста, и не его одного...

Что же уносит? Космические силы — движение земли вокруг солнца, движение солнца вокруг неизвестного центра?.. Ну, об этом наш философ не особенно беспокоится... С этим давно примирилось его сознание, и законы тяготения кажутся ему достаточной точкой опоры в бесконечном плаваньи по астрономическим безднам. У него срывается даже иногда легкомысленная шутка по поводу космического «perpetuum mobile»:

«...А там — это яркое солнце —  
Не красный ли спяну то нос

Властителя мира?  
И около этого красного носа  
Не спяну ли мир кружится?»

Над чем весело и беззаботно смеются, к тому не относятся, очевидно, с особенной «тревогой и сомнением», и не из этого движения рождаются фатальные вопросы о точках опоры...

А смерть? Может быть, это она, неизбежная и беспощадная, наполняя сознание инстинктивным страхом, згучительным и смутным, как кошмар,—может быть, она пронзела на свет эти злые призраки? Но она для человека—не движение, а конец движения, остановка на пути; и уж, конечно, не из нее возникает задача—найти точку опоры в движении жизни. Устанавливая неопределенные, но тесные границы личному существованию, она может стимулировать, обострить потребности и загадки, возникающие в этих границах,—но не определить собою их содержание. Его исходная точка, во всяком случае, в движении самой жизни.

Но, может быть, нашего поэта-философа пугают и мучат непонятные, стихийные силы его собственной души? Нет, он и их не боится, а, скорее, любит, они дают ему счастье творчества. Они зовут его к радостям жизни, к борьбе... К борьбе,—но из-за чего? К радостям,—но неужели только для себя? Творчество,—но куда его направить, на что в нем опереться? Вот тут и встают проклятые вопросы. Не вечное движение великого космоса, не волнения и порывы собственной души идеалиста порождают в нем эти вопросы,—они только приводят к ним, не более. Источники их лежат в не отдельной личности и в не безразличной стихийности внешней природы.

Где же именно? На это ясно указывает другое стихотворение Гейне, посвященное также «проклятым вопросам», которые там он формулирует ближе к жизни:

«Брось свои иносказанья  
И гипотезы пустые;  
На проклятые вопросы  
Дай ответы нам прямые:  
Отчего под ношей крестной  
Весь в крови влачится правый,  
Отчего везде бесчестный  
Встречен почестью и славой?  
Кто виной? Иль богу правды

На земле не все доступно?  
Или он играет нами?  
Это подло и преступно.  
Так мы спрашиваем жадно,  
До тех пор, пока безмолвно  
Не забудут нам рта землею...  
Да ответ ли это, полно?»

Вот, где лежит то неразумное и нелогичное в жизни, что наполняет душу тревогой и сомнением и будит в ней неразрешимые вопросы,— оно в социальной жизни людей, в их взаимных отношениях. Непонятны те стихийные силы, которые царят там, нет в них ни логики, ни справедливости; уносят они человека к той судьбе, которой он не хочет и не заслуживает и, что всего ужаснее, которой он не знает... Идет борьба,— но лучшие ли в ней побеждают? кипит работа,— но кому достанутся ее плоды? Ответы жизни то-и-дело оказываются так нелепы, так чудовищны, что сердце сжимается от боли и недоумения. Противоречия общественного бытия людей— вот корень проклятых вопросов, осаждающих сознание.

Когда природа всецело властвовала над человеком, тогда неразумное и нелогичное, тяготевшее над его жизнью, находилось совершенно вне его и ему подобных, и было ему вполне чуждо. Оно лежало там, где он и не мог искать и требовать ни логики, ни разумности, где он мог бы бояться и умолять, но только не спрашивать. Поэтому в религиозном мировоззрении, выражающем эту фазу развития, проклятых вопросов вовсе нет: те вопросы, которые соответствовали им по внешнему выражению, имели совершенно иное, несравненно менее сложное содержание, и допускали чрезвычайно простые, ясные и достаточно убедительные ответы. Если, напр., признавалось, что человек и все живое существует для того, чтобы творить волю божества, то воля эта понималась как чистый произвол, и не философский анализ должен был выяснять ее, а непосредственное откровение. Если было установлено, что «существо человека» состоит в его душе, то уже не возникало дальнейшего вопроса, в чем же существо этой души: она не была соткана из загадочных противоречий, ее простота и жизненная устойчивость не порождали сомнений насчет ее состава и степени ее реальности. Все было на своем месте; и философские сомнения не могли найти дороги в головы, все-

цело заполненные заботою о непосредственном поддержании жизни.

Ряд решительных побед, одержанных человечеством над внешней природой, протекал нераздельно с коренным преобразованием общественной природы человека. Человек стал существом логическим и этическим.

Первое—логическая форма мышления—явилось более непосредственным результатом возрастающей власти над природою: в твердых логических нормах выразилось прочное обладание целой массой связей и соотношений между комплексами природы. Закон тождества формулирует по преимуществу социальный и непрерывный характер этого обладания: «то, что для меня и в данный момент есть **A**, является таковым же **A** и в опыте других людей, а также и в моих последующих воспоминаниях об этом»,—таков единственно возможный смысл формулы  $A=A$ , смысл, вне которого она превращается в бесполезную и безысходную комбинацию знаков. Закон достаточного основания резюмирует реальное жизненное значение того же обладания,— возможность предвидеть будущее, освобождение от непостижимых случайностей и чудес.

Этическое сознание было более косвенным следствием трудового развития человечества. Общество возросло до громадных размеров и глубоко дифференцировалось в зависимости от разделения труда между людьми. Но именно это сделало общество формально-неорганизованной, анархической системой. Материальная жизненная связь сотрудничества между членами и группами общества осталась, но была совершенно замаскирована их формальной обособленностью и борьбою их интересов. Этическое сознание и выразило в себе эту двойственную природу общества, являясь той формой, в которой материальная связь трудовой солидарности ограничивала и обуздывала анархические тенденции групп и личностей в борьбе их интересов. Фетишистический характер этого сознания (абсолютный императив, религиозный или «категорический»), его «непостижимость» вытекала именно из противоречия между реальной связью сотрудничества, составляющей его основу, и скрывающими эту связь—формальной независимостью личностей в трудовом процессе и борьбой между ними. Раз основа ускользает от наблюдения, а проявление обладает

очевидной жизненной реальностью и практическим значением, то очень понятно, что оно представляется фетишисту «голосом из другого мира».

Неорганизованная, анархичная форма общественного процесса отдала человека, вышедшего из подчинения стихиям внешней природы, во власть не менее стихийных сил самой общественной жизни, и силы эти понесли человека «неизвестно куда и против его воли». Но существо логическое и этическое уже не могло с первобытным фатализмом и покорностью отнестись к этому положению; оно стало цепляться за то, что обычно давало ему опору в жизни,—за логические и этические формы своего сознания. К непонятному и непреодолимому потоку жизни оно начало предъявлять логические и этические требования, которые, конечно, не удовлетворялись, но благодаря этому становились только еще более настоятельными, и ощущались еще болезненнее. Обобщенную форму этих требований и представляют «проклятые вопросы».

Громадные различия жизненного опыта людей, как членов дифференцированного общества, различия, приводящие к неизбежному в той или иной мере их взаимному непониманию в их сотрудничестве и борьбе, вместе с громадными изменениями в содержании опыта отдельного человека в различных фазах его существования, приводящими к неустойчивости образа собственного «я» человека, создают мучительную потребность в том общем и непрерывном, что господствовало бы над всеми этими различиями и изменениями, что было бы всегда и для всех то же естественной точкой опоры в хаосе жизни. Эта потребность, выражаемая в «вечном вопросе» о «сущности вещей», и есть перенесение на «все», на стихийный поток бытия того требования, которое логика формулирует как закон то же ст в а.

Беспомощность личности перед непонятными силами общественного бытия, ее неспособность овладеть ими в познании и практике, обостряет потребность причинно представить себе движение этих сил, и порождает другой «вечный вопрос»—о всеобщей «причине причин», которая послужила бы отдыхом и успокоением от вечно мельгающих и ускользящих, утомительно сплетающихся и безнадежно запутывающихся причин частных.

Это—перенесение на бесконечное той точки зрения, которая логически выражается по отношению к конечным явлениям в законе достаточного основания.

Что касается вопроса о высшей цели бытия, то его смысл еще очевиднее: это страстный вопль бессилия этического сознания перед безнадежной неэтичностью развертывающейся жизненной борьбы. И общественному, и человеческому бытию этический человек не может не предъявлять этических требований; а оно молчаливо издевается над ними, наказывая добродетель и награждая пороки. Боль этого противоречия воплощается в вопросе о конечной цели,—«проклятом» и «вечном», потому что самые обстоятельства, которые его порождают, ругаются за его неразрешимость.

Итак, тот своеобразный социально-психологический факт, который называется «проклятым» или «вечным» вопросами философия, имеет свой глубоко-реальный жизненный базис: это господство стихийности общественных отношений над личностью и ее судьбой. Пока этот базис существует, нельзя и мечтать о полном искоренении означенных вопросов; самая тонкая и сильная философская критика не может уничтожить того, что зарождается гораздо глубже сферы действия критики вообще. В этом смысле прав был наш герой в своей отповеди критику-позитивисту: сам этот позитивист, понятия не имевший об истинной основе критикуемых вопросов, конечно, в глубине души был не настолько свободен от склонности к ним, насколько воображал и высказывал это. Как дитя буржуазного общества, всецело стоя на почве его отношений, как и все, подчиненный их непреодолимой стихийности,—мог ли он не отразить в своей психике это подчинение и эту стихийность?

В яном положении находится его исторический наследник — реалист школы Маркса, современный коллективист. Для него существуют не только сложившиеся буржуазно-капиталистические отношения, но также иные, из них возникающие, и в то же время представляющие их противоположность. Рядом с классами, живущими всецело в атмосфере конкуренции и общественно-трудовой анархии, обуславливающих господство над людьми их собственных отношений, выступает иной класс — пролетариат, представитель растущей товарищеской солидар-

ности, массового объединения сил, с тенденцией подчинить свой организованной воле эти общественные отношения. Появление этого класса создает и новую точку зрения, которая уже позволяет, во-первых, исследовать стихийные силы общественного процесса, и, таким образом, познавательно овладеть ими, во-вторых, вести шаг за шагом сознательную борьбу против их реального господства. Таким образом, подрывается самый базис мучительных «вечных» вопросов, и возникает впервые возможность их действительного и прочного устранения.

Кто знает тенденцию происходящих в жизни изменений, кто ясно понимает, куда они ведут, и ничего не имеет против их основного направления, а, наоборот, видит в нем прогресс, рост уносимого течением неизвестно куда и против его воли, тот не ищет отчаянно точек опоры, фиктивных, если нет реальных. Таков коллективист. Ему известны в основных чертах линия развития общественной жизни, известна настолько, что позволяет уже с успехом делать некоторые важные предсказания; и общий смысл этих предсказаний оказывается благоприятным для роста жизни и силы людей. Где совершающиеся изменения не страшны и не враждебны, там нет стремления цепляться за неизменное. К чему коллективисту пустая «сущность» вещей, когда для него раскрываются шаг за шагом полные смысла и содержания законы их движения? К чему неизменная «последняя причина», когда, развертывая одно за другим звенья бесконечной цепи причин, он с каждым новым шагом испытывает гордое чувство победы, возрастания власти над враждебными силами? К чему извне поставленная, чуждой волей навязанная «конечная цель» жизни, когда, свободно избирая себе идеал жизни, он убеждается, что ее собственный путь, по которому ведет ее объективный ход ее собственного развития, пролегает в сторону этого же идеала? «Вечные» вопросы отмирают, уходят в прошлое, освобождая место и силы для новых, трудных, но разрешимых вопросов, «временных», но живых и близких—вопросов жизни, а не того, что вне жизни и над нею.

Все эти условия и мотивы успокоения на борьбе и для борьбы существуют в наше время, но их не было или почти не было в эпоху гейневского идеалиста. Поэтому, если бы, вопреки закону истории, к нему явился современный «реалист»-коллекти-



вист, и попытался изложить свою точку зрения, молодой вопрошатель просто не понял бы, не нашел бы в своей поиске тех переживаниях, которые составляют действительный смысл и содержание нового понимания жизни. Он пожал бы плечами и сказал бы: «Вы говорите на моем родном языке, каждое слово мне знакомо, а ваша речь в целом совершенно мне недоступна, точно бессмысленный набор слов». И ему нельзя было бы помочь, потому что словами и аргументами нельзя создать нового жизненного содержания.

В 1848 году, среди грозы и бури «безумного года», гейнзевский идеалист умер, а еще в 1847 коммунистический манифест возвестил миру появление на свет современного «реалиста». Новое жизненное содержание создавалось быстро, его росту и развитию не предвидится конца.

Все изменилось. Теперь уже не «дурак ожидает ответа» от волн холодного, безжизненного моря, а сознательный пловец стремится овладеть волнами кипящего моря жизни, чтобы сделать их грозную силу средством движения к своему идеалу. И на этом пути зарождается новый мир, царство гармоничного и целостного человека, освобожденного от противоречий и принуждения в своей практике, от фетишизма—в познании.

Пусть этот мир не так близок, как думают те, кто слишком смутно представляет его себе; его красота и величие не делаются оттого меньше, борьба за него не перестает быть благороднейшей из всех целей, какие сознательное существо может себе поставить.

## СОЦИАЛИЗМ В НАСТОЯЩЕМ.

(1910 <sup>1</sup>).

Социалистическое общество—это такое, в котором все производство организовано на сознательно-товарищеских началах. Отсюда уже вытекают все другие черты социализма: и общественная собственность на средства труда, и уничтожение классов, и такое распределение продуктов, при котором каждый мог бы в полной мере развивать свою производительную энергию, следуя своему трудовому призванию. Но эти условия могут осуществиться лишь тогда, когда налицо будет их основа, товарищеская организация производства в целом; значит лишь тогда, когда рабочий класс одержит окончательную победу и получит возможность по своему организовать все общество. А до тех пор не может быть ни постепенного уничтожения классов, ни постепенного перехода к общественной собственности на средства производства, ни плашмерного распределения общественного продукта: пока трудовые отношения общества в целом не станут социалистическими, невозможен никакой социализм в существующих отношениях людей.

Опportunисты ошибаются, когда они видят начало социалистического хозяйства в профессиональных союзах, кооперативах, в предприятиях демократического государства и демократических муниципалитетов. Повышение заработной платы, вырванное профессиональным союзом у капиталистов, не имеет ничего общего с социалистическим распределением хотя бы потому, что не может обеспечить рабочему самой возможности заработка. Собственность кооперативов остается капиталистической хотя бы потому, что подлежит покупке-продаже, принимает форму денег, хранится

<sup>1</sup>) Статья из сборника «Вперед» (Женева, февраль 1911 г., № 2). Выкинуто начало—популярное введение.

в банках, зависит от рыночной конъюнктуры, от колебания цен и т. п. Предприятия самого демократического государства и даже таких муниципалитетов, в которых социалистам принадлежит большинство, не перестают быть капиталистическими, ибо организируются посредством найма рабочих, подчинены условиям рабочего рынка, рынка орудий и материалов труда, кредитно-денежного рынка и т. д. Пока сохраняется власть денег, и капитал — хозяин мирового производства, до тех пор, нет места социалистическому хозяйству.

И все же социализм — не только будущее, но и настоящее, не только идея, но и действительность. Он растет и развивается, он вокруг нас; но только не там, где ищут его товарищи-оппортунисты<sup>1)</sup>; он лежит глубже: это — товарищеская связь рабочего класса, это — его сознательная организованность в труде и социальной борьбе. Не в имущественном хозяйстве рабочих организаций, профессиональных, партийных и иных, надо теперь искать социализма, а в их живом классовом сотрудничестве. Оно — не прообраз социализма, а его истинное начало; ибо в товарищеской трудовой связи и состоит его сущность. Чем больше оно растет и развивается, тем для него теснее рамки старого общества, тем его противоречие с ними острее; не так далеко уже время, когда они станут разрываться под могучим давлением этой новой силы, которой нужны новые формы; ряд грозных революций начнется, по всему суня, еще на наших глазах. Эта эпоха последней борьбы будет, вероятно, самой тяжелой, революционные кризисы — самыми жестокими. Но ветхая оболочка будет, наконец, сброшена; тогда социализм перестанет быть только классовым сотрудничеством пролетариата и охватит производство в его целом; тогда он осуществит новую организацию собственности и распределения, новое общественное хозяйство.

Тогда социализм станет всем, а теперь он уже — могучая тенденция, пробивающая себе дорогу в жизни, действительная общественная сила среди других и против других общественных

<sup>1)</sup> (Примеч. 1924 г.). Это выражение объясняется тем, что тогда существовала единственная социал-демократическая рабочая партия. В начале 1910 года было проведено даже слияние фракций большевиков и меньшевиков: обе фракции были формально распущены. Конечно, это продолжалось недолго.

сил, особый способ организации людей среди других и против других способов. Очевидно, что и нынешний сознательный борец за социализм — вовсе не филантропический герой, жертвующий собой для будущих поколений, а работник, участвующий в деле устройства современной жизни. Совершенно естественно и понятно, что великий и сильный общественный класс желает жить по-своему, а не так, как ему навязывает старое общество, — что он развивает свои формы человеческих отношений и выражает их в своем социальном идеале. Идеал этот возникает в пролетарской душе не из чистой мечты о братстве и не из голого протеста против жестокого общественного порядка, — нет, он есть отражение действительно развивающихся в рабочем классе трудовых отношений, стоящих в глубоком противоречии к нынешнему строю. Сознательно-товарищеская организация рабочего класса в настоящем и социалистическая организация всего общества в будущем — это разные моменты одного и того же процесса, разные ступени одного и того же явления.

Если так, то борьба за социализм отнюдь не сводится к одной войне против капитализма, к простому собиранию сил для нее. Борьба эта есть в то же время положительная, творческая работа — создание новых и новых элементов социализма в самом пролетариате, в его внутренних отношениях, в его обыденных жизненных условиях: выработка социалистической пролетарской культуры.

Самые различные области жизни являются полем такой работы. Недостаточно объединять пролетариев в организации, недостаточно даже ставить перед ними лозунги экономической и политической борьбы, как недостаточно вербовать солдат в армию и намечать для нее план кампании. Главная сила армии в том, что называют ее «духом», т. е. в ее внутренней связи и сплоченности, в единении чувства и мысли, которое проникает ее и превращает в живую, целостный организм. То же самое относится к рабочему классу; но его задачи неизмеримо шире и сложнее, чем задачи обыкновенной армии, — и, значит, глубже и теснее должна быть его внутренняя связь, его духовное единение.

Социалисты должны стремиться к развитию истинно-товарищеских отношений во всей житейской практике пролетариата. Даже в организациях приходится наблюдать массу пережитков

пных, ничего общего с социализмом не имеющих отношений: борьбу честолюбий, авторитарные притязания иных «руководителей», несознательное подчинение некоторых исследователей; отвращение анархично-настроенных личностей к товарищеской дисциплине, внесение личных интересов и мотивов в коллективное дело и т. п. Все это — вещи в начале неизбежные; пролетариат не родился на свет белый сразу в виде сложившегося класса, он произошел из разорившегося мещанства и крестьянства, из мелких собственников, привыкших жить частными, индивидуальными интересами и подчиняться властным авторитетам; понятно, что он не может легко и скоро утратить непригодные для него душевные свойства этих классов. А кроме того, рабочие организации притягивают к себе некоторые непролетарские элементы из революционной интеллигенции, а также и продолжающей разоряться мелкой буржуазии, — элементы, которым, конечно, еще труднее усвоить дух и смысл товарищеского сотрудничества. Надо настойчиво, неуклонно бороться с проявлениями индивидуализма, идейного рабства, идейного барства, выясняя их противоречие с пролетарским социализмом, их полную с ним несовместимость.

Особенно крепко и долго держатся старые привычки в семейной жизни. Властное отношение мужа к жене, требование не рассуждающей покорности родителям от детей — это основы прежнего строя семьи. Капитализм их подрывает, вынуждая женщин, подростков и даже детей наниматься на фабрики и путем самостоятельного заработка получать некоторую экономическую независимость. Но если и при этом сохраняются старые отношения между членами семьи, то ее глава становится часто эксплуататором своей жены и детей. Вообще же рабство женщин замедляет возрастание силы рабочего класса, суживая товарищеские ряды, делая женщину задержкой и обузой для рабочего в его революционных стремлениях; а рабство детей вредит социалистическому воспитанию будущих борцов. Поэтому социалисты должны энергично бороться, словом и примером, против всяких остатков семейного рабства, не считая их делом частным или маловажным. Слишком часто бывает так, что рабочий, ведущий пропаганду на заводе, пренебрегает ею в своей семье и с пренебрежением махает рукой на отсталость своей жены. Нередки еще и сейчас даже настоящие пережитки варварства в рабочей семье. Но она должна уже теперь

проникаться духом социализма, — уже теперь должна быть преобразована силою трудовых товарищеских отношений.

Социализм требует также новой науки и новой философии. Мы знаем, дело науки и философии состоит в том, чтобы собирать опыт людей воедино и организовать его в стройный порядок. Но пролетарский опыт иной, чем у старых классов, и прежние познание недостаточно для пролетариата. Марксу и пришлось положить начало новой общественной науке и новой исторической философии. Можно думать, что все науки и вся философия придут в руках пролетариата новый вид, потому что иные условия жизни порождают иные способы восприятия и понимания природы.

Нынешняя наука и философия отличаются цеховым характером: познание разбито на отдельные специальности, каждая загромождена массой мелочей и топкостей, для изучения каждой нужна чуть не целая человеческая жизнь, и сами ученые плохо понимают друг друга, потому что каждый не видит дальше своей специальности. Пролетариату необходима наука в его жизни и борьбе, но не такая, которая доступна людям только кусочками и порождает между ними взаимное непонимание: в сознательно-товарищеских отношениях всего важнее, напротив, полное понимание друг друга. Выработка социалистического знания должна, поэтому, стремиться к упрощению и к объединению науки, к отысканию тех общих ее способов исследования, которые давали бы ключ к самым различным специальностям и позволяли бы быстро овладевать ими, — как рабочий машинного производства, зная по опыту общие черты и общие приемы его техники, может сравнительно легко переходить от одной специальности к другой. Разумеется, надо будет потратить много труда, чтобы привести разные науки и философию к такому состоянию; но тогда они глубже проникнут в массы и получат гораздо более твердую, более широкую основу для своего развития. Наука, великое орудие труда, таким способом будет обобществлена, как этого требует социализм по отношению ко всем и всяким орудиям труда.

Подобно науке, искусство служит для собирания воедино человеческого опыта; только оно его организует не в отвлеченных понятиях, а в живых образах. Благодаря такому характеру, искусство как бы демократичнее науки, оно ближе к массам и шире в них распространяется. Пролетариату нужно свое, социалистиче-

ское искусство, проникнутое его чувствами, его стремлениями, его идеалами. Уже теперь можно указать на первые шаги к его созданию, — правда, только первые, но зато, ведь, и самые трудные шаги. Некоторые художники и поэты мелкобуржуазного происхождения пришли к социализму и желают служить своим талантом его великому делу. С другой стороны, в самой рабочей среде все чаще появляются начинающие писатели, которым хочется силою искусства выразить душу пролетариата. Первым не хватает, большей частью, способности стать всецело на точку зрения пролетариата, видеть жизнь его глазами, чувствовать его сердцем; вторым не хватает художественного воспитания, умения воплотить в ясных образах свой опыт, свои заветные мысли и чувства. Но все это будет, конечно, достигнуто трудом и талантом. Тогда новое искусство стремительно разольется в массах; оно будет пробуждать их к борьбе и учить, и вести вперед, к светлому будущему.

Было бы, разумеется, наивно думать, что еще при нынешнем капиталистическом строе пролетариат успеет в полной мере выработать свою социалистическую культуру. Нет, слишком огромно это дело, чтобы оно могло так скоро завершиться, и слишком велики препятствия на его пути. Уже одна постоянная необходимость борьбы с другими классами наложит на зарождающуюся культуру особый отпечаток, заставит ее отразить противоречия социальной жизни, не даст ей достигнуть той стройности и гармонии, какие станут возможны при господстве социализма в объединенном обществе, свободном от классовой борьбы. Но, ведь, и тогда не наступит такого времени, когда культура оказалась бы законченной, и прогресс ее мог бы остановиться. Не в завершении цель жизни человечества, — а в творчестве и непрерывном движении вперед.

Эта цель близка пролетариату больше, чем какому-либо другому из прежних и нынешних классов. Во всех областях жизни — в обычной работе, в общественной деятельности, в семье, в научном и философском познании, в искусстве, — творя свои новые формы, в непримиримой борьбе со старым обществом, пролетариат будет все более жить по-своему, социалистически преобразуя самого себя, чтобы затем социалистически преобразовать все человечество.

1918<sup>1)</sup>.

Товарищи!

К нашей великой цели — мировому социализму — рабочее движение идет разными путями. Оно зарождалось, как чисто экономическое, профессиональное, затем кооперативное; позже стало складываться также в политическую силу; еще позже формируется и в культурную организацию. Буржуазный мир не только насильем боролся с этими потоками новой жизни: еще с самого начала он старался мирно овладеть ими, взять под свою опеку, и это долго ему удавалось. Пролетариат, выйдя из класса мелких хозяев-собственников, долго сам не понимал всей глубины своего разрыва с обществом, построенным на частной собственности и хозяйской власти, — колебался между борьбой и сотрудничеством классов, примыкал к буржуазным партиям, подчинялся буржуазным понятиям о жизни. Высвобождение из-под опеки совершилось мало-по-малу; были остановки, были повороты вновь от классовой самостоятельности к связывавшим ее блокам с чуждыми общественными силами, к идейному оппортунизму. А когда огромный рост международного социализма, казалось, должен был окончательно упрочить независимую тактику пролетариата во всех областях, тогда разразилась мировая война и с нею небывалый кризис пролетарского классового сознания.

Большинство рабочих, даже в самых передовых странах, пошло за буржуазией, и не за страх, а за совесть признало ее

---

<sup>1)</sup> Статья, напечатанная под заголовком «От редакции» в № 1 журнала «Пролетарская Культура», июль 1918 г.



национальные интересы выше своих классовых, заключило мир и союз со своими капиталистами, чтобы сообща истреблять врагов — своих же вчерашних и завтрашних товарищей. И мысль и чувство пролетариата оказались на деле ненадежны и неустойчивы. Почему? Потому, что они столкнулись с новым, невиданно-трудным вопросом, и не имели за собой достаточно глубокого, целостного воспитания, чтобы решить его твердо и неуклонно, по-своему, с точки зрения своих задач и своего идеала. Не будучи в силах решить его так, рабочий класс подчинился чужому решению, тому, которое навязывала вся окружающая среда — капиталистический мир.

Дать классу целостное воспитание, непреложно направляющее коллективную волю и мышление, может только выработка самостоятельной духовной культуры. Она была у буржуазных классов, — в этом заключалась их сила; ее не хватало пролетариату, — в этом его слабость. Если бы он был вполне самостоятелен культурно, то ни в какой, самой трудной и новой обстановке старый мир не мог бы подсказывать ему свою мысль, внушать ему свои настроения, развращать его своим ядом, делать его своим слепым орудием.

Культурное движение рабочего класса отстало от экономического и политического. Теперь мы видим, как тяжело это отразилось на них и на всей исторической судьбе рабочего класса в нашу эпоху. Вдвойне отразилась та же отсталость на судьбе русского пролетариата тем, что помешала рабочим передовых стран поддержать нашу революцию в ее борьбе за мир, в ее борьбе за жизнь против врагов, обступивших ее изнутри и извне.

Пусть же рабочий класс направит величайшие усилия на создание того, чего ему так недостает, пусть культурная самостоятельность будет и очередным, и отныне постоянным его лозунгом.

Новая культура должна охватить все области жизни и творчества, охватить не поверхностно и частично, а глубоко и во всей их широте. Мы знаем: существует пролетарская политика; но сколько еще примешивается к ней на каждом шагу отравляющего ее, буржуазного по духу политиканства! Существуют товарищеская связь и товарищеская дисциплина; в них душа, в них сила классовой организации; но разве мы не видим, как часто подрыв-

вают их мелкий эгоизм, карьеризм, конкуренция личных честолюбий, жажда власти со стороны одних, слепое доверие и несознательное подчинение со стороны других — наследие старого общества с его разрозненностью, борьбою всех против всех, подавляющей властью одних и рабской покорностью других. Развивается со времени Маркса пролетарская наука; но как еще мало проникла она в массы, сколько держится рядом с ней религиозных суеверий и иных пережитков темной мысли прошлого: а, кроме того, сколько областей знания еще не затронуты критикой и переработкою с пролетарски-трудовой точки зрения; там ищущий истины рабочий вынужден просто брать то, что дает буржуазия с ее интеллигенцией, а вместе с тем невольно и незаметно подвергаться их идейному влиянию, подчиняться их строю мыслей. Зарождается пролетарское искусство; но как еще юны и слабы эти зародыши, как много с ними смешивается подражания чуждым формам прошлого, как мало сознания своей новой природы, своих особых путей.

Да, товарищи. культурное освобождение пролетариата необходимо, борьба за него неотложна; это — борьба за действительное и полное классовое самоопределение.

Оно, однако, вовсе не означает простого разрыва со всей богатой культурой старого мира. Нет, пролетариат — законный наследник всех ее ценных завоеваний, духовных, как и материальных; от этого наследства он не может и не должен отказываться. Но им надо овладеть так, чтобы оно не овладело само душою пролетариата, как мертвый капитал владеет душою буржуазии, — чтобы оно стало лишь орудием в руках пролетариата. В старой культуре повсюду то, что ему полезно, сливается с тем, что ему враждебно, что способно затемнять и ослаблять его коллективное сознание. Поскольку это так, пролетариат должен научиться точно улавливать все вредное и чуждое себе в наследии прошлого, уничтожая эту его сторону своей беспощадной критикой. Критика же вполне достигает цели тогда, когда она указывает лучшее вместо худшего; и потому она должна основываться на самостоятельном творчестве пролетариата. Таким образом, культурная независимость — единственный путь и к полному завоеванию духовных сокровищ, накопленных до сих пор человечеством.

Мы видим: огромная предстоящая работа, огромны трудности

---

и препятствия на пути того дела, к которому мы призываем товарищей. Но не для легких задач пришел в мир пролетариат. И мы верим: его коллективная сила в своем могучем росте и самоорганизации все преодолеет, всего достигнет.

Да здравствует пролетарская культура, великое орудие победы всемирного социализма!

---

## Возможно-ли пролетарское искусство?

(1914 г.).

Для большинства марксистов — и на этот раз, надо признать, не только истинно-русских, — вопрос о пролетарском искусстве до сих пор решался очень просто:

- 1) Что такое искусство? Это — украшение жизни.
- 2) Такова ли жизнь рабочего класса, чтобы ему заниматься украшением своей жизни? Нет, не такова.

Следовательно, мысль о пролетарском искусстве — утопия. И не просто утопия, а по внимательному исследованию — очень вредная.

В самом деле, жизнь пролетариата протекает в труде и борьбе. Чтобы отдаваться занятию искусством, нужны обеспеченность и досуг. У рабочего класса нет обеспеченности и очень мало досуга. Если он упорной, напряженной борьбой отвоевывает себе частицы того и другого, то на что ему приходится их употреблять? На развитие своих сил для дальнейших завоеваний, на выработку своего классового сознания и своей организации. Он не может и не должен иначе; это — требование суровой действительности, это — классовая необходимость.

«Для организации же подлинного «безделья», — говорит в меньшевистском журнале один из представителей этого взгляда, А. Потресов-Старовер, — для культуры того важного и, скажем более, необходимого человеческого «безделья», которое называется

---

<sup>1)</sup> Эта статья входила в сборник, который не мог выйти в свет из-за резкого ухудшения цензурных условий с началом мировой войны.

художеством, остается не только бесконечно мало простора во времени, но и бесконечно мало — внимания. Это — что-то сверхсметное и сверхурочное; чем можно заниматься только между настоящим делом, между делом, принимаемым всерьез, ибо вытекающим из первичных, самых насущных потребностей пролетарского «товарищества»<sup>1)</sup>.

Безделье, хотя бы «необходимое», все же только безделье. И поэтому тот, кто призывает пролетариат к работе в области искусства, помимо того, что заблуждается, не понимая объективных условий пролетарской жизни, но и приносит вред, отвлекая к «безделью», к украшению жизни силы и внимание, которые в полной мере должны быть направлены на основные, насущные задачи класса.

В сущности, это даже оппортунизм, это — шаг к примирению с капитализмом, к притуплению его противоречий. Ведь если пролетариат может при нынешних общественных отношениях не только сплотиться в великую армию, как думал некогда Маркс, но и «развернуть во всем ее объеме свою пролетарскую культуру», включая и область искусства, то «очевидно, эти общественные отношения совсем не так дурны»... Они, значит, дают рабочему классу простор для всестороннего развития; и тогда можно ожидать «незаметного постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое», такого преобразования, о котором проповедывал Эдуард Бернштейн. А жизнь уже успела показать, как вредны иллюзии оппортунизма<sup>2)</sup>.

Так... Все это очень убедительно, если... если верна первая, основная мысль, на которой все построено: «искусство есть украшение», «художество есть безделье». А что, если она неверна? И вдруг окажется, что само это понимание искусства — продукт «подлинного безделья», т.-е., попросту говоря, барства?

Искусство — одна из идеологий класса, элемент его классового сознания; следовательно, — организационная форма классовой жизни, способ объединения и сплочения классовых сил. Таким оно было и раньше; но не так оно понималось. Рабовладельческая ари-

<sup>1)</sup> «Наша Заря» 1913, № 6, стр. 70 (А. Потресов — «Критич. наброски»).

<sup>2)</sup> «Наша Заря» 1913, № 10—11, стр. 45 (А. Потресов — «Критические наброски»).

стократия, к которой принадлежала главная часть «интеллигенции» у древних греков, смотрела на искусство всецело с своей паразитической точки зрения, а именно как на средство утонченного наслаждения, возвышенное безделье, вообще — украшение жизни. Но заметьте: она смотрела так не только на искусство, а — и на науку; в науке видели и ценили тоже лишь источник умственных наслаждений, приятную гимнастику души. Эти барские взгляды сохранила и позднейшая помещичья аристократия; но только, будучи гораздо грубее и вульгарнее своей античной предшественницы, она ниже ценила эти «украшения» и весьма мало способна была сама творить их.

Интеллигенция буржуазная изменила эти взгляды в том, что касалось науки, но не в том, что касалось искусства. Применяя науку, систематически и планомерно, для целей техники производства, буржуазия уже не могла видеть в ней простой источник тонких духовных наслаждений, не могла не понять, что наука — дело, а не «безделье», и дело серьезное. Только истинный характер этого дела — организационный — остался для буржуазии все-таки недоступным.

Но искусство не играет такой роли, как наука, ни на фабрике, ни в экспортной торговле, ни в постройке железных дорог, пароходов и гигантских домов, ни в артиллерии, ни во флоте... Поэтому старый барский взгляд на искусство не был пересмотрен буржуазией; для ее классовой практичности оно попрежнему «безделье». И так как Маркс не успел исследовать этого вопроса, то «истинные марксисты» могли только усвоить старую барскую традицию.

Ни помещичья, ни буржуазная, ни «истинно-марксистская» интеллигенция не оказались способны раскрыть организующую силу искусства. Для этого не годятся старые способы мышления, которые обыватель именуется «здравым смыслом».

И в самом деле, не странно ли?.. Ну, кого и что могут организовать какие-нибудь фетовские

«Шопот, робкое дыханье,  
Трепи соловья...»

А могут, и организуют. И не случайно у критика-демократа сорвется выражение — «барская поэзия». Не случайно даже она достигает такого совершенства у помещика-крепостника, ненави-

девшего крестьян не меньше, чем нынешние «зубры». Она, конечно, укрепляет общее самосознание, связь мысли и настроения классов паразитических, живущих в сфере более или менее утопченного безделья и презирающих грязную прозу жизни — ее суровую трудовую сторону. Эта поэзия говорит: «вот какие мы эстетичные, возвышенные существа, как нежны и чутки наша душа, как благородна наша культура». А вместе с тем само собой подразумевается: «Разве можно сравнивать с нами те низменные существа, которые обречены на заботу и работу, у которых интересы вращаются вокруг скота и удобрения? Разве не справедливо, не естественно и нормально, чтобы они были орудием и средством для выполнения нами нашего высшего назначения?»

Заметьте, читатель: я отнюдь не хочу сказать, что «барская поэзия» плоха. Напротив, я думаю, что и из нее многое может быть впоследствии воспринято растущими классами: искусство, как и наука, и вообще организационные орудия, подобно материальным орудиям, часто находят применения, далекие от первоначального. Я только объясняю, каким образом и самая далекая от «экономики» и «политики» поэзия бывает моментом, и важным моментом, классового или сословного самосознания, а следовательно — элементом общественной силы класса или сословия.

Надо понять это, и тогда уже сознательно, а не подчиняясь барским шаблонам мысли, принимать или отвергать необходимость, возможность, полезность пролетарского искусства.

В его отрицании у наших «истинных марксистов» есть два оттенка. Одни (представитель — Г. Алексинский) говорят: не должно, недопустимо отвлекать внимание класса от насущных задач в сторону искусства. Другие (представитель — А. Потресов) скорее огорчается: увы! внимание пролетариата поневоле, неизбежно отвлечено в другую сторону, и для художественного творчества нет места.

Первый оттенок основан на такой мысли. У рабочего класса имеется определенное, ограниченное количество сил, на котором и должен основываться бюджет его деятельности, — как в кошельке обывателя есть определенное количество денег, которым ограничивается бюджет одного обывателя. И как этот последний не дол-

жен тратить свои средства на роскошь, иначе выйдет в дефицит, так и пролетариат не должен тратить своих сил на искусство.

Как видим, применение бухгалтерии мелкого мещанского хозяйства к творчеству великого класса.

Спорить против этого мне не хочется; а вот две бытовые картинки, которые приходят мне в голову.

Полотно железной дороги. Толпа рабочих огромными рычагами поднимает сошедший с рельсов вагон. Колеса врезались в балласт глубоко, и тяжесть страшная.

— Что-то, братцы, не идет дело... Давайте «Дубинушку», — предлагает кто-то.

Раздается дружная песня.

Вдруг некто в красной фуражке.

— Это еще что за безобразие. Отвлекать внимание... тратить силы на дранье глоток... Замолчать сию минуту. И направить всю силу на одну цель.

А затем в сторону:

— Я вам покажу пролетарское искусство... еретики.

Другая сцена. Степи далекой Манчжурии. Колонна на походе. Еле бредут измученные солдатики. Грапула музыка. Все оживилось; тверже, увереннее походка.

Вдруг наезжает новый генерал: на смену Куропаткину прислан «истинный марксист».

— Как, музыка? растрата сил, внимания. Сейчас прекратить. Нам тут не до искусства.

Вот уж кто победил бы японцев.

Взгляды А. Потресова и большинства высказывавшихся на ту же тему меньшевиков много сложнее. Выводы у них, в общем, те же; но они понимают некоторые вещи, недоступные строгому генералу.

Во-первых, для них ясно, что буржуазное искусство—реальная и огромная сила, действующая на пролетариат воспитательно в неблагоприятном направлении. Как и почему — это они представляют, разумеется, смутно, потому что организующей роли искусства не постигают. Но они чувствуют, что искусство, хотя и «безделие» и «украшение», однако, почему-то очень важное для жизни. Поэтому в отсутствие пролетарской «культуры ху-



дожеств» они видят «трагедию», а не простой результат классового благоразумия и бережливости в жизненном бюджете.

Отсюда у них получается такая позиция: жаль, что пролетарское искусство не может развиваться, — хорошо было бы, если бы могло; надо «беречь и лелеять его ростки»; но если кто признает, что тут возможно нечто большее, чем слабые ростки, тот «ревизионист» и притупитель противоречий, и да будет, конечно, отлучен. Словом: с одной стороны, нельзя не сознаться; однако, с другой — надо признать; от себя же к щеринской формуле они прибавляют: и притом надо признать очень строго, с повреждением несогласных...

Как же обосновывается это стройное, умеренное и вместе с тем радикальное решение вопроса?

Тут к нашему «во-1-х» присоединяется еще «во-2-х», которое опять-таки мешает им прямо стать под знамя мапшжурского генерал-марксиста. Они понимают, что недостаток досуга и обеспеченности — основание весьма слабое, ненадежное.

В самом деле, этот аргумент пора бросить. Насчет «обеспеченности» слишком плохой пример являют голодающие по чердакам поэты, музыканты, артисты буржуазной культуры, которые среди ее творцов составляют, пожалуй, большинство. А насчет «досуга»... Мало его — это бесспорно; но все-таки... Когда много-миллионный класс отвоевывает себе полчаса из прежнего рабочего дня, он этим создает себе, в общей сумме, больше досуга, чем все перабочее время барского сословия. Прибавьте к этому вынужденный «досуг» безработицы, стачек, локкаутов...

Ведь могли же другие угнетенные классы вырабатывать свое искусство. Существовала, напр., поэзия крестьян, ремесленников... Сам А. Потресов приводит очень трогательный пример:

«... миннезингер Ганс Сакс, который пел свои песни и одновременно тачал сапоги»<sup>1)</sup>.

Счастливым Ганс Сакс! Ему без всякого отлучения за «ревизионизм» позволялось одновременно работать и заниматься поэзией... Да еще после смерти Потресов произвел его в рыцари. Ибо «миннезингер» («певец любви» или даже «любовной

<sup>1)</sup> «Наша Заря» № 2, стр. 91, 1914 г. — «Еще о пролетарской культуре».

мечты»), это был поэт-феодал; а Ганс Сакс принадлежал лишь к «мейстерзингерам» («певцам-мастерам»), совершенно другой породе.— Но почему же, однако, столь значительные преимущества крестьянину или сапожнику перед современным пролетарием крупного производства?

А дело именно в том, что этот пролетарий создал «культуру другого порядка, культуру, которой нет равной ни в прошлом, ни в настоящем общественной жизни, культуру практического действия, классовой экономической и политической борьбы»<sup>1)</sup>.

Ну, что же, и очень хорошо: значит, класс могучий, способный к грандиозному творчеству.

Да, — но если он уже сделал так много, то мыслимо ли ему создать еще пролетарское искусство? «Надо помнить, что пролетариат до сих пор не имеет даже 8-часового рабочего дня, т.-е. элементарных предпосылок культурного существования». Чего же вы от него хотите?

Вот мы и вернулись благополучно к аргументу манчжурского генерал-марксиста.

«Чем дальше идет история, тем напряженнее становится борьба, тем больше задач у пролетарского «товарищества», и обременения этими задачами». И это «товарищество» поглощает человека, и нет у него ни времени, ни внимания для истинно-художественного творчества.

«Товарищество» здесь означает то же, что в предыдущем — «культура практического действия». И предполагается, что оно — вещь страшно сухая, настолько прозаически-деловая, что где оно поглотит человека, там нечего толковать о искусстве. А поглощает оно всех беспощадно — ничего не остается: берет все копейки из кошелька жизни.

Две тут есть неправды. Первая — преувеличение. Не настолько уж полно и глубоко поглощает «товарищество» сознательных пролетариев, к сожалению — далеко не настолько. Неужели Потресов серьезно думает, что миллион членов германской партии, или чуть не три миллиона членов немецких профессиональных союзов так-таки весь досут, все внимание, все свободные средства отдают общему делу? Люди, целиком посвящающие

1) «Наша Заря» 1913, № 5—«Критич. наброски», стр. 68 и 75.

себя «товариществу», до сих пор — единицы из десятков, часто из сотен. Огромное большинство ограничивается членскими взносами да посещением, и не слишком аккуратным, общих собраний, митингов. И, конечно, необходимо направить все усилия к тому, чтобы это изменилось, чтобы «товарищество» сильнее и сильнее проникло всю жизнь, весь быт рабочего класса. И для этого пролетарское искусство, по мере своего развития, будет становиться все более могущественным средством. Теперь эстетические потребности пролетария отвлекают его от «товарищества», потому что удовлетворяются чуждым ему искусством. Тогда они будут вовлекать его в живую связь коллектива все глубже и прочнее.

Другая неправда: будто «товарищество» — сухая проза, враждебная искусству, и кто им «поглощен», в том отмирает артистически-творческая способность. Вот маленькое произведение поэта-рабочего, лиричного под именем «Самобытника»<sup>1)</sup>.

#### Новому товарищу.

Вихрь крутящихся колес,  
Пляска бешеных ремней...  
Эй, товарищ, не робей!  
Пусть гудит стальной хаос,  
Пусть им взято море слез,  
Много сгублено огней —  
Не робей!  
Ты пришел от мирных рос,  
Светлых речек и полей...  
Эй, товарищ, не робей!  
Здесь безбрежное — слилось,  
Невозможное — сбылось...  
На заре грядущих дней —  
Не робей!  
Наше счастье поднялось  
По верхам седых гребней...  
В царстве скорби и теней  
Солнце мощное зажглось;  
И горит оно сильнее —  
Не робей!  
Словно каменный колосс,  
Стань у бешеных ремней...

<sup>1)</sup> «Путь Правды» 1914, январь (номер от 16 или 17).

Пусть сильнее шум колес,  
В цепь еще звено вплелось...  
Рать сомкнулася плотней —  
Не робей!

Вдумайтесь в это: можно ли себе представить более полное «поглощение товариществом»?

На завод нанялся новый рабочий — прямо из деревни, вчерашний крестьянин. Что он для старого, исконного рабочего? Конкурент, и притом наиболее неудобный: он сбивает плату, благодаря низкому уровню потребностей и неумению даже постоять за себя, не только уж отстаивать общие интересы; об них он еще и понятия не имеет. Тяжела его мысль, узки чувства, ограничена воля. Жалок его кругозор... И нечего рассчитывать на него, если сегодня-завтра потребуются дружные товарищеские действия. — Но посмотрите, как отнесся к нему, случайному, еще чуждому пришельцу, его товарищ-поэт.

С каким рыцарским вниманием, с какой нежной заботливостью он ободряет робкого новичка и вводит в незнакомый, непонятный, страшный, даже страшный для него круг жизни! С какой простотой и силой, в удивительно сжатых словах и поразительно ярких образах поэт рассказывает ему все, что ему надо узнать и почувствовать, чтобы стать товарищем среди товарищей: и грандиозную картину титанических сил «стального хаоса» нынешней техники, и горькую правду о «море слез», которого стоила она человечеству, и радостную весть о «мощном солнце» великого идеала, о гордом счастье общей борьбы. Трогательно звучит воспоминание о чудной, далекой природе — «мирных росах, светлых речках, полях»: как тоскует по ней сердце пролетария среди камня и железа, и как редко доступна ему радость свидания с нею! Но всего достигнет в своем растущем, неуклонном, неотвратимом усилии коллективно-творческая и боевая воля... С несравненной энергией, с победоносной уверенностью раздается заключительный аккорд:

«В цепь еще звено вплелось,  
Рать сомкнулася плотней —  
Не робей!»

Свершилось! Новый член вступил в многомиллионное братство; словом поэта он посвящен в рыцари мир преобразующей Идеи...

И они думают, что искусство — «украшение»! Да, конечно, все, что прекрасно, украшает жизнь: героизм, гениальность, лю-

бовь, поэзия. Но неужели все это — просто «украшения»? И вот — крошечная жемчужина пролетарского искусства... Неужели они не поймут, что это — организационный акт, сливающий прочнее звенья живой цепи, закрепляющий единство трудовой рати?

Самобытник — поэт молодой, неопытный; большинство его стихов еще страдают недостатком не только отделки, — она не очень тонка и в приведенном стихотворении, — а прямо-таки художественной грамотности; Самобытнику — как и другим — надо еще много жить, учиться, работать, думать, пока он выполнит все обещания своей, несомненно, богатой и серьезной, по малю культивированной натуры. Откуда же у него на первых шагах могла взяться эта сжатая, концентрированная сила выражения, охватывающая в таком малом объеме такое колоссально-широкое и глубокое содержание? Ответ ясен для всякого, кто способен почувствовать в полной мере его настрояние: ее дало «поглотившее» его товарищество. Оно, а не что-либо иное, породило эту внутреннюю цельность поэтического порыва, которая называется «вдохновением» и которая сливает массу жизни в стройной неразрывности гибкой формы.

А нам говорят, что оно — сухая, деловая проза, враждебная духу поэзии! «Культура практического действия» — ведь это борьба за пяточок прибавки, не правда ли? Был в этом роде «мин-пезингер» и эстет — Н. Бердяев; он так и определял рабочее движение. Но неужели «истинный марксизм» не ушел дальше этого понимания?

Красота художественного произведения — это единство творческого усилия, которым оно создано. Что же, в трудовом и боевом товариществе нет условий такого единства?

«Товарищество» не конкурент и не враг зарождающегося пролетарского искусства, а напротив — его душа, его организующее начало, его принцип, его движущая сила.

Итак, пролетарское искусство возможно? Нет, оно не только возможно. Оно необходимо, и — оно существует. Вот я привел маленькое стихотворение рабочего поэта. Найдите мне в старой мировой литературе его художественную идею, мотив, его проникающий. Уверяю вас — не найдете. Этот мотив и есть — товарищество, он пролетарски-классовой, он незнаком старой

культуре. А по масштабу, по жизненному значению он более грандиозен, способен к более широкому и глубокому развитию, чем вечный мотив старой поэзии — индивидуальная любовь мужчины и женщины. Но если в жизни рабочей массы уже сложился и ищет художественного выражения мотив такой силы и такого захвата, тогда смешно говорить, что нового искусства нет, потому что исписано еще мало страниц бумаги, и не очень грамотно: новое искусство уже живет в коллективе, и, конечно, найдет орудия для своего воплощения, в виде чутких и гибких личностей, способных гармонично передать то, что растет и зреет в сердце великого класса.

Ну, а как же все-таки быть со страшным «аргументом отлучения»: если и в современном строе возможно пролетарское искусство, значит — «он уже не так плох», значит, мы уже отчасти «примиряемся» с ним, «притупляем» противоречия, и т. д., и т. д.

Аргумент этот ужасен своей всеразрушающей силой. Если в современном строе пролетариат может создавать «невиданно» грандиозную культуру практического действия, что он уже сделал, по правильному замечанию самого А. Потресова, то «значит, этот строй не так уж плох», значит, мы «примиряемся» с ним, «притупляем» противоречия, признаем «вращение» капитализма в социализм, и пр.

Более того. Если рабочий класс вообще может и в современном строе что бы то ни было создавать, чего бы то ни было достигать, делать какие бы то ни было завоевания, «значит, этот строй не так уж плох», и т. д., и т. п.

Куда же мы таким способом придем? Где дно той бездны анархизма, в которую обрушивается нас своей логикой мягкий, кадетолюбивый Потресов?

А нельзя ли все-таки рассудить немного иначе? Например, так. Противоречие между рабочим классом и современным строем оказывается г л у б ж е, чем раньше полагали. Оказывается, что даже в области искусства пролетариат не может удовлетворяться старой культурой, и принужден вырабатывать свою, новую, как орудие своего сплочения, своего воспитания в духе товарищества и борьбы. Примирения нет да же з д е с ь, в той сфере, которую так долго считали царством чистой красоты...

Задачи шире и труднее, чем думали. Что из этого следует? Что историческая миссия пролетариата на деле выше и сложнее обманных представлений о ней.

Но, ведь, вот и в Германии, с ее огромным — не чета нашему — развитием рабочего движения, не создалось до сих пор настоящего пролетарского искусства? Да, повидимому, не создалось. А Россия — страна отсталая по сравнению с Германией, и русскому движению далеко до германского? Да, и это пока верно. В таком случае, не явная ли утопия надеяться на развитие пролетарского искусства у нас, в России, не бесполезно ли направлять внимание рабочих и в эту сторону?

Странно как-то встречать подобные аргументы в нашей печати. Ибо это — не что иное, как старый, вечный «резон» наших реакционеров против любой реформы. «Вот, вы хотите отмены телесного наказания в тюрьмах. А как же в Англия — стране самой передовой, куда нам до нее, — оно и сейчас практикуется. — Вы стоите за подоходный налог, — а его нет еще и во Франции»... и т. д. Это, как известно, особенность русского патриотизма — желание сделать свою страну складом всего худшего, что имеется у других народов. Нам же, «лишенным патриотизма», может быть, простительно было бы относиться к делу иначе — стремиться к собиранию в отечестве всего лучшего, что имеется в мире, и к созданию того хорошего, чего у других еще нет?

Представьте себе Потресова и его единомышленников в той же Германии, но в 60-ые годы, когда Лассаль агитировал там за устройство самостоятельной рабочей партии. Германии тогда экономически было далеко до Англии, а немецкое рабочее движение было в зародыше, тогда как в Англии давно сложились могучие профессиональные союзы, значительные кооперативы... Не ясно ли, что Потресовы отвергли бы идею Лассаля, как утопическую: «раз уж и в Англии нет рабочей партии, то куда нам, отсталым немцам, толковать об этом!» Но утопистами — и не в хорошую сторону — оказались бы Потресовы-политики, а не Лассаль.

До сих пор не вполне выяснено, почему в истории мирового рабочего движения одна страна берет на себя инициативу в развитии одной стороны его организации, а также его идеологии, другая — другой стороны, третья — третьей; но это на деле, так

было до сих пор. Англия дала первую одно, Франция — другое, Германия — третье, Бельгия — четвертое, и это на весьма различных ступенях движения. Почему русский пролетариат, с его чрезвычайно своеобразными условиями жизни и историческими судьбами, один из всех не способен сыграть такой роли ни в какой области — этого я постигнуть не могу, и думаю, что Потресов с его сторонниками должны тут предъявить иные, положительные доказательства, кроме «истинно патриотических», сводящихся к формуле: «да где уж нам»...

Но, «пока солнышко взойдет», перед нами все же только зародыши искусства пролетарского и огромная художественная культура старых классов. Как же быть-то? Воспитываться на том, что есть, учиться у старого мира? Конечно, да. Начинать всегда приходится с этого. Но учиться надо сознательно, не забывая, с кем и с чем мы имеем дело: не подчиняться, а овладевать. К буржуазному искусству надо относиться так же, как и к буржуазной науке: взять у них можно и следует много, очень много, — но не продать им за это, незаметно для себя, свою классовую душу.

Новая логика все это должна преобразовать, всему старому придать иной вид... Но эту новую логику надо иметь, т.-е. вырабатывать. Чтобы иметь ее в сфере искусства, пролетариат должен создать свое искусство, и на его основе — свою критику. Тут дело не в количестве, не в тысячах томов, а в силе, цельности, глубине, последовательности того, может быть, немногого, что будет создано. Тогда место ненадежного, наивного, стихийного «чутья» займет ясно-сознательное отношение к артистическому творчеству и его продуктам... Тогда, опираясь на свое настоящее, мы вполне овладеем для себя и искусством прошлого, — а не оно будет владеть нами.



# Пролетариат и искусство.

(1918 <sup>1</sup>).

Для буржуазного мира искусство было «украшением» жизни. Так ли это для нас? Самые ранние зародыши искусства — это песня любовная у многих животных и у человека, и песня трудовая у человека. Первая — средство организации семьи, брака, вторая — орудие организации труда. Позже возникла песня боевая. Она была средством, чтобы спаять боевой коллектив в единстве настроения. Танец брачный существует не только у людей, но и у птиц; до сих пор танцы служат средством сближения молодежи, первых шагов в деле организации семьи, брака. Танцы военные, воспроизводившие в идеализированном виде жизнь войны, вполне подобны по своему значению и смыслу боевым песням. Танец «совета» у индейцев — размеренный, плавный, важный, приводит членов общины или иного коллектива в одинаковое серьезное, вдумчивое настроение, нужное для процесса обсуждения, — организует для него коллективные силы духа. Вот перед вами рисунки первобытных художников, пещерных людей, живших 20.000 лет тому назад <sup>2</sup>). Разве не ясно воспитательное значение этих рисунков, изображающих вид, движение, характер диких животных той далекой эпохи? Ясно, что такое искусство являлось средством воспитания для общины охотников. Воспитание же есть организаторская деятельность. Оно вводит новых членов в общество или общину, делая их пригодными к выполнению их социальной-жизненной роли.

<sup>1</sup>) Доклад на I Всеросс. Конференции Пролет. Культурно-Пров. Организаций.

<sup>2</sup>) Делегатам передан снимок с рисунков первобытных людей из Альтамирской пещеры, в Сев. Испании.

Но мы знаем, что искусство есть вообще воспитательное средство. Значит, вообще орудие социальной организации людей.

Каким же путем искусство организует людей? — Тем, что организует их опыт.

Это делает опять-таки всякое искусство, всегда. Разве предложенные мною вам рисунки не организованный опыт охотничьей жизни первобытной общины? И современный рассказ, роман — это, конечно, не что иное, как собранный и приведенный автором в известный порядок жизненный опыт, это — наука жизни в образах. Древний миф был даже одновременно воплощением и науки и поэзии: он давал людям в живых образах слова то, что теперь наука дает в отвлеченных понятиях. Например, мифы книги Бытия были одновременно космогонией и историей еврейского народа, вводили еврея в организацию мира, как она тогда понималась, в организацию общины и в живую связь с предками.

Наука тоже организация опыта, средство организации людей, как и искусство. В чем же разница между наукой и искусством?

В том, что искусство организует опыт в живых образах, а не в отвлеченных понятиях. Благодаря этому область его шире: оно может организовать не только представления людей, их знания и мысли, но также и их чувства, их настроения. Музыка, например, есть звуковой язык чувства, лирика — словесно-образный, ландшафт — красочный, архитектура — язык камня, дерева и железа. Разные искусства разными путями связывают людей в единстве настроения, воспитывают и социально формируют их отношения к миру и к другим людям. Приведу примеры: воспринимаемая весенний или осенний ландшафт, мы связаны одним чувством, одним настроением; римский Колизей мы все ощущаем, как каменное воплощение гордости и жестокости властителей мира; в формах готического храма, напр., Кельнского собора, мы видим вековой порыв от мрачной земли Средних веков к небу.

Искусство не только шире науки, оно было до сих пор сильнее науки, как орудие организации масс, потому что язык живых образов был массам ближе и понятнее.

Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовать и воспитывать пролетариат, как особый класс, име-

ющий свои задачи и свой идеал. Искусство религиозно-феодалное, авторитарное, вводит людей в мир власти, подчинения, воспитывает в массах покорность, смирение и слепую веру. Искусство буржуазное, имея своим постоянным героем личность, ведущую борьбу за себя и свое, воспитывает индивидуалиста. Это опять не то, что надо нам.

Пролетариату необходимо искусство коллективистическое, которое воспитывало бы людей в духе глубокой солидарности, товарищеского сотрудничества, тесного братства борцов и строителей, связанных общим идеалом.

И такое искусство зарождается. Мы имеем его в России в виде молодой пролетарской поэзии. Это преимущественно поэзия боевого коллективизма; но уже пробивается и струя коллективизма строительского, например, в поэзии Самобытника, Кяриллова, Гастева. Я не стану приводить образцов этой поэзии; вы их знаете. Ограничусь одним стихотворением Самобытника, из старых и не самых талантливых, но характерных и по форме и по содержанию:

#### Моим собратьям.

Мы—звезды в сумраке глубоком:  
Едва мерцаем и горим,  
И на посту своем высоком  
Мы, как умеем, сторожим.  
Над угнетенными полями  
Мы в час уныния зажглись—  
Сверкать свободными огнями  
И озарять родную высь.  
Порой алмазным дружным хором  
Свой черный полог уберем,  
То с первой песней—метеором  
В глухую бездну упадем.  
И песня вольная прервется,  
Но не исчезнет без следа:  
Ей вслед другая запоется—  
И вспыхнет новая звезда.  
Опьянены любовью света,  
Мы грезим радостями дня,  
И до грядущего рассвета  
Не гасим дружного огня.  
И день придет. Над нашим краем  
Светило мощное взойдет,  
И мы, свободные, растаем  
Средь голубых своих высот.

Здесь коллективистично не только понимание задачи поэта, но и самое восприятие природы: звезды — коллектив неба, борющийся с ночью. Конечно, это наивно, не научно. Но и будущий поэт-коллективист, который не сможет применять такие образы, потому что будет слишком проникнут знанием мира и природы, все же будет чувствовать и сознавать связь миров, которые разделены безднами, но подобны друг другу, как дети одной матери-природы, связанные общением своих лучей, вечным обменом своей космической жизни.

Товарищи! поэт-коллективист, как и всякий художник-коллективист, будет говорить не только о пролетарской жизни и не только о человеческом коллективе борьбы или труда. Нет, вся жизнь и весь мир будут содержанием его поэзии; на все он будет смотреть глазами коллективиста, видеть связь общения там, где не может ее видеть индивидуалист, будет ощущать всю вселенную, как поле труда, борьбы сил жизни с силами стихий, сил стремящегося к единству сознания с черными силами разрушения и дезорганизации.

Но как относиться к старому искусству, которое не стояло и не могло стоять на нашей точке зрения, которое не видело коллектива в жизни и не вносило духа коллективизма в понимание мира?

Попробую объяснить на примерах.

«Фауст» — гениальное произведение тайного советника В. Гете, буржуазного аристократа. Казалось бы, что для пролетариата в нем нет ничего ценного, но вы знаете, что наши мыслители цитируют часто из «Фауста». В чем же внутренний смысл этого произведения, какова его «художественная идея», т.-е., с нашей точки зрения, его организационные задачи? В нем отыскиваются пути для такого устройства, такой организации человеческой души, чтобы была достигнута полная гармония между всеми ее силами и способностями. Фауст — представитель человеческой души, вечно ищущей, вечно мятущейся, жаждущей гармонии. Переходя от одной страсти к другой, от одного увлечения к другому, Фауст всю жизнь ищет этой гармонии. Сопровождаемый темным призраком, Мефистофелем, духом разложения, скепсиса, разрушающей критики, на каждом шагу его пути вновь и вновь раскрывающим противоречия человеческого бытия, он находит наконец разреше-

ние задачи. В чем он находит его? В труде на пользу общества. Фауст занимается осушением и возделыванием бесплодной прибрежной полосы, отвоевывает у природы узкую полосу земли, чтобы на ней могла процветать людская жизнь. Именно тогда, только тогда ему хочется сказать: «мгновение, остановись». В блуждающей душе Фауста сконцентрирован богатый внутренний опыт самого Гете. Это, конечно, еще не наше решение жизненной задачи: это — индивидуалистическое решение. Фауст выступает, как герой, как благодетель человечества. Но все же это — первый шаг, и «Фауст» для нас драгоценен, так как он пролагает путь к нашему решению. А главное — мы узнаем, чего в том решении не хватает.

Более 2000 лет тому назад была создана статуя богини, собиравшая в храме массу народа, объединявшая ее в одном, пусть чуждом нам, настроении. Это была Венера Урания — небесная Венера, представительница чистой любви, как ее понимали древние — гармонической любви духовной и телесной. Храм был центром общения, богиня — центром храма. Следовательно, она была центром организации коллектива. Она отразила чуждый нам мир в спокойной, величественной, далекой от усилий, напряжения и порыва, но в настоящей, божественной красоте.

Храм был разрушен, богиня была, вероятно, зарыта в землю. Прошли века, новый мир появился в Европе — мир зарождающегося капитализма. Боги умерли. Богиня перестала организовать свой прежний коллектив, но люди почувствовали великую организующую силу статуи, они почувствовали прекрасное. И с того момента, как люди увидят ее, они всегда связаны чем-то общим. В Лувре одна наивная молодая девушка спросила меня: что прекрасного в этой статуе? Я ответил: «а посмотрите на ваших соседок - англичанок». Прекрасные мисс превратились в обезьянок перед красотой Венеры Милосской. Наука разгадала тайну «божественности этой красоты. У статуи сверхчеловеческий (т.е. больше человеческого) лицевой угол, что выражает преобладание высших центров сознания над низшими. Таким образом, у обезьян лицевой угол меньше, чем у человека; у человека меньше, чем у Венеры Милосской. В этом основная «божественность» ее красоты. Такого лицевого угла не было, наверное, ни у одного живого грека. Следовательно, тот коллектив творчески уловил линию развития,

и таким путем создал свой идеал жизни. То был идеал жизни гармоничной, но в которой нет порыва, нет движения. Эта жизнь чужда усилий, это — паразитическая красота, это — прекрасный цветок, выросший на почве рабства. Но ведь и будущее общество будет построено на рабстве, только рабы будут мертвые — железо, машины. Значит, есть в статуе Венеры доля и близкой нам красоты. Все вы знаете рассказ об этом Глеба Успенского. Он описывает, что сделала с ним Венера Милосская, как она очистила его душу от всего мелочного, как перед сияющей красотой ее отошло от него и исчезло все низменно-земное в возвышающем душу созерцании.

А народная поэзия?... Возьмите былины об Илье - Муромце. Это — воплощение в одном герое коллективной силы крестьянства феодальной Руси, истинного строителя и защитника нашей земли. Пусть это образ индивидуалистический, — иначе крестьянство не умело и сейчас не умеет выражать свою душу: в одном лице оно выразило свою коллективную силу. Но, если вы поняли скрытый коллективный смысл образа, разве вы не глубже чувствуете его величественную красоту, разве не веет над вами дух борьбы веков, и не чувствуете вы, что не даром пропали труд и страдания темных строителей прошлого, проложивших через беспросветную мглу веков дорогу истории до того места, с которого уже видна цель и с которого мы начинаем свой путь? Разве сознание этого не организует вашу душу, не собирает ваши силы для дальнейшей работы и борьбы?

И вот хотя бы эти рисунки первобытного художника... Вы чувствуете их красоту, их могучую выразительность: они переносят вас в другой мир и дают такое знание этого мира, какого не даст никакое научное изложение. И вы чувствуете свое кровное родство с этими дикими косматыми людьми, которые еще не имели мировоззрения, даже хотя бы религиозного, и обладали лишь несколькими десятками зародышевых слов — трудовых криков, но которые так хорошо умеют говорить вам через десятки тысячелетий.

Товарищи, надо понять: мы живем не только в коллективе настоящего, мы живем в сотрудничестве поколений. Это — не сотрудничество классов, оно ему противоположно. Все работники, все передовые борцы прошлого — наши товарищи,

к каким бы классам они ни принадлежали. Почему мы боремся с буржуазными классами настоящего? Потому, что они мешают продолжать дело истории, которое мы приняли от революционной буржуазии прошлого. Они изменяют этим своим предкам: те шли вперед, геройски борясь со стихиями истории, а эти говорят: стой, не хотим идти дальше, лучше отступим. Мы же продолжаем наступление тех исчезнувших полков, и говорим буржуазии: вы одеты в их форму, но вы не те борцы, вы передались врагу, силам темного царства истории, — и мы боремся против вас. А те — наши, хотя оружие у нас иное и идем мы другим строем, но дело наше — общее с ними, борьба с мертвым за живое.

Итак, товарищи, искусство прошлого нам нужно, но так, как и наука прошлого, в новом понимании, в критическом истолковании новой, пролетарской мысли.

Это дело нашей критики. Она должна идти рядом с развитием самого пролетарского искусства, помогая ему советом и истолкованием и руководя им в использовании художественных сокровищ прошлого. Эти сокровища она должна передать пролетариату, объяснив ему все, что в них для него полезно и нужно, и чего в них для него недостает.

Художественный талант индивидуален, но творчество социально: из коллектива исходит и к нему возвращается, для него жизненно служит. И организация нашего искусства должна быть построена на товарищеском сотрудничестве, так же, как и организация нашей науки.

Тогда это искусство будет по духу верно своему идеалу и делается настоящим могучим орудием борьбы за него; оно будет стройно объединять классовые силы в единстве живого сознания общей цели, живого чувства ее бесконечного величия,

История показывает, товарищи, что эпохи бурь и гроз благоприятны для развития искусства, давая ему богатое содержание и внушая жажду новых форм. Такую грозную эпоху мы теперь переживаем, — эпоху, какой еще не видал мир. Товарищи, мое изучение переживаемой действительности убеждает меня в том, что это еще не последние бури и грозы борьбы за новый мир. В этом я наверное разойдусь с большинством из вас. Но я убежден в одном, что это — последний урок истории, урок, из которого пролетариат выйдет зрелым для строго-планомерной и уже вполне

---

победоносной борьбы за социализм. Расцвет пролетарского искусства будет одним из лучших, прекраснейших выражений этой зрелости.

Оно украсит пролетарскую жизнь и борьбу, организуя душу пролетариата. Ибо красота, товарищи, это — организованность. И она же называется в науке истиной, в жизненной борьбе и труде — силою. Где есть она, там необходимо и неизбежно будет и победа. А тогда

«Кровью вспоенная, станет земля плодороднее;  
Будет цветов полевых красота благороднее;  
Речи и ласки тайть перестанут обман,—  
Жизни потоки сольются в один океан».



# Что такое пролетарская поэзия.

(1918).

## I.

Пролетарская поэзия есть, прежде всего, поэзия, определенного рода искусство.

Нет поэзии — как и вообще нет искусства — там, где нет живых образов. Если таблицу умножения или законы физики изложить в каких-нибудь гладких и отделанных стихах, это не будет поэзией, потому что отвлеченные понятия — не живые образы.

Нет поэзии, как и вообще искусства, также там, где нет стройности в сочетании образов, взаимного соответствия и связи между ними, того, что называется «организованностью». Если, напр., нарисованные фигуры не связаны между собою единством плана, или если они размещены случайно, беспорядочно, то это не картина, не живопись.

В одной газете несколько месяцев тому назад были напечатаны стихи, которые начинались так:

«Война до победы, война без конца!»  
Кричат в упоенье карманы кушца;  
До крови погибших не дело ему,—  
Лишь с прибылью надо окончить войну.  
Промышленник тоже, набивши карман,  
Сознательно вводит рабочих в обман!..» и т. д.

Со стороны редакции было преступлением напечатать такие стихи, — преступлением и против читателя, и против автора, какого-нибудь искреннего, честного рабочего, который просто не знал, что такое поэзия. Тут либо совсем нет живых образов («надо

окончить войну с прибылью», «промышленник сознательно вводит в обман рабочих»), либо они в резком противоречии между собою (карманы «кричат», да еще «в упоеньи»). Это—как бы специально написанный образец того, что противоположно художественности.

Надо знать и помнить: искусство есть организация живых образов; поэзия — организация живых образов в словесной форме.

## II.

Начало поэзии лежит там же, где и начало человеческой речи вообще.

Крики, произвольно вырывавшиеся у первобытных людей при их трудовых усилиях, — трудовые крики, — явились зародышем слов, первым обозначением: естественным и для всех понятным обозначением тех действий, при которых они возникали. И те же трудовые крики стали зародышем трудовой песни.

Она не была простой забавой или развлечением. В общем труде она объединяла усилия работников, придавала им стройность, ритмическую правильность и связность. Она была, следовательно, средством организации коллективных усилий. Такое значение она сохраняет и теперь.

В песне боевой, развившейся позднее, организационное значение выступает с другим оттенком. Она пелась, обычно, перед боем и создавала для него единство настроения, связь коллективного чувства, основное условие дружного, стройного действия в бою. Это, так сказать, предварительная организация сил коллектива для предстоящей ему трудной задачи.

Второй корень поэзии — это миф; он же и начало знания вообще.

Первоначально слова обозначали человеческие действия; но только этими же словами люди могли сообщать друг другу о явлениях и действиях внешней природы, ее стихийных сил. Таким образом, во всяком, даже самом элементарном рассказе или описании, природа неизбежно очеловечивалась; шла ли речь о животном, о дереве, о солнце или месяце, о реке или ручье, всюду выходило так, как будто дело идет о человеке: солнце «идет» по небу, утром «встает», вечером «уходит спать», зимой «болеет, худеет», весной выздоравливает, и т. под. Это невольное перенесение понятий

с человеческого на стихийное называется «основной метафорой». Без нее мышление не смогло бы начать свою работу над окружающим, внечеловеческим миром, — не состоялось бы познания.

Позже мышление мало-по-малу усваивало различие между собою и внешней средою, освобождалось от основной метафоры, особенно после того, как выработались названия для вещей. Но в сущности и теперь еще оно далеко не вполне от нее свободно. Даже самое слово «мир» есть один из ее остатков, потому что оно означает, собственно, общину, коллектив людей. А в поэзии роль основной метафоры все время была и остается огромна: очеловечивание природы главный поэтический прием.

Итак, в мифе первоначально не было никакого вымысла. Когда отец передавал детям то, что сам знал из опыта об изменчивой судьбе солнца в его годовом цикле, эта первобытная астрономическая лекция неизбежно принимала вид рассказа о приключениях человека, могучего и доброго, в борьбе с враждебными силами, которые то отступают перед ним, то наносят ему поражения и раны, его обессиливающие, и т. под. Отсюда впоследствии развивался какой-нибудь поэтический миф, у вавилонян о герое Гильгамеше, у греков — о Геракле. Если человек сообщал другому, менее опытному, о том, что мертвые тела вредят живым людям, порождают болезни, ведущие к слабости и даже смерти, получался рассказ о злых мертвецах, об их вражде к живым, — то, из чего впоследствии создался миф о вампирах или упырях. Тогда это была единственная возможная форма передачи знания в обществе.

Поэзия, проза, наука, — все это было нераздельно слито в неопределенном зародыше, каким являлся первобытный миф. Но его жизненный смысл, его значение для общества представляется вполне определенным; это, опять-таки, орудие организации социально-трудовой жизни людей.

Для чего собираются и передаются в ряду поколений знания людей о них самих, о жизни, о природе? Для того, чтобы с этими знаниями сообразовать, соответственно им направлять и соединять, вообще — чтобы на их основе организовать практические усилия людей. Первичный солнечный миф — описание смены времен года — давал необходимые руководящие указания для цикла земледельческих работ, а также для охоты, рыболов-

ства, для всех тех, организация которых опирается на планомерное распределение труда по сезонам, на «ориентировку во времени». Миф о мертвецах давал указания для руководства гигиеническими мерами по отношению к трупам, напр., зарывать их достаточно глубоко, подалее от жилищ, и т. под. Знание примитивное, поэтическое, играло в тогдашней практике такую же организующую роль, как новейшие точные науки — в современном производстве.

### III.

Изменялось ли с тех пор по существу жизненное значение поэзии?

Вспомним, чем были поэмы Гомера, Гесиода для древней Греции: важнейшим воспитательным средством. — А что такое воспитание? Это — основная организационная работа, вводящая новых членов в общество.

Человеческая личинка обрабатывается и готовится в таком направлении, чтобы стать пригодным живым звеном системы общественных связей, чтобы занять свое место и выполнять свое дело в общем социальном процессе. Воспитание организует человеческий коллектив таким же образом, как обучение строю, дисциплине и боевым приемам организует армию.

Наши теоретики, считающие искусство, согласно аристократической и частью буржуазной традиции, «украшением жизни», своего рода роскошью в ней, не понимают, до какой степени они сами себе противоречат, когда в то же время признают за искусством воспитательное, т. е. именно практически-организационное значение.

Существуют две буржуазные теории: «чистого искусства» и «гражданского искусства». Первая утверждает, что искусство должно быть целью само для себя, должно быть свободно от интересов и устремлений практической борьбы человечества. Вторая полагает, что оно должно проводить в жизнь прогрессивные тенденции этой борьбы. Обе теории мы можем отбросить, раз исследуем, что есть искусство на самом деле в жизни человечества. Оно организует ее силы совершенно независимо от того, ставит ли себе гражданские задачи, или не ставит. Нет надобности

навязывать их искусству, — это будет для него стеснением, ненужным и вредным для художественности: наиболее стройно организовать живые образы художник способен тогда, когда делает это свободно, без принуждения и указки. Но нелепо и запрещать искусству брать мотивы политические, социально-боевые: его содержание — вся жизнь, без ограничений и запретов.

Самой «чистой» областью поэзии представляется лирика, искусство личных настроений, переживаний, чувства. Казалось бы, кого и что может оно социально организовать?

Если бы лирика выражала только личные переживания художника, и ничь больше, то она не была бы никому, кроме него, понятна и интересна, — не была бы искусством. Смысл ее в том, что она воспроизводит общий для многих различных людей тип настроений, сходную и родственную у них связь душевных движений. Раскрывая и уясняя людям это общее, поэт невидимо объединяет и сплаивает их единством взаимного понимания в сфере чувства, тем «сочувствием», которое он во всех них возбуждает. И в то же время поэт воспитывает эту сторону их души в одинаковом для них направлении, что углубляет и расширяет их душевную близость, прочность их связи, групповой, классовой, социальной. А это подготавливает и развивает возможность связанных, согласованных действий, т.-е. и здесь, как было раньше отмечено по поводу боевой песни, дело идет о некоторой предварительной организации сил коллектива для каких бы то ни было проявлений его общей жизни, общей борьбы.

А та поэзия, которая изображает, описывает жизнь, как эпос, драма, роман, та по своему организаторскому значению подобна науке, и служит для руководства, на основе прежнего опыта, в устройстве взаимных отношений между людьми. Так, эпические поэмы дают живые образы массовых действий, связи в них между «героями» или вождями и «толпою», которая за ними идет, борьбы и примирения коллективных народных сил, и пр. Большинство романов, и именно романическая их сторона, представляют разрешение на конкретных примерах одного и того же типа задач: как из мужских и женских индивидуальностей, при различных условиях, образуются элементарные организации, в форме семьи; а затем — как вообще происходит приспособление разных индивидуумов к окружающим людям, к социальной среде. Драма дает

в действительности организационные конфликты и их разрешение, и т. д. В наше время поэзия, и вообще беллетристика, по крайней мере для городского населения, едва ли не самое распространенное и значительное средство воспитания, т.-е. введения личности в систему социальных связей.

#### IV.

Современное общество разделяется на классы. Это коллективы, раз'единенные многими жизненными противоречиями, а потому организующиеся отдельно, несходными способами, одни против другого. Естественно, что и их организационные орудия, т.-е. идеологии, различны, отдельные, во многом не только не согласуются, но прямо несовместимы между собою. Это относится и к поэзии; в обществе классовом она также является классовой: помещичьей, крестьянской, буржуазной, пролетарской.

Это, разумеется, отнюдь не надо понимать в том смысле, что поэзия защищает интересы того или иного класса: так иногда бывает, но сравнительно редко, специально в политической, в гражданской поэзии. Вообще же ее классовой характер лежит гораздо глубже. Он заключается в том, что поэт стоит на точке зрения определенного класса: смотрит его глазами на мир, думает и чувствует именно так, как этому классу, по его социальной природе, свойственно. Под автором-личностью скрывается автор-коллектив, автор-класс: и поэзия — часть его самосознания.

Автор-личность, может быть, вовсе не думает об этом, может быть, вовсе не подозревает этого. В самых произведениях часто нет никакого прямого указания на их классовый источник, никакого упоминания о нем. Вот, напр., лирика Фета. Эта красивая поэзия, в которой поэтично связываются проявления жизни природы с утопченными душевными движениями самого поэта, кажется с первого взгляда образцом «чистого искусства», чуждого всякой социальной подкладки. И, однако, еще когда в России не было марксизма, находились люди, которые замечали, что это «барская» поэзия. «Барская», т.-е. помещичья, порожденная настроением, обстановкой, формами жизни и мысли определенного сословия-класса нашей страны. И это действительно так.

То глубокое, полное отречение от всяких материальных, экономических, прозаических забот, которым дышит лирика Фета, было возможно только для петлино-барских, помещичьих элементов, все более отрывавшихся от производства. Даже развивавшаяся тогда буржуазия, озабоченная наживой и конкурентной, пропитанная деловой атмосферой, не могла так культивировать утонченные ощущения и чувства; а, кроме того, класс больше городской, она не была способна настолько понимать, так чутко воспринимать природу, как сельские землевладельцы-помещики. И нетрудно видеть, что эта поэзия должна была, на самом деле, являться организующей силой для помещичьего сословия-класса, который уже тогда отживал, но, разумеется, не хотел уходить с исторической сцены и энергично отстаивал свои интересы. Она не только объединяла представителей барства в известной общности настроений, но вместе с тем ковенно противопоставала их остальному обществу, усиливая, таким образом, их сплоченность. Она укрепляла в них сознание своего духовного превосходства над остальными слоями общества и, следовательно, права на привилегированное положение. И отсюда, само собой, вытекало стремление твердо и дружно отстаивать эту культуру, т. е., очевидно, ее основные условия, материальное богатство и господствующее положение.

В классовом обществе поэзия не может быть все-классовой; но из этого не следует, что она принадлежит в каждом данном случае одному определенному классу. В поэзии, напр., Некрасова есть и горячая защита интересов крестьянства на основе глубокого сочувственного понимания его жизни, и яркое выражение стремлений, мыслей, чувств развивавшейся, но стесненной старым строем в этом развитии городской интеллигенции, к которой Некрасов принадлежал по своей деятельности, и несомненные остатки психологии помещичьего сословия, из которого он вышел. Это поэзия смешанно-классовая. Такой и в наше время, большей частью, бывает демократическая поэзия: крестьянско-интеллигентская, рабоче-крестьянская, рабоче-крестьянско-интеллигентская; это было бы легко показать на многих наших новейших поэтах из народа.

Пролетариату нужна, разумеется, не такая, а чисто-классовая, и пролетарская поэзия.

## У.

Характер пролетарской поэзии определяется основными жизненными условиями самого рабочего класса: его положением в производстве, его типом организации, его исторической судьбой.

Пролетариат есть класс трудовой, эксплуатируемой, борющийся, развивающийся. Это класс, который сосредоточен массами в городах, которому свойственна товарищеская форма сотрудничества. Все эти черты неизбежно отражаются в его коллективном сознании — в его идеологии; следовательно, и в его поэзии. Но не все они в одинаковой мере выделяют пролетарскую поэзию, обособляют ее от всякой иной.

Труд, эксплуатация со стороны господствующих классов, борьба против нее, стремление к прогрессу, — отличают ли эти черты пролетариат от беднейшего крестьянства, от низших слоев трудовой интеллигенции? Очевидно, нет; они свойственны и этим группам, они сближают их с рабочим классом. Эти группы раньше, чем пролетариат, могли создать свою поэзию, и в своих первых шагах на пути поэтического творчества они естественно, примыкает к ним. Тут его попытки имеют еще характер неопределенно-классовой: поэзия революционно-демократическая. Вот, напр., красная песня, написанная молодым рабочим, Алексеем Гмыревым, погибшим несколько лет тому назад на каторге.

### Алая.

Мы идем навстречу Солнцу. Мы идем  
И свободе песню алую поем.

Алым звоном над землей гудит она,  
Пробуждая, ужасая, как война.

И, сзывая гордых сердцем и душой,  
Мошно льется наша песня над землей.

Мы идем навстречу Солнцу, мы идем  
И свободы знамя алое несем.

Кровью Солнца мы окрасили наш стяг,  
И горит он, побеждая вепний мрак.

Крепко навших—стяга черное древко,  
Хорошо нести нам знамя и легко.



Мы идем под алым стягом, мы идем  
 С алой песней, алым солнечным путем.  
 Труден путь наш, полный терний и смертей;  
 Но зато он самый алый из путей.  
 Длинен путь наш, непрерывный, вековой;  
 Но зато он самый чистый и прямой.  
 Нам немного, нас немного; но в пути  
 К нам примкнут борцов миллионы, чтоб нести  
 Наше бремя, наше знамя, волю, кровь!  
 Мы безумны, но бессмертны, как любовь.  
 Так долой же плач и отдых у могил.  
 Дальше, дальше, все, кто Солнце полюбил!  
 Мы идем навстречу Солнцу, мы идем  
 И поем, и знамя алое несем.

Здесь, кроме личности автора, нет ничего такого, что делало бы эту песню именно пролетарской. Она могла бы, одинаково с рабочими, воодушевлять и связывать в революционном порыве как прежних бойцов передовой интеллигенции — народо-вольцев, так и крестьянских борцов за землю и волю. И такова наибольшая часть старой революционной поэзии, выходила ли она из интеллигентской, крестьянской или рабочей среды.

## VI.

Что существенно отличает пролетариат от других демократических элементов — это его особый тип труда и сотрудничества.

Самый глубокий разрыв прошел через трудовую природу человека в те времена, когда «мозг» отделился от «рабочих рук», «руководство» от «выполнения», когда один стал думать, решать за других и указывать им, а другие — делать то, что он укажет, и как он укажет. Это было обособление организатора от исполнителя, начало власти — подчинения. Один человек по отношению к другому стал высшим существом, и зародилось чувство преклонения. На этой основе начало развиваться религиозное мировоззрение; а раньше его не было, и быть не могло, ибо стихийная природа своими грозными силами вызывала в человеке страх животный, но не «страх божий», боязнь могучих врагов, но не мысль о качественно-высших деятелях, соединенную со смиренным и преклонением перед ними, — без чего нет

религии. Авторитарное сотрудничество, по мере своего роста и углубления, пропитывало все сознание людей духом авторитета: вся природа была подчинена властителям-организаторам — божествам, всякому телу дан руководитель — душа, и т. д.

По самому характеру своей работы организатор, действительно, тип качественно-высший, а исполнитель — низший: у одного — инициатива, соображение, наблюдение, контроль, для чего требуется и опыт, и знание, и напряженное внимание; у другого — механическое исполнение, для которого всех этих данных не требуется, а нужна пассивная дисциплина, слепое повиновение. Рабу, крепостному крестьянину, солдату армии древнего деспота рассуждать при выполнении его дела незначит, и даже вредно: он — живое орудие, не более.

Другой разрыв трудовой природы человека — это специализация. У каждого специалиста своя задача, свой опыт, свой особый, маленький мир; земледelec знает свое поле, соху, лошадь; кузнец — свои горн, мехи, молоты; сапожник — свои кожи, шила, колодки; каждый не может, — а затем и не хочет знать чужого дела, чтобы тем лучше сосредоточиться на своем, тем совершеннее овладеть им. И еще углубляется этот разрыв отдельностью, независимостью специализированных хозяйств, лишь на рынке встречающихся при обмене своих товаров. Там их взаимная связь окончательно скрывается под борьбою всех против всех: покупателя с продавцами за цену, продавцов между собою за сбыт, покупателей — за лучший товар, когда его не хватает.

Этот второй разрыв трудовой природы порождает индивидуализм. Человек привыкает в мыслях и чувствах противопоставлять себя другим людям: он видит в себе существо абсолютно отдельное, с вполне обособленными интересами, независимое от общественной среды в стремлениях и действиях, самостоятельное творческое. Индивидуум, личное «я» для него — центр мировоззрения и мироощущения; свобода этого «я» — высший идеал.

Оба разрыва трудовой природы проходят через все сознание старых классов, значит — и через их поэзию. Поэзия эпохи чисто авторитарной — феодализма — насквозь проникнута духом авторитарности; ее мифы и поэмы, как, напр., книга Бытия у евреев, Илиада и Одиссея у греков, Магабгарата у индусов, былины и «Слово о полку Игореве» у русских, сводят весь ход жизни, цепь

ее событий к деятельности богов, героев, царей, вождей; лирика — яркий пример ее псалмы Давида — ощущает природу, как проявление божественной воли, пропитана мольбой и покорностью. В поэзии буржуазного мира царит индивидуализм: там центром является личность, ее судьбы, ее переживания; поэма, роман, драма изображают ее столкновения с внешним миром, ее отчуждения к другим людям и к природе, ее борьбу за счастье или карьеру, ее творчество, победы, поражения; лирика также все сводится к индивидуальной психологии, к душевным движениям и настроениям отдельного лица: его субъективное ощущение природы, его радости, печали, мечты, разочарования, половая любовь, с ее страданиями и восторгами. — таково содержание этой лирики.

Надо заметить, что поэзия буржуазного мира сохраняет и многое от авторитарного сознания, потому что буржуазное общество удерживает много элементов авторитарного сотрудничества, власти — подчинения. Кроме того, разнообразие буржуазных групп — капиталисты крупные и мелкие, высшая интеллигенция, землевладельцы отсталые и прогрессивные, биржевые спекулянты, рентьеры и проч., — вместе с различными смещениями и скрещиваниями этих групп, естественно, порождает разнообразие форм и содержание их поэзии, хотя основной тип остается общий.

## VII.

В машинном производстве впервые происходит срастание основных разрывов трудовой природы. В нем «рабочие руки» не просто руки, работники — не пассивно-механический исполнитель. Он подчинен, но он и управляет «железным рабом», машиною. Чем сложнее, чем совершеннее машина, тем больше труд сводится к наблюдению и контролю, к соображению всех сторон и условий ее работы, к вмешательству лишь по мере надобности в ее движения; при неизбежных же временах ее капризах и расстройствах необходимо быстрое понимание происходящего, инициатива и решительность в действиях. Все это основные и типичные черты организаторского труда, и с ними точно так же связано требование известного знания, интеллигентности, способности к напряженному вниманию — свойств организатора. Но остается

и непосредственное физическое усилие, вместе с мозгом работают руки.

В то же время и специализация перестает резко разделять работников, — она с них переходит на машину; труд при различных машинах в своем основном, «организаторском» содержании весьма сходен. Благодаря этому, поддерживается связь и взаимное понимание при совместной работе, возможность помогать друг другу советом и делом. Здесь складывается та товарищеская форма сотрудничества, на которой затем пролетариат строит все свои организации.

Она и характеризуется тем, что организаторский труд слит воедино с исполнительским. Но как организатором, так и исполнителем здесь являются не отдельные лица, а коллектив. Дела сообща обсуждаются и решаются, сообща выполняются; каждый участвует в выработке коллективной воли и в ее осуществлении. Тут организованность достигается не властью — подчинением; вместо них товарищеская инициатива и руководство со стороны всех, товарищеская дисциплина со стороны каждого.

Зародыши товарищеского сотрудничества были и раньше; но в нашу эпоху оно впервые становится массовым, и выступает как основной тип организации для целого класса. Оно углубляется по мере развития высшей техники, оно расширяется по мере собирания пролетарских масс в городах, по мере их концентрации в гигантских предприятиях.

Это собрание пролетариата в городах и на заводах имеет огромное и сложное влияние на его психику. Оно помогает развиваться сознанию того, что в труде, в борьбе со стихиями и жизнью личность — только звено великой цепи, и, взятая отдельно, была бы совершенно бессильной игрушкой внешних сил, нежизнеспособным кусочком ткани, отрезанным от могучего организма. Личное «я» сводится к его настоящим размерам и надлежащему месту.

Но с этим же собиранием в городах и заводах связан весьма болезненный отрыв от природы. Она является пролетариату, как сила производства, а не как источник разнообразных живых впечатлений. Между тем радостей и развлечений городская жизнь дает ему мало, не так, как господствующим классам; и тем сильнее его стремление к живой природе, переходящее даже в тоску по

ней. Это — также один из мотивов его неудовлетворенности, его борьбы за новые формы жизни.

Товарищеское сотрудничество — не готовая форма, оно находится в развитии, повсюду на разных ступенях; а товарищеское сознание идет следом за ним, все же необходимо отставая от него. Это основная линия пути пролетариата; но она далека еще от завершения даже в странах наиболее передовых. Завершение будет дано в социализме, который есть не что иное, как товарищеская организация всей жизни общества.

### VIII.

Дух авторитета, дух индивидуализма, дух товарищества — три последовательных типа культуры. Пролетарская поэзия принадлежит третьей, высшей фазе.

Дух авторитета ей чужд, она не может не быть ему враждебна. Пролетариат — класс подчиненный, но он борется против этого подчинения. Вот стихи, взятые из рабочей газеты, и посвященные одному из политических вождей пролетариата:

Расшатан до основ весь буржуазный строй,  
И мир, захваченный красно-смелым риском,  
Следит взволнованно за гения игрой.  
Чтоб аплодировать при выигрыше близком.  
Мир ждет конца, чтоб мог торжествовать  
Падение гнилых, отживших век строний,  
Чтоб эру новую свободных дней начать  
И увенчать в веках все победивший гений.

Рабочий или не рабочий писал это, ясно, что весь основной строй чувств и мыслей здесь не пролетарский. Трудовой и борющийся коллектив не может не цепить своих вождей-организаторов, — но именно как выразителей общих задач, общей воли самого коллектива, как представителей его общей силы. Представлять же великую мировую драму нашей эпохи, как рискованную азартную игру, которую мастерски ведет гений против других политических игроков, при чем «мир», т.-е. массы, только «взволнованно следят» за ней, чтобы потом аплодировать и увенчивать победителя — это чисто авторитарное, пожалуй, даже придворное понимание жизни.

Столь же чужд пролетариату дух индивидуализма, всюду ставящего в центре личное «я».

«Был всегда я гордым, был всегда мягкожным,  
Улыбался горю, гнал унынье прочь,  
Был всегда веселым, радостно-безбрежным,  
Не пугала душу призраками почь,  
Был всегда спокойным, сдержанным и смелым,  
Солнцем омынялся, солнцу песни пел,  
Не боялся муки за святое дело,  
И в идее яркой, как в огне, горел.

И всегда я прямо, горделиво, ясно  
Шел навстречу правде с бодрою душой,  
Не считаясь с «трудно», «тяжко» или «опасно»!  
Жил я, ушываясь вольною борьбой...» и т. д.

Не случайно первый, заглавный стих этого произведения, взятого тоже из рабочей газеты, заимствован почти целиком у заведомо буржуазного поэта, как и немалая доля образов в последующем. Тут в основе нет коллективно-творческого «мы», а есть старое, на себе сосредоточенное и самолюбующееся «я». Конечно, и это — не пролетарская поэзия.

Пролетариат — класс очень молодой, а его искусство еще в детской стадии. Даже в политике, где его опыт больше, миллионы пролетариев Германии, Англии, Америки идут на поводу у буржуазии; тем легче это должно случаться с поэтами-пролетариями. Но как там мы должны открыто заявлять: «это не пролетарская политика», так здесь голос товарищеской критики должен твердо предостерегать: «это — не пролетарское искусство».

До сих пор еще поэзия рабочих слишком часто, вероятно, в большинстве случаев — не рабочая поэзия. Дело не в авторе, а в точке зрения. Поэт может и не принадлежать экономически к рабочему классу; но если он глубоко сжился с его коллективной жизнью, действительно и искренно проникся его стремлениями, идеалами, его способом мыслить, радуется его радостями и страдает его страданиями, — словом, сжился с ним душою, — то он способен стать художественным выразителем пролетариата, организатором его сил и сознания в поэтической форме. Конечно, это может случаться не часто; и в поэзии еще меньше, чем в политике, пролетариату следует рассчитывать на союзников, приходящих извне.

## IX.

Маленькое стихотворение в прозе рабочего — поэта и экономиста—

### Гудки.

Когда гудит утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего.

Мы когда-то работали в убогих мастерских, и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь утром в восемь часов кричат гудки для целого миллиона.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

Это утренний гимн единства.

(«Поэзия рабочего удара». А. Гастева—Н. Дозорова).

Это априка, но не априка личного «я». Для рабочего, как отдельной личности, гудок, конечно, напоминает о подневальном труде, иногда почти орудие пытки. Но для растущего коллектива это—шное. «Суб'ект» поэзии, действительный ее творец, выражающий себя через поэта, не тот, что прежде, и не то находит в жизни. Это — дух товарищества.

### Грядущему.

Я подслушал эти песни близких, радостных веков

В гулком вихре огненных, необятных городов.

Я подслушал эти песни золотых горящих дней

В шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте  
ремней.

Я смотрел, как мой товарищ золотую сталь ковал,

И в тот миг Зари Грядущей лик чудесный разгадал.

И узнал, что мудрость мира—вся вот в этом молотке,

В этой твердой и упорной и уверенной руке,

Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить, ковать,

Тем светлее будет радость в мире сумрачном сиять.

Чем проворней будут двигаться приводы, шестерни,

Тем пленительней и ярче загорятся наши дни.

Эти песни мне пропели миллионы голосов,

Миллионы синеглазых, сильных, смелых кузнецов.

Эти песни зов мятежный, властный, красный, ясный  
звон,

Он вещает всем, что кончен долгой ночи мертвый сон.

Эти песни—зов могучий к солнцу, жизни и борьбе.

Это вызов гордый, гневный—злойной, тягостной судьбе.

(В. Кирпичов, журнал «Грядущее», № 1, 1918. Прг.).

Тут и «я» поэта на сцене; но оно ясно сознает свою роль и свое место; оно выступает для того, чтобы указать на действительного, первичного творца этой поэзии — коллектив, на действительную, основную творческую силу — организованный труд. И поэт не останавливается на стадии чисто боевого, ударно-революционного сознания пролетариата — как это бывает с большей частью нынешних начинающих рабочих поэтов. Оно одно не дает пролетарской поэзии, — ведь дух боевого товарищества свойствен и солдатам. Поэт идет дальше и глубже, раскрывает культурно-трудовое сознание своего класса: «Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить, ковать... чем проворней будут двигаться приволы, шестерни...», — тем скорее наступит Заря, тем ближе царство Грядущего. В боях — победа над врагами; но только в развитии труда, в развитии силы производства — осуществление социального идеала.



Пролетарская поэзия еще в зародыше. Но она разовьется. Она необходима потому, что рабочему классу необходимо полное, целостное самосознание, и поэзия — часть его.

Она еще в детстве. Но и когда она вырастет, пролетариат не будет жить ею одною. Он — законный наследник всей прошлой культуры, наследник и всего лучшего, что он найдет в поэзии феодального и буржуазного мира.

Но ему надо взять это наследство так, чтобы не подчиниться царящему в нем духу прошлого, как это на каждом шагу бывает до сих пор. Наследство не должно господствовать над наследником, а должно быть только орудием в его руках. Мертвое должно служить живому, а не удерживать, не сковывать его.

И для этого пролетариату нужна своя поэзия. Чтобы не подчиниться чужому поэтическому сознанию, сильному своей многовековой зрелостью, пролетариату надо иметь свое поэтиче-



---

ское сознание, непреложное в своей ясности. Это новое сознание должно развернуться и охватить всю жизнь, весь мир творческим единством.

Пусть же растет и зреет пролетарская поэзия, и пусть она учит рабочий класс быть тем, к чему предназначила его история: бойцом и разрушителем только по внешней необходимости, творцом — по всей своей природе.

# О художественном наследстве.

(1913).

Два грандиозные задачи стоят перед рабочим классом в сфере искусства. Первая — самостоятельное творчество: сознать себя и мир в стройных живых образах, организовать свои духовные силы в художественной форме. Вторая — получение наследства: овладеть сокровищами искусства, которые созданы прошлым, сделать своим все великое и прекрасное в них, не подчиняясь отразившемуся в них духу буржуазного и феодального общества. Эта вторая задача не менее трудна, чем первая. Исследуем общие способы ее решения.

## I.

Верующий человек, серьезно и внимательно изучающий чужую религию, подвергается опасности совершить в нее, или усвоить из нее что-нибудь еретическое с точки зрения его собственной веры. Так, ученые христиане, исследователи буддизма, случалось не раз, делались сами буддистами вполне, или последователями нравственного учения буддизма; но бывало и обратное. А допустим те же религиозные системы, изучает свободный мыслитель, который во всех религиях видит проявление поэтического творчества народов; это — не полная истина, но часть ее. Угрожает ли ему такая опасность, как верующему ученому? Конечно, нет. Он может с величайшим восторгом воспринимать красоты и глубины учений, покоривших себе сотни миллионов людей; но он воспринимает их не с религиозной, а с иной, высшей точки зрения. Огромное богатство мысли и чувства, организованное в буддизме, даст его сердцу и уму, наверное, больше, чем уму

и сердцу ученого христианина, который, изучая, не может отделяться от скрытого сопротивления собственной веры, борющейся против «соблазна» чужой: но именно соблазна стать верующим буддистом для свободного мыслителя тут не существует, потому что не таков механизм его сознания, по-своему перерабатывающий религиозный материал.

И христианни, и свободный мыслитель воспринимают буддизм «критически». Борющаяся же разница заключается в самом типе их критики, в ее основах — «критериях». Верующий не стоит выше предмета своего изучения, а приблизительно на одном уровне с ним. Он критикует с точки зрения своей догмы и своего чувства, ищет противоречий в чужих мифах, культе, моральных откровениях и, находя эти противоречия, неспособен оценить часто скрытую за ними поэтическую или жизненную правду: а если проникнет в нее, то заплатит противоречием с самим собой — «впадет в соблазн». Для него буддизм не может явиться культурным наследством чуждого мира: а если он сочувственно воспримет эту веру — она подчинит его и заставит отказаться от прежней.

Немногом лучше обстоит дело для свирепого атеиста, представителя прогрессивного, но не вполне развитого буржуазного сознания, который во всякой религии видит только суеверие и обман. Это «верующий навыворот»: он лишь настолько выше религии, чтобы отвергнуть ее, но не настолько, чтобы понять ее. Для него она тоже — не наследство: а в худшем случае и соблазн. — если он почувствует, что она не только обман и суеверие, но не поймет, что же именно.

В ином положении наш свободный мыслитель, представитель высшей ступени, какой способно достигнуть буржуазное сознание. Его понимание религиозного творчества, как народно-поэтического, позволяет ему, в пределах этой точки зрения, вполне свободно и беспристрастно оценивать свой предмет. Для него не будет тяжелым внутренним противоречием увидеть, что, напр., по глубине идей законы Ману древних арийцев индусов стоит во многом выше и древнего, и новейшего христианства, а их отношение к смерти, выраженное в погребальных обрядах, по благородству, величю и красоте превосходит христианское вне сравнений. Он, свободный от религиозного сознания вообще и ведущий борьбу против него

всюду, где оно затемняет мысль и извращает волю людей, он в то же время в силах сделать для себя и для других все религии ценным культурным наследством.

Отношение пролетария ко всей культуре прошлого, культуре мира буржуазного и мира феодального проходит подобные же ступени. Вначале она для него просто культура, культура вообще; иной по существу он себе и не представляет; он сам стоит всецело на ее уровне. В ее науке и философии могут быть заблуждения, в ее искусстве неверные мотивы, в ее морали и праве — несправедливости; но все это для него не связано с ее существом, это ее ошибки, уклоны, несовершенства, которые прогресс ее должен исправить. Если затем он и замечает в ней «буржуазность» и «аристократизм», то он понимает то и другое лишь в смысле защиты интересов господствующих классов, защиты, фальсифицирующей культуру: самые методы и точка зрения этой культуры — ее сущность — не подвергается для него сомнению. Он не может сойти с ее почвы, и, стараясь усвоить «то, что в ней есть хорошего», не защищен против нее даже настолько, насколько защищен от соблазнов христианства буддист или браминист, его паучающий, и обратно. Он и пропитывается старыми способами мыслить и чувствовать, всем основным напаян отношением к миру. Свою пролетарски-классовую точку зрения удерживается у него лишь там и постольку, где и постольку достаточно ясно и достаточно властно говорит голос классового интереса. Когда нет такой ясности и убедительности, а жизненный вопрос труден и сложен, особенно если он еще нов, тогда он решается не самостоятельно: либо просто берется готовое чужое решение из окружающей социальной среды, либо даже классовый пролетарский интерес освещается и понимается с чужой точки зрения. То и другое ярко обнаружилось в отношении рабочей интеллигенции европейских стран к мировой войне, когда она разразилась: одни, почти не рассуждая, отделись волне патриотизма, другие сумели «сознать», что высшие интересы рабочего класса требуют единения с буржуазией для защиты и спасения отечества и отечественного производства: ибо «крушение того и другого отбросило бы рабочий класс и всю цивилизацию далеко назад».

На этом грандиозно-жестоком опыте вполне выясняется, что

при невыработанности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения, не пролетарий овладевает культурой прошлого, как своим наследством, а она овладевает им, как человеческим материалом для своих задач.

Если пролетарий, убедившись в этом, придет к голому, анархическому отрицанию старой культуры, т.-е. откажется от наследства, то он занимает позицию наивного атеиста по отношению к религиозному наследству, но опять-таки в еще ухудшенном смысле; ибо обойтись без понимания религий буржуазному атеисту все же практически возможно, у него уже есть иные культурные опоры, пострадает только широта его мысли и размах творчества. Рабочий же тогда оказывается не в силах противопоставить богатой, выработанной культуре враждебного станa ничего сколько-нибудь равносильного; ибо создать всецело заново нечто подобное по масштабу он не может. Она остается превосходным орудием и оружием в руках его врагов — против него.

Вывод ясен. Рабочему классу необходимо найти, выработать и провести до конца точку зрения, высшую по отношению ко всей культуре прошлого, как точка зрения свободного мыслителя по отношению к миру религий. Тогда станет возможно овладеть этой культурой, не подчиняясь ей, — сделать ее орудием строительства новой жизни и оружием борьбы против самого же старого общества.

## II.

Начало такому овладению духовными силами старого мира положил Карл Маркс. Переворот, произведенный им в области общественных наук и социальной философии, заключался в том, что он пересмотрел их основные методы и добытые результаты с новой, высшей точки зрения, которая и была пролетарски-классовой. Девять десятых, если не больше, не только материалов для своего титанического знания, но и приемов их разработки Маркс взял из буржуазных источников: буржуазная классическая экономия, отчеты английской фабричной инспекции, мелкобуржуазная критика капитала у Сисмонди и Прудона, да в сущности и почти весь интеллигентский социализм утопистов, диалектика немецкого идеализма, материализм французских просветителей и Фейербаха,

социально-классовые построения французских историков и генеральные описания классовой психологии у Бальзака, и т. д., и т. д. Где это выступило в ином виде и сложилось в новую связь, преобразилось в орудие строительства пролетарской организации, в орудие борьбы против господства капитала.

Как могло произойти такое чудо?

Маркс установил, что общество прежде всего есть организация производства, что в этом основа всех законов его жизни, всего развития его форм. Это — точка зрения социально-производящего класса, точка зрения трудового коллектива. Исходя из нее, Маркс подверг критике науку прошлого, и очистив ее материал, переплавив его в огне своей идеи, создал из него пролетарское знание — научный социализм.

Итак, вот способ, которым результаты культурного творчества прошлого были превращены в действительное наследство рабочего класса: критическая переработка с коллективно-трудовой точки зрения. Так понимал дело и сам Маркс: не даром свою главную работу, «Капитал», он назвал «Критикой политической экономии».

И это относится отношь не только к общественным наукам. Во всех других областях точно так же методом получения и усвоения культурного наследства является наша критика, пролетарски-классовая.

### III.

Раскроем полнее основу нашей критики — смысл и сущность коллективно-трудовой точки зрения.

Общественный процесс разлагается на три момента, или, пожалуй, точнее, имеет три стороны: техническую, экономическую, идеологическую. В технической общество борется с природой и подчиняет ее, т.-е. организует внешний мир в интересах своей жизни и развития. В экономической — отношениях сотрудничества и распределения между людьми — оно само организует для этой борьбы с природой. В идеологической оно организует свой опыт, свои переживания, создавая из этого организационные орудия для всей своей жизни и развития. Следовательно, вся-

ная задача, в технике, в экономике, в сфере духовной культуры, есть задача организационная, и притом социальная.

Исключений тут нет и быть не может. Пусть армия ставит своей целью разрушение, истребление, дезорганизацию. Но тогда это не есть конечная цель, а средство; для чего? для того, чтобы реорганизовать мир в интересах коллектива, которому армия принадлежит. Пусть индивидуалист-художник воображает, что он творит для себя и из себя: но если бы он творил действительно только для себя, а не организовал переживания некоторого коллектива, то его творчество пикуму, кроме него, и не было бы нужно, оно так же не относилось бы к духовной культуре, как не относятся к ней ускользающие, не передаваемые, хотя бы и красивые, грезы сновидний; и если бы он творил только из себя, не пользуясь материалом, способами его обработки, воплощения и выражения, полученными из социальной среды, то он ровно ничего и не создал бы.

Итак, коллективно-трудовая точка зрения есть всеорганизационная. Иной и не может быть точка зрения рабочего класса, который организует внешнюю материю в продукт — в своем труде, себя самого в творческий и боевой коллектив — в своем сотрудничестве и классовой борьбе, свой опыт в классовое сознание — во всем своем быту и творчестве, и которому истории поручает миссию — стройно и целостно организовать всю жизнь всего человечества.

#### IV.

Вернемся к нашей первой иллюстрации. Может ли, должен ли весь мир религиозного творчества стать культурным наследством для рабочего класса, против которого всякая религия до сих пор явно служит орудием порабощения? Какая ему польза в таком наследстве, что ему с ним делать?

Наша критика даст ясный и исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Религия есть решение идеологической задачи для определенного типа коллектива, именно — авторитарного. Это коллектив, построенный на авторитарном сотрудничестве, на руководящей роли

одних, исполнительской роли других, на власти — подчинении. Такова была патриархальная родовая община, таково феодальное общество, таково крепостная и рабовладельческая организация, полицейско-бюрократическое государство; такой же характер имеет современная армия, а в малом масштабе — и мещанская семья; и, наконец, на власти — подчинении строят и капитал свои предприятия.

В чем заключается организационная задача идеологии? Стройно и целостно организовать опыт коллектива, в таком соответствии с его устройством, чтобы полученные культурные продукты сами служили, в свою очередь, организационными орудиями для него, т. е. сохраняли, оформливали, закрепляли, развивали дальше данный тип организации коллектива. И легко понять, как все это складывается в авторитарном строе жизни.

Этот строй просто переносится в область опыта и мысли. Всякое действие, стихийное или человеческое, всякое явление представляется, как сочетание двух звеньев — организаторской, активной воли и пассивного исполнения. Весь мир мыслится по образу и подобию авторитарного общества, с верховным авторитетом, «божеством», над ним и, при усложнении авторитарной связи, с цепью подчиненных ему авторитетов, одних за другими, низших богов, «полубогов», «святых» и т. д., руководящих разными областями или сторонами жизни. И все эти представления пропитываются авторитарными чувствами, построениями: преклоением, покорностью, почтительным страхом. Таково религиозное мироотношение: это просто авторитарная идеология.

Вполне понятно, какое это совершенное организационное орудие для авторитарного строя жизни. Религия прямо вводит человека в этот строй, ставит на определенное место в его системе и дисциплинирует его для выполнения той роли, какая ему в этой системе предудказана. В единстве чувства, мысли и практики личность органически сливается со своим социальным целым. Оно приобретает неразрушимо прочную спайку.

Форма религиозного творчества по преимуществу поэтическая, как это правильно заметил наш свободный мыслитель, не уловивший, однако, главного — социального содержания религии. На тех ступенях развития, когда религии складываются, поэзия еще не обособилась от практического и теоретического знания,



еще охватывает их своей оболочкой. А религия тогда заключает в себе все и всякое знание, организует весь опыт людей: познание вообще понимается тогда, как откровение, прямо или через посредников исходящее от божества.

Каким же, в конце-концов, наследством является религиозная культура для рабочего класса? Очень важным и ценным. Пройди через его критику, она становится для него орудием не поддержания, а понимания всего авторитарного в жизни. Авторитарный мир отжил, но не умер; его пережитки окружают нас со всех сторон, то открыто, а то — все чаще и чаще — скрываясь во всевозможных, иногда самых неожиданных защитных переодеваниях. Чтобы победить такого врага, надо его знать, знать глубоко и серьезно.

Дело не только в том, чтобы опровергать религиозные учения; хотя и в этом располагающий новой критикой рабочий окажется вооружен неизмеримо лучше свирепого, но наивного атеиста, который опровергает чужую веру логическими выкладками или детскими утверждениями, что религию выдумали пошлы для обирания народа. Еще важнее то, что обладание этим наследством дает возможность правильно оценить значение авторитарных элементов нынешнего общества, их взаимную связь и отношение к социальному развитию.

Если религия есть орудие сохранения авторитарной организации, то ясно, что, напр., в отношениях классов религиозность рабочих есть средство закрепления их подчиненности, средство поддержания в них той стороны дисциплины, которая пужит господствующим для обеспеченной эксплуатации что бы ни говорили об этом разные верующие социалисты. Ясно, что принятая во многих рабочих партиях формула: «религия есть частное дело» — не более, как временный политический компромисс, на котором нельзя остановиться. Понятным становится постоянный союз сабли и рьсы, военщины и церкви: тут и там строго авторитарные организации. Объясняется и привязанность мещанской или крестьянской патриархальной семьи к религии, к «закоу божию»; а вместе с тем обнаруживается и огромная опасность этой сохраняющейся авторитарной ячейки для социального прогресса. В новом свете выступает роль партийных вождей — авт.

ритетов, и значение коллективного контроля над ними, и т. д. и т. д.

А затем еще — все художественное богатство народного опыта, кристаллизованного во всевозможных священных преданиях и писаниях; картины чуждой, всеобразной, по-своему стройной жизни расширяющие горизонт человека, глубоко вводящие в мировое движение человечества, толкающие к новому, самостоятельному, не связанному привычной обстановкой и привычками мысли творчеству...

Стоит ли рабочему классу брать религиозное наследство?

## У.

Я нарочно начал с более спорного и трудного. Так легче справиться с нашей главной задачей — вопросом о художественном наследии прошлого. Ясно, что орудие, посредством которого рабочий класс может и должен овладеть им, есть та же наша критика, с ее новой, всеорганизационной, коллективно-трудовой точкой зрения.

Как подходит она здесь к своему предмету?

Душой художественного произведения является то, что называют его «художественной идеей». Это — его замысел и сущность его выполнения, или задача и принцип ее решения. Какого же рода эта задача? Теперь мы знаем: как бы ни смотрел на нее сам художник, но в действительности она есть всегда задача организационная. И притом в двух смыслах: во-1-х, дело идет о том, чтобы стройно и целостно организовать некоторую сумму элементов жизни, опыта; во-2-х, о том, чтобы созданное таким образом целое само служило орудием организации для некоторого коллектива. Если налицо нет первого, то перед нами не искусство, а нескладница; если нет второго, то произведение никому, кроме автора, не интересно и ни для чего не нужно.

Иллюстрацией мы возьмем одно из величайших произведений мировой литературы, прекраснейший бриллиант старого культурного наследия — «Гамлет» Шекспира.

В чем состоит его художественная идея? Это — постановка и решение организационной задачи о человеческой душе, которая раздваивается тяжелым жизненным противоречием, между стре-

млением к счастью, любви, к гармонической жизни—и между необходимостью вести мучительную, суровую, беспощадную борьбу. Как выйти из этого противоречия, как примирить его? Каким способом достигнуть того, чтобы жажда гармонии не расслабляла человека в неизбежных боях жизни, не отнимала нужных для этого сил, твердости, хладнокровия, — и чтобы в то же время вынужденная жестокость ударов, кровь и грязь наносимых ран не разрушали всю радость, всю красоту бытия? Как восстановить связь и цельность души, разрываемой надвое резким столкновением между ее глубочайшей, высшей потребностью и властным требованием, которое диктуется враждебностью окружающей среды?

И мы сразу видим, как грандиозно-широк масштаб этой организационной задачи, как огромно ее общечеловеческое значение. Она относится, конечно, вовсе не только к датскому принцу Гамлету и не к многочисленным «гамлетам» и «гамлетикам» нашей обывательщины и нашей литературы. Эта задача — неизбежный момент в развитии каждого человека; у кого есть силы решить ее, того она поднимает на более высокую ступень самосознания; у кого их не хватает, для того она становится источником духовного крушения, иногда и гибели. Быть может, всего острее этот трагизм проникает в душу идеалиста-пролетария, и даже более — в коллективную психику рабочего класса. Братство — его идеал, гармония жизни всего человечества — его высшая цель; но как далека от этого окружающая среда, какую тяжелую, иногда мрачно-жестокую борьбу она ему навязывает, под угрозой потери всего, достигнутого прежними несчетными усилиями, потери его социального достоинства и самого смысла жизни. Мало радостей дано ему, и велика жажда их; но и то немногое, что есть, постоянно угрожает отнять или отравить неотвратимая стихийность социальной вражды и анархии; в ожесточенной борьбе, в отчаянии поражений и бешенстве ответных ударов не подрывается ли в корне самая способность любить и радоваться?

Трагедия Гамлета разворачивается на такой основе. Он — человек богато одаренный, с тонкой артистической натурой, и в то же время избалованный жизнью. Воспитание принца, наследника трона, несколько лет студенческих странствований по Гер-

мани, наслаждений всем, что дают занятия науками и искусством, с одной стороны, жизнерадостная товарищеская среда — с другой; наконец, к моменту завязки, светлая поэтическая любовь к Офелии... Редко кому на свете достается существование настолько полное счастья и гармонии. Гамлет к нему привык, много не испытал и представить себе не может. Но приходит время — ужас и гнусность жизни подкрадываются к нему, — сначала глухое предчувствие, потом мучительная очевидность.

Разрушена его семья, потрясен в основах законный порядок его отечества. Предатель-братоубийца завладел тронном его отца, соблазнил его мать, лицемерие, интриги, разврат царят при дворе; упадок старых добрых нравов расплывается по стране, порождая смуту. Необходимо восстановить право, пресечь преступления, отомстить за смерть отца и позор семьи. Таков для Гамлета непреложный долг, определяемый всем строем его феодального сознания.

Есть ли у него силы для этого? Да, в его богатой натуре они имеются; он, ведь, не только артист и любимец судьбы, не только «пассивный эстет», которому, как воздух, нужна для жизни гармоничная обстановка. Он, кроме того, сын короля-воина и потомок грозных викингов, получивший превосходное военное воспитание. Боец в нем есть — но не развернувшийся, не испытавший себя до тех пор и, еще хуже, связанный в одном лице с пассивным эстетом.

Вот и сущность трагедии. Борьба требует от Гамлета хитрости, обмана, насилия, жестокости; они сами по себе противны его мягкой и нежной душе; а между тем их приходится еще направлять против самых близких, самых дорогих ему людей: в стане врагов оказывается горячо любимая им мать, и он видит, как орудием интриги против него делается Офелия. Враги выдвигают их вперед, — как опытные стратеги, умело пользуются слабыми местами его души. Занесенная для удара рука останавливается, внутренняя борьба парализует волю, минутная решимость сменяется колебанием и бездействием, время уходит в бесплодных спорах с самим собой, — получается глубокое раздвоение личности и временно даже настоящее крушение: все смешивается в хаосе безвыходных противоречий, Гамлет «сходит с ума».

Обыкновенный человек так бы и погиб, не успев ничего сде-

дать. Но Гамлет — фигура необычайная, героическая. Через муки отчаяния, через тяжелую болезнь души, он все-таки шаг за шагом идет к действительному решению. Элементы распадающихся двух личностей в одной — эстет и воин — проникают друг друга, и сливаются в новом единстве: активный эстет, боец за гармонию жизни. Исчезает коренное противоречие: жажда гармонии выливается в боевое усилеие, кровь и грязь борьбы непосредственно искупаются сознаваемым очищением жизни и поднятием ее на высшую ступень. Организационная задача решена, художественная идея оформилась.

Гамлет, правда, погибает; и в этом великий поэт объективно-правдив, как всегда. У врагов Гамлета было преимущество: пока он собирал силы своей души, они действовали, и подготовили все для его гибели. Но он умирает победителем: преступление наказано, законный порядок восстановлен, судьбы Дании передаются в надежные руки: молодому герою Фортинбрасу, человеку менее крупному, чем Гамлет, но вполне цельному и насквозь проникнутому принципам того феодального мира, идеалы которого одушевляли и Гамлета.

Тут выступает другой момент нашей критики. Организационная задача поставлена и решена; но какой коллектив дал автору жизненный материал для ее воплощения? Конечно, не пролетарский, которого тогда и не было. Автор Гамлета, кто бы им в действительности ни оказался, — как известно, это вопрос спорный, — либо сам был аристократом, либо принадлежал к горячим приверженцам аристократии: из этого мира черпает он большую часть содержания драм, феодально-монархический идеал налагает на них свою печать. Там основы общественного строя — власть и подчинение, вера в управляющую миром волю божества, в святость и непреложность вездевле установленного порядка, признание одних людей существами высшими, по самому рождению, предназначенными руководить, управлять, других — низшими, подлежащими руководству, неспособными к иной роли, кроме подчинения. Не уныляет ли все это целостность произведения для рабочего класса?

Отвечу вопросом: надо ли рабочему классу знать иные организационные типы, кроме своего собственного? Может ли он даже вообще выработать и оформить этот собственный тип иначе как

путем сравнения и сопоставления с другими, их критики, их переработки, использования их элементов? И кто лучше великого мастера-художника мог бы ввести его в самую глубину чуждой организации жизни и мысли? Дело нашей критики — показать ее историческое значение, связь с низшим уровнем развития, противоречия с жизненными условиями и задачами пролетариата. Раз это сделано, нет опасности поддаться влиянию чуждого типа организации; знание о нем превращается в одно из драгоценных орудий для созидания своего.

И здесь объективность великого художника дает лучшую опору критике. Сами собой обрисовываются у него и весь консерватизм авторитарного мира, и его коренная ограниченность, и слабость в нем человеческого сознания. Стоит вспомнить первое появление в «Гамлете» героя Фортинбраса — толчок к повороту в душе самого Гамлета на путь решения его задачи. Фортинбрас с гордым убеждением в своей правоте, без всяких сомнений и колебаний, ведет армию завоевывать какой-то клочок земли, не стоящий, может быть, крови последнего из солдат, который в этой войне погибнет...

Наконец, громадное значение имеет тот факт, что организационная задача в произведении ставится и решается на основе жизни чуждого общества, а решение все-таки, в своем общем виде, сохраняет силу и для нынешней жизни, и для пролетариата, как класса, — всюду, где жажда гармонии встречается с суровостью требований борьбы. Тут искусство учит рабочий класс всеобъемлющей постановке и всеобъемлющему решению организационных задач, — что ему необходимо для осуществления мирового организационного идеала.

## VI.

Бельгийский художник, Константин Менье, в своих скульптурах изображал жизнь и быт рабочих. Его статуя «Философ» дает образ рабочего-мыслителя, углубленного в решение какого-то важного философского вопроса. Нагая фигура производит цельное и сильное впечатление напряженнейшей мысли, сосредоточенной на одном, преодолевающей великое невидимое сопротивление.

В чем заключается художественная идея статуи? Организа-

ционная задача такова: как совместить, связать воедино тяжелейший физический труд с работой мысли, с идейным творчеством? Решение задачи... Кто взглянет в фигуру «Философа», которая вся пропитана сдержанным усилием, в которой каждый видимый мускул охвачен напряжением, остановленным и не переходящим во внешнее действие, как бы уходящим вглубь, — для того с огромной наглядностью и полной, непосредственной убедительностью выступает это решение: «мысль сама есть физическое усилие, ее природа одинакова с природою труда, противоречия между ними нет, их разделение искусственное и преходящее». Выводы точной науки, физиологической психологии, вполне подтверждают эту идею; но гораздо ближе и понятнее она в художественном воплощении. А ее громадное значение для пролетариата не нуждается в доказательствах.

Но наша критика должна поставить вопрос: на точке зрения какого класса или социальной группы художник стоит в своем творчестве? И окажется, хотя он изображает рабочих, но не как идеолог рабочего класса; точка зрения трудовая, но не коллективно-трудовая. Рабочий-мыслитель взят индивидуально; не чувствуются, или только очень смутно, почти неуловимо намечаются те связи, которые сливают усилие его мысли с физическими и духовными усилиями миллионов, — которые делают ее звеном в мировой цепи труда. Художник — интеллигент по социальному положению; он привык сам работать индивидуально, не замечая, насколько его труд и по происхождению, и по методу, и по задачам исходит из всего коллективного труда человечества. В этом точка зрения трудовой интеллигенции мало отличается от буржуазной, — так же индивидуалистична. И здесь наша критика должна дополнить то, чего не мог дать художник.

## VII.

Так определяются сами собой задачи пролетарской критики по отношению к искусству прошлого. Выполняя их, она даст рабочему классу возможность прочно овладеть и самостоятельно пользоваться организационным опытом тысячелетий, кристаллизованным в художественных формах.

Обычное понимание роли и смысла пролетарской критики не таково. Оно чаще всего сбивается на позицию «гражданского искусства», на вопрос об его агитационно-пропагандистском значении для защиты классовых интересов. Несколько лет тому назад, рабочий Ив. Кубликов, призывая пролетариев изучать лучшие произведения литературы старого мира, рассматривая ее воспитательное влияние следующим образом. Без сомнения, в ней есть «не только чистое золото, но и элементы вредной для пролетариата лигатуры», а именно «консервативно-умеряющие силы». Однако, это не странно, потому что у рабочего есть классовое чутье, позволяющее ему успешно отделять золото от лигатуры. «Если мы внимательно присмотримся к тем впечатлениям, которые получаются от искусства, то увидим, что действует золото, а лигатура проходит мимо сознания рабочего... Мне лично, путем наблюдений, приходилось поражаться, как оппозиционно настроенный рабочий иногда из самого невинного произведения ухитряется делать революционные выводы» («Наша Заря»), 1914, № 3. Стр. 48 — 49). Это — точка зрения навязная, в самой основе ошибочная.

Мало хорошего в таком чутье, которое из действительно невинного произведения «ухитряется» делать революционные выводы. Искажение есть искажение. О чем оно свидетельствует? О большой силе непосредственного чувства и о недостатке объективности, о том, что мысль ниже этого чувства и подчиняется ему. Разве таково должно быть сознание класса, которому предстоит решить мировую организационную задачу?

Примером соотношения «золота и лигатуры» Кубликов берет шиллеровского «Дон-Карлоса», при чем полагает: обличение тирании, пламенные речи маркиза Позы, это золото; а вот то, что он мечтает об абсолютной же монархии, только просвещенной и гуманной, это — лигатура. Неверно. На «пламенных словах», при смутности и слабости мысли, читатель может прекрасно воспитываться в направлении революционной фразы. Наоборот, живое, художественно-глубокое выражение идеала просвещенного абсолютизма вовсе не «лигатура» для читателя исторически-сознательного, стоящего на точке зрения пролетарской критики. Идеал — умственная модель организации; знать и понимать такие модели, выработывавшиеся прошлым, необходимо для



класса — организатора будущего. В борьбе героев-личностей, выведенных художником, надо уловить борьбу социальных сил, определявших сознание и волю людей той эпохи, необходимость тех или иных идеалов, вытекавшую из природы этих сил. Художественное проникновение в душу исчезнувших или уходящих из истории классов, как и классов, занимающих ее арену, есть один из лучших способов овладеть накопленным культурно-организационным опытом — драгоценнейшим наследством для класса-строителя.

А поскольку искусство прошлого способно воспитывать чувство и настроение пролетариата, оно должно служить средством их углубления и просветления, и расширения их поля на всю жизнь человечества, на весь его трудовой путь, — но не средством возбуждения, не агитационным орудием.

\*\*\*

Критик, который сумеет передать пролетариату великое произведение старой культуры, напр., в театре, после представления гениальной пьесы, истолковать зрителям ее смысл и ценность с организационной, коллективно-трудовой точки зрения, или дать для них такое истолкование в короткой и доступной объяснительной программе, или, напр., осветить в статье рабочей газеты, рабочего журнала поэму, роман великого мастера, этот критик сделает дело серьезное и нужное для рабочего класса.

Здесь — необозримое поле работы, необходимой и в то же время самой надежной работы, которая никогда не пропадет.

## Критика пролетарского искусства.

(1918).

Всякое творчество, творчество природы или человека, стихийное или планомерное, приводит к организованным, стройным, жизнеспособным формам только через регулирование. Это две неразрывно связанные, взаимно необходимые стороны какого бы то ни было организационного процесса. Так, в стихийном развитии жизни творчеством является «изменчивость»; она создает новые и новые сочетания элементов — новые и новые отклонения от прежних форм; их регулированием служит «естественный подбор»: он из числа их устраняет все неприиспособленные к среде, сохраняет и закрепляет приспособленные. В производстве творческий момент представляет трудовое усилие, изменяющее связи вещей; регулятор — планомерный контроль сознания, которое постоянно следит за результатами усилия, останавливает его, когда непосредственная его цель достигнута, изменяет его направление, когда оно отклоняется от этой цели, и т. д.

В работе художника те же соотношения: создаются новые и новые комбинации живых образов, и тут же регулируются сознательным, планомерным отбором, механизмом «самокритики», отмечающим все нестройное, не соответствующее задаче, закрепляющим все, что идет в ее направлении. Когда и поскольку самокритика недостаточна, в результате получаются противоречия, несвязность, пагубождение образов, нехудожественность.

Развитие искусства в общественном масштабе стихийно регулируется всей социальной средой, которая принимает или отбрасывает вступающие в нее произведения, поддерживает или гну-

пит новые течения в искусстве. Но есть и регулирование плановое: оно выполняется критикой. Ее действительной основой, конечно, является также социальная среда: работа критики ведется с точки зрения какого-нибудь коллектива, в обществе классовом — с точки зрения того или иного класса.

Теперь мы рассмотрим, каким путем, в каких направлениях критика пролетарская может и должна регулировать развитие пролетарского искусства.

## I.

Первая задача нашей критики по отношению к пролетарскому искусству, это установить его границы, ясно определить его рамки, чтобы оно не расплывалось в окружающей культурной среде, не смешивалось с искусством старого мира. Задача не такая простая, как может казаться с первого взгляда: тут до сих пор постоянно наблюдаются ошибки и смешения.

Во-первых, пролетарское искусство обычно не отличают от крестьянского. Без сомнения, рабочий класс, особенно наш русский, вышел из крестьянства, и точек соприкосновения не мало: крестьяне в своей массе, тоже трудовой и тоже эксплуатируемый элемент общества; не даром у нас мог создаться довольно длительный политический союз тех и других. Но в сотрудничестве и в идеологии, в основных способах действовать и мыслить различия имеются глубокие, принципиальные. Душа пролетариата, его организационное начало, это коллективизм, товарищеское сотрудничество; постольку он и становится самим собою, как социальный класс, поскольку это начало развивается в его жизни, проникает и пропитывает ее. Крестьяне, мелкие хозяева, в своей массе тяготеют к индивидуализму, к духу личного интереса и частной собственности; это «мелкая буржуазия»; название шаблонное и неточное,—потому что «буржуа» означает, собственно, горожанина,—но верно выражающее основной характер жизненных стремлений крестьянства. Кроме того, патриархальный строй семейного хозяйства поддерживает в крестьянах дух авторитарности и религиозности; тому же способствует и вообще неизбежная узость кругозора, свойственная деревне, и зависимость отста-

лого земледелия от таинственных для крестьянина стихийных сил, посылающих урожай или неурожай.

Посмотрите на крестьянскую поэзию,—уж не говорю про до-революционную, а на самую современную, лево-эсеровскую; хотя бы «Красный Звон», сборник талантливых поэтов Клюева, Есенина и других. Тут всюду фетишизм «землицы», основы своего хозяйства; тут и весь Олимп крестьянских богов — и Троица, и Богородица, и Егорий Храбрый, и Никола Милостивый; а затем — постоянное тяготение к прошлому, возвеличение таких вождей неорганизованной, стихийной силы народа, как Стенька Разин... Все это как нельзя более чуждо сознанию социалистического пролетариата.

Между тем, такие произведения печатаются в рабочих газетах и сборниках, как пролетарские, и разбираются критикой под этим же обозначением. Правда, не мало поэтов-рабочих начинало с крестьянской поэзии — потому ли, что вышли недавно из деревни и сохранили связь с нею, или просто в силу подражания. Интересно в этом смысле первые сборники рабочих-поэтов, вышедшие в Москве пять лет тому назад (1913 г.) и уничтоженные цензурой — «Наши песни», выпуск I и II. Там немалая доля стихотворений, в сущности, чисто крестьянская; еще больше — переходного типа. Стоит сопоставить два — три стихотворения одного автора в их меняющихся оттенках. Вот В. Торский, совсем начинающий поэт:

### Село.

Вот в родимом краю на холме я стою,  
И родное село подо мною легло.  
Дорогих мужиков избы, ставшие в ряд.  
Из зеленых кустов на дорогу глядят.  
И на фоне небес крест церковный горит,  
И березовый лес возле церкви шумит.  
Полевые цветы занестрели вокруг.  
Синей лентой реки подпоясанный луг..  
Облаков хоровод затянул небосвод,  
И одел их закат в переливчатый наряд.

Конечно, это и подражательно, и слабо; но, главное, тут нет ни одного штриха, который хотя бы мог быть намеком на поэта-пролетария; между тем автор из этой среды, а не хозяйственный мужичок, как можно предумать по стихотворению.

### Утро.

Рассветает. Позолотой  
Покрывается восток.  
Сонным рошам шепчет что-то  
Прилетевший ветерок.  
И в своем плаще зеленом,  
Чуя утреннюю дрожь,  
Вместе с ясным небосклоном  
Оживает молодежь.  
Только старый бор сосновый  
Недоверчиво вздохнул,  
И опять к реке багровой  
Кудри хмурые нагнул.

Тоже не очень самостоятельно. Но есть уже намек на новое восприятие мира: лес для автора — коллектив, с разными течениями в нем, разно реагирующими на события природы, а не отдельная героическая личность, как у Кольцова.

### Осень.

Уж шумят вершины сосен:  
«Осень близко».  
И березы загрустили,  
Опустили ветки низко,  
И с тревогой затаенной,  
Шевеля ветвями сонно,  
Как в былые дни не спорят,  
Уж не спорят, только вторят  
Без надежды, без укора:  
«Так скоро».  
Перед ними, как виденья,  
Тихо гаснут в отдаленьи  
Пережитые мгновенья  
Ярко-красочной весны,  
Солнца ласки, ветра сказки,  
Ароматные уборы  
Из цветов и трав душистых  
Голосистых птичек хоры,  
Опьяняющие сны.

И роняют с веток слезы  
Белоствольные березы  
С затаенной в сердце грезой,  
Не целуясь меж собою,  
Не целуясь, не любуясь  
Позолоченной листвою,  
Умирающей мечтою  
Улетает в золотое  
Промелькнувшее былое.

Настроение эпохи реакции; но природа воспринимается глазами коллективиста; его символы — общие переживания леса, а не индивидуальные переживания какой-нибудь березки или сосенки, как в обычной лирике. Правдивые символы говорят об ослаблении связей коллектива в подавляющей его обстановке, о том, как его живые звенья, отдаваясь мечтам — воспоминаниям, уходя в себя, отдаляются друг от друга: вещи, которые не занимают поэта индивидуалиста, не входят в поле его зрения. Конечно, и коллективизм в способе воспринимать и понимать природу такой, как здесь у Торокого, есть только одна часть, одна сторона полного, настоящего, активно-трудового коллективизма.

Другой источник смещения, это солдатские влияния, которым за время войны и революции подвергнулся пролетариат. По основному составу солдаты — те же крестьяне, но оторванные от производства, живущие массами в условиях потребительного коммунизма и обучаемые делу разрушения, или уже его выполняющие. Борьба за мир, вражда к богатым, гораздо менее сознательная и менее бескорыстная, чем у рабочих, временно связали солдат в политический блок с пролетариями, и вызвали тесное общение тех и других — хотя, как общественные типы, они друг другу не родственны, а скорее противоположны по своей роли в жизни. Боевое товарищество привело к тому, что солдатская струя влилась в рабочие газеты, и даже окрасила сознание менее устойчивых пролетарских поэтов. Отсюда — часто в воинственно-революционные мотивы проникала специфически-солдатская окраска, и тем нарушался благородный тон, обязательный для высшего по своим идеалам класса; и внесение в поэзию понятного в жизни, но недопустимого в искусстве духа узкой, лично направленной ненависти к отдельным представителям буржуазии, чувства, извращающего идею борьбы великого класса; и прямые эксцессы.

вроде злорадного издевательства над побежденными врагами, восхваления самосудов, вплоть до садистических восторгов на тему о выдавливании кишек у буржуев, — было, к сожалению, даже это. Разумеется, такие вещи не имеют ничего общего с идеологией рабочего класса. Ей свойственны боевые, но не грубо-солдатские мотивы, непреклонная вражда к капиталу, как социальной силе, но не мелкая злоба против отдельных его представителей — необходимых продуктов своей общественной среды. Пролетариат должен, конечно, браться за оружие, когда этого требуют интересы его свободы, его развития, его идеала; но не даром он борется против той социальной стихийности, которая порождает всякую вооруженную борьбу. То зверское, что вызывает эта борьба в человеческой душе, может, конечно, временно овладевать психикой борцов, но чуждо и враждебно пролетарской культуре, которая допускает только выпущенную суровость. Дух истинной силы есть благородство, а трудовой коллектив есть истинная сила. Он должен стать новой аристократией культуры — последней в истории человечества, первой вполне достойной этого имени.

Еще одну пограничную линию для пролетарского искусства папа квинтиа должна провести со стороны интеллигентского социализма. Здесь смещение происходит очень естественно и особенно легко, благодаря близости идеалов. Но все же различия глубоки и важны.

Трудовая интеллигенция вышла из буржуазной культуры, над ней и для нее работала, на ней воспиталась. Ее принцип — индивидуализм. И самый характер интеллигентского труда поддерживает эту тенденцию: в работе ученого, артиста, писателя сотрудничество не ощущается непосредственно, роль коллектива остается вне поля зрения, преобладает внеличный вид обособленности, иллюзия вполне самостоятельной личной деятельности. Когда же налицо очевидное сотрудничество, тогда интеллигент обыкновенно занимает авторитарное положение руководителя, организатора работы: инженер на фабрике, врач в больнице, п. т. п. Отсюда и элемент авторитарности, который вообще неизбежно сохраняется в буржуазном мире и его культуре, как организационное дополнение к их основной анархичности.

Благодаря всему этому, большей частью даже тогда, когда трудовой интеллигент возвышается до искреннего и глубокого сочувствия рабочему классу, до веры в социалистический идеал, прошлое сохраняет свою силу в его способе мыслить, в его восприятии жизни, в понимании сил и путей ее развития.

Пример — драма Верхарна «Зори», которую не только всегда называют первой при вопросе о репертуаре пролетарского театра, но считают возможным ставить в нем без всяких истолкований и комментариев, как вполне «свою». Это ошибка. Пьеса прекрасна, и является драгоценным наследством для нас, но все же — наследством от старого мира. В ней дух социализма одет в авторитарно-индивидуалистическую оболочку, которую надо понять и нельзя просто принять. Все построено на героической личности народного трибуна, ведущего за собою массы; она — душа борьбы и победы, без нее массы темны и слепы, неспособны найти свой путь; ее трагедия для самого автора составляет главный интерес всей пьесы. Так понимает значение личности старый мир; коллективизм иначе строит жизнь, иначе освещает ее. Он, конечно, признает героев, и более того — он создает их, но как воплощение силы коллектива, как выразителей его общей воли, как истолкователей его идеала.

А поскольку отношение к вождям иное, постольку коллектив, значит, не созрел до ясного сознания самого себя.

Великий бельгийский скульптор, К. Мёнше, в своих статуях, изображающих жизнь и быт рабочих, дал настоящий культ труда; но при всей глубокой любви художника к изображаемому, при всем его сочувственном понимании — это еще не есть культ коллектива. Заслуга остается огромной; однако, художник-пролетарий должен знать: это не готовое руководство для него, его задачи лежат дальше.

Художественное самосознание рабочего класса должно быть чистым и ясным, свободным от чуждых примесей: это первая забота нашей критики.

## II.

Наша критика пролетарского искусства должна направляться на его содержание прежде всего.



Зарождающемуся искусству класса молодого, и притом живущего в тяжелых условиях, неизбежно свойственна известная узость содержания, вытекающая из недостатка опыта, из вынужденной ограниченности поля наблюдений. Так, беллетристика сначала здесь поневоле берет все свои темы и материал из быта самих рабочих да еще интеллигентов-революционеров, связанных с ними; только мало-по-малу, до сих пор весьма незначительно, расширяет она свою область. Между тем, несомненно, что пролетарское искусство должно захватить в поле своего опыта все общество и природу, всю жизнь вселенной.

Что может в этом отношении сделать наша критика? Конечно, она не в силах непосредственно дать юному искусству то, чего ему не хватает. Но она может и должна постоянно ставить перед ним задачу расширения его области, может и должна отмечать каждый успех в этом смысле, и указывать новые, связанные с ним возможности. А косвенную, но очень действительную помощь таким успехам она окажет путем сопоставления, всюду, где для него представится случай, произведений пролетарского искусства с однородными по «художественной идее», т.-е. по разрешаемой организационной задаче, произведениями старого искусства. Там и материал, и поле зрения, и часто самый принцип решения задачи окажутся иными.

Особенно это относится к излюбленным вопросам классической литературы — об устройении семьи, о борьбе «низших» и «высших» мотивов в человеческой душе, о господствующей страсти, увлекающей человека, о воспитании характера, и т. п.

Нередко те же или однородные задачи уже ставились и так или иначе разрешены наукою, философией. Критика должна указывать и сопоставлять эти решения с художественными: великий коллективизм всечеловеческого опыта, скрытый под оболочкою мира науки, во многих случаях явится драгоценным руководителем для молодого, ищущего и колеблющегося творчества.

Узость художественного содержания может заключаться не только в ограниченном захвате организуемого опыта, но и в суженном, одностороннем восприятии, в ограниченности основного отношения к материалу опыта. Тут особенно типично чрезмерное сосредоточение на точке зрения социальной борьбы, сведение искусства к организующе-боевой роли. Оно как нельзя более

естественно для класса юного и борющегося, притом в самой тяжелой обстановке; оно даже необходимо на первых шагах развития класса, когда он еще только самоопределяется через сознание своей противоположности другому классу общества, и вырабатывает боевую сторону своей идеологии. Но затем, так же неизбежно, эта точка зрения становится недостаточной.

К своему идеалу рабочий класс идет через борьбу; но идеал этот — не разрушение, а новая организация жизни. И притом невиданно-новая, неизмеримо-сложная и небывало-стройная. Следовательно, культура боевого сознания сама по себе не дает главного средства решения задачи; необходима выработка идеологии социально-строительской. В этом направлении уже идет пролетарская наука, в этом же направлении должно развиваться пролетарское искусство, тем с большей энергией и скоростью, чем больше рабочий класс будет приближаться к осуществлению своего идеала.

В современной пролетарской поэзии у нас резко преобладает агитационное содержание. Среди тысяч стихотворений, призывающих к классовой борьбе и прославляющих победы в ней, среди сотен рассказов с обличением капитала и его прислужников, тонет все остальное. Это надо изменить. Часть не должна быть целым. Всестороннее углубление в жизнь, правда, много труднее атаки для прорыва неприятельской линии; но в деле социализма оно еще необходимее, потому что только всестороннее понимание жизни, ее конкретных сил и ее путей даст опору для всеобъемлющего практического творчества в ней.

Граждански агитационное сужение поэзии неблагоприятно отражается на самой ее художественности, которая по существу и есть ее организующая сила. Развивается господство шаблона, — как удержаться оригинальности в тысячах повторений? — и притупляется сочувственное восприятие, сливающее массу с поэтом.

Затем, и когда содержание уже разворачивается дальше, оно часто все-таки еще понимается под прежним углом зрения, уже, чем оно есть. Так, в недавно вышедшей книге А. Гастева главной темой произведений является машинное производство, его гигантская организующая сила, та связь, в которую оно объединяет трудовой коллектив, и то могущество, власть над стихиями, которую

оно ему дает. Это одна из основных идей культурно-творческого пролетарского сознания; а Гастев назвал свою книгу «Поэзия рабочего удара», как будто его задача не выходит за пределы боевого сознания пролетариата. Ибо очевидно, что слова «рабочий удар» у всякого, особенно в обстановке бурной революции, вызовут представление о социальной битве, а отнюдь не об ударе, напр., молотка, который к тому же и вообще недостаточный символ для машинной техники.

Агитационное сужение художественных идей сказывается также в том, что капиталистов и примыкающих к ним буржуазных интеллигентов изображают в таких тонах, словно это люди лично злые, жестокие, бесчестные, и т. д. Такое понимание наивно и противоречит коллективистическому методу мышления. Дело вовсе не в личных свойствах того или иного буржуа, и не против отдельных лиц должно направляться революционное чувство, революционное усилие. Дело в позициях классов, и борьба ведется против социальной системы, против коллективов, с ней связанных и ее защищающих. Капиталист лично может даже быть и благороднейшим человеком; но, поскольку он представитель своего класса, его действия и мысли будут необходимо определяться его социальной позицией. Для сознательного пролетария даже в момент боевого столкновения он враг не как личность, а как слепое звено в цепи, которую сковала история. Для победы над старым миром полезнее понять его в лучших его представителях и в высших его проявлениях, чем воображать, что там все злые люди и дурные мотивы. Коллективная мысль и воля рабочего класса не должны размываться на мелочи.

В близком родстве с тем же агитационным сужением творчества находится одна недавно возникшая теория, по которой пролетарское искусство непременно должно быть «жизнерадостным» и восторженным. К сожалению, она имеет несомненный успех, особенно среди наиболее молодых и неопытных пролетарских поэтов, хотя иначе как детской назвать ее нельзя. Гамма коллективно-классового чувства не может и не должна быть так ограничена. Без сомнения, трудовому коллективу свойственно живое и яркое ощущение своей силы; но не надо забывать, что и сила иногда терпит поражения. Искусство должно быть прежде всего

до конца искренним и правдивым, именно как организатор жизни: кого и что может организовать тот, кому не верят?

В мае нынешнего (1918) года вы читаете в рабочей газете такие стихи:

Иду я в сияньи солнца и весны...  
Цветами алыми горит простор.  
Сбылись несбыточные сны,  
И души в высь вознесены,  
Как мощные вершины гор.  
Какие дни, какой простор!..  
В полях, в змеящихся ручьях,  
В хрустальных зорях, в думах вечеров.  
В крикливо-гулких поездах,  
В улыбках лиц, в гирляндах слов—  
Как бисер в алых лепестках цветов,  
Сверкает радость в наших днях.  
До дна, до недр своих глубин  
Я алой радостью и солнцем напоен... и т. д.

Это те дни, когда в нашей стране, действительно, «сбылись несбыточные сны», и притом весьма «алые» сны — немецких империалистов, чему пролетариат не имел силы помешать. Это дни тяжелых испытаний и бедствия нашей революции, дни свирепого надругательства над нашими братьями на Украине, Кавказе, в Финляндии, Прибалтике, дни мучительного утомления от огромных, подавляющих задач в нашем краю, дни разрухи и голода, — дни полного расцвета всего проклятого наследия войны... Да, отчаянье недостойно борцов; но фальшь розовых очков еще более их недостойна: она — отрыв, бегство от действительности, лживая маска того же отчаяния...

Это низводит пролетарскую поэзию до уровня той, которая ставила своим девизом:

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.

Нет, не сладкие славословия, а непреклонная воля и историческая гордость — вот что нужно окруженному врагами со всех сторон пролетариату:

*Si fractus illabatur orbis,  
Impavidum ferient ruinae.*

«Пусть рушится мир — он бестрепетно встретит удары облом-

ков». Древний поэт - индивидуалист знал, что есть истинное мужество. Тем более должен знать это поэт нового коллектива.

Во всей своей регулирующей работе наша критика пролетарского творчества должна постоянно иметь в виду одно: дух трудового коллективизма есть прежде всего — объективность.

### III.

Критика пролетарского искусства со стороны его формы должна преследовать одну, вполне определенную и ясную задачу: полное соответствие этой формы с содержанием.

Художественной технике пролетариат должен, конечно, прежде всего учиться у своих предшественников. При этом, естественно, является соблазн — брать за образец самое последнее, что выработано старым искусством. Тут легко впасть в ошибки.

В искусстве форма неразрывно связана с содержанием, и именно потому в ней самое последнее не всегда бывает наиболее совершенным. Когда общественный класс выполнил свою прогрессивную роль в историческом процессе и склоняется к упадку, тогда неизбежно упадочным становится содержание его искусства; а за содержанием следует, приспособляясь к нему, и форма. Вырождение господствующего класса обыкновенно совершается на основе перехода к паразитизму. Следом за ним идет пресыщение, притупление чувства жизни. Из нее выпадает главный источник нового, развивающегося содержания — социально-творческая деятельность; жизнь пустеет, теряет «разумный», т.-е. именно социальный смысл. Пустоту стараются заполнить исканием новых и новых наслаждений, новых и новых ощущений. Искусство организует эти искания: с одной стороны, по пути возбуждения угасающей чувственности уходит в декадентские извращения; с другой стороны, по пути утончения и изопрения эстетических восприятий начинает до крайности усложнять и массой мелочных ухищрений стремится изукрасить свои формы. Все это не раз наблюдалось в истории, при упадке разных культур — восточных, античной, феодальной; наблюдалось и за последние десятилетия, на почве разложения буржуазной культуры: большинство напра-

владельцев декадентствующего «модернизма» и «футуризма». Русское буржуазное искусство плелось за европейским, как и сама наша буржуазия, худосочная и дряблая, умеющая отцветать без настоящего расцвета.

Учиться художественной технике в общем и основном следует не у этих организаторов жизненного распада, но у великих работников искусства, порожденного подъемом и расцветом ныне отживающих классов, — у революционных романтиков и у классиков различных времен. А у «последних» можно учиться только мелочам, в которых они, правда, нередко большие мастера, — но и то с осторожностью, с оглядкой, чтобы, соприкасаясь с ними, не набраться зародышей гниения.

Печально видеть поэта-пролетария, который ищет лучших художественных форм, и думает найти их у какого-нибудь кривляющегося интеллигента-рекламиста Маяковского <sup>1)</sup>, или еще хуже — у Игоря Северянина, идеолога альфонсов и кокоток, талантливое воплощение лакированной пошлости. У нас были великие мастера, которые достойны быть первыми учителями форм искусства для великого класса.

Простота, ясность, чистота формы этих великих мастеров — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого — всего больше соответствуют задачам нарождающегося искусства. Конечно, новое содержание выработает неизбежно и новые формы; но исходить надо из лучшего, что было. Из новейших же надо изучать близких по духу и художественно-устойчивых, как Горький, а не далеких и изменчивых, которые то приходят, то уходят, как Андреевы, Бальмонты, Блоки и пр.

Наша рабочая поэзия на первых шагах обнаруживала страсти к правильно-ритмическому стиху с простыми рифмами, теперь она обнаруживает все больше склонности к свободным ритмам и сложно переплетающимся, новым, часто неожиданным рифмам. Тут явно сказывается влияние новейшей интеллигентской поэзии; вряд ли его можно приветствовать. Новые формы труд-

---

<sup>1)</sup> Несомненные талант и сила Маяковского, конечно, не в этих специфических особенностях его формы.

(Прим. 1924 г.).

нее; борьба с ними — лишняя затрата сил, отвлекающая от главного, от выработки и развития художественного содержания.

Пусть будет даже некоторое однообразие в правильности. У него есть основания в самой жизни. Гаосчий на заводе живет в царстве строгих ритмов и простой, элементарной рифмы. Среди «стального хаоса» станков и движущих машин переплетаются волны разных, но в общем механически-точных ритмов; при этом непрерывность более мелких и частых пересекается более редкими и тяжелыми, как цезурой или рифмой в стихе. Эти звуки своими бесконечно повторяющимися ударами выковывают по своей мере словесные образы, в которых работник с артистической натурой стремится вылить свои переживания.

Впоследствии, когда работнику станут более доступны ритмы живой природы, где меньше механической повторяемости и правильности, это однообразие сгладится само собою. Но преодолевать его путем подражания поэтам чуждой среды и обстановки — задача лишняя, увеличивающая трудности там, где их и без того много. Не случайно лучший до сих пор поэт-рабочий, Самобытник, не пошел по этому пути.

Самая трудная для молодой поэзии форма — это стихотворение в прозе. Отказываясь от рифмы и от явного ритма звуков, оно требует зато тем более строгого ритма образов, а в то же время и достаточной стройности звуковых сочетаний. Эти требования далеко не вполне выдерживаются в работе А. Гастева «Поэзия рабочего удара», где преобладают как раз стихотворения в прозе. Тут сказалась неопытность молодого творчества, увлекающегося на слишком трудные пока еще для него пути, может быть, просто по незнанию их действительных трудностей. Наша критика может дать большое сбережение художественных усилий, выясняя скрытые трудности разных форм, — вопрос, которым мало интересуется старая теория искусства.

Насколько вообще необходимо новым работникам искусства знание его теории, тому живой пример — издательское недоразумение с произведением Бессалько «Катастрофа». Книжка названа «романом», тогда как на деле это большой рассказ. Различие этих форм, довольно смутное в обычных теориях словесности, наша критика может выяснить сравнительно легко и точно. Постановка и решение организационной задачи в рассказе имеет э п и з о д и-

ч е с к и й характер; в данном случае автор хотел показать, как дезорганизуется разнородный по составу революционный коллектив в обстановке крайнего угнетения и невозможности действовать. Если бы автор ставил и решал задачу в с и с т е м а т и ч е с к о й форме — выяснял бы происхождение и развитие разных элементов революционного коллектива, условия, временно связавшие их воедино, объективную необходимость разложения и распада, и притом именно по таким, а не иным направлениям, — то это был бы роман. Дело, разумеется, не в объеме: маленький роман может быть меньше большого рассказа.

Наша критика на своем живом деле создаст шаг за шагом новую теорию искусства, в которой найдет себе место и все богатство опыта старой критики, но пересмотренное и заново систематизированное на основе высшей точки зрения, всеорганизационной.

Надо заметить, что в иных случаях критика формы совершенно неотделима от критики содержания, фактически переходит в нее. Это особенно относится к вопросу о художественных символах. Такой символ есть живой образ, который служит особого рода знаком для целого ряда других, связанных с ним образов, средством одновременно и организованно ввести их в сознание. Так, Тень отца Гамлета есть символ глухих отзвуков преступного дела, постепенно распространяющихся в социальной среде и раскрывающих его тайну, Великий Город в «Звездах» Верхарна есть символ всей организации капиталистического общества и т. п. Но, как живой образ, а не голый знак, такой символ имеет и свое собственное содержание, которое воспринимается, притом, в первую очередь. Тень есть призрак, Великий Город — какая-то столица. Это содержание само подлежит всем законам искусства и соответственной критике. Если бы, напр., Тень отца Гамлета вела себя не так как в народной фантазии полагается вести себя призракам, то получилась бы грубая нехудожественность. «Синяя птица» Метерлинка, при всей глубине своей идеи, не была бы великим произведением, если бы ее символы сами по себе не составляли красивой, стройной сказки, которая так нравится детям.

Наша критика, разумеется, должна касаться символов и с этой этой стороны, начиная с самого выбора символов.

Наше жестокое, грубое время — эпохи милитаризма в дей-



ствии — подсказывает художникам часто жестокие и грубые символы. Напр., положим, рабочий-беллетрист, чтобы особенно резко и строго выразить идею отказа от всего личного во имя великого коллективного дела, символизирует ее в убийстве героем любимой и сочувствующей ему женщины. Критика должна сказать, что такой символ недопустим: он противоречит самой идее коллективизма, женщина для коллективиста — не просто источник личного счастья, а действительный или возможный член того же коллектива. Или, напр., увлекшийся поэт, желая выразить готовность бороться со старым миром до конца, не останавливаясь ни перед какими, самыми страшными и тяжкими жертвами, угрожает:

«Во имя нашего Завтра—сожжем Рафаэля,  
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы».

Один товарищ рецензент правильно, но слишком мягко по этому поводу заметил, что тут — «психология, а не идеология»; т.-е., что поэт, отдаваясь потоку своего чувства, забыл о социальной организующей роли искусства. Это символ в духе солдата, а не рабочего. Солдат может и должен бомбардировать Реймский собор, если там находится или предполагается неприятельский наблюдательный пункт; но что заставляет поэта выбрать этот гинденбургский образ? Поэт мог бы только сожалеть о столь жестокой необходимости, но не воспевать ее. Когда самое творчество настолько плывет по течению, это не возвышает его. Пролетарий никогда не должен забывать о сотрудничестве поколений, которое противоположно сотрудничеству классов в настоящем. — он не имеет права забывать об уважении к великим мертвецам, которые проложили нам дорогу и завещали нам свою душу, которые из могилы протягивают нам руку помощи в нашем стремлении к идеалу.

В вопросах формы искусства, как и в вопросах его содержания, наша критика должна постоянно напоминать художнику об его ответственной роли, как организатора живых сил великого коллектива.

#### IV.

Критика является регулятором жизни искусства не только со стороны его творчества, но и со стороны восприятия: она

истолковательница искусства для широких масс, она указывает людям, что и как они могут взять из искусства для устройства своей жизни, внутренней и внешней.

По отношению к искусству старого мира наша критика принуждена даже и ограничиться этой задачей: регулировать его развитие она не может. Но по отношению к новому, нашему искусству та и другая задача одинаково насущны и огромны.

Тут дело вовсе не только в том, чтобы раскрыть символы, когда они могут быть не поняты, объяснить то, скрытое в образах, чего, может быть, и сам художник не сумел бы для себя точно формулировать, сделать все выводы, до которых сам он, может быть, не успел дойти. Критика должна также указать и те новые вопросы, которые выступают на основе результатов, достигнутых произведением, и те новые возможности, которые из него исходят. Но самое важное — критика должна ввести для массы новое произведение в систему классово-культурной связи, в общую связь пролетарского мироотношения, в живых образах, конкретных и потому частных, найти и показать мировой смысл, раскрываемый всеорганизационной точкой зрения.

Здесь лежит путь, на котором наша критика сама превращается в творчество.

## Простота или утонченность.

(1920<sup>1</sup>).

Художественное творчество свободно. Предписывать, навязывать ему простоту формы или требовать утонченности—было бы нелепо. Но если мы знаем, из какого жизненного содержания художник исходит, для какого материала он ищет формы, то, опираясь на научную теорию, вполне возможно заранее определить, какая из двух тенденций является естественной в данном случае, а, следовательно, и наиболее соответствующей задаче; а отсюда получатся выводы о вероятности успеха и неуспеха работы, идущей в том или другом направлении. Таким способом научная критика может облегчить искания художника.

Пролетарская поэзия только нарождается; в своем развитии она неизбежно должна выработать новые собственные формы; они еще не определились, они — предмет исканий. Но уже известно, по крайней мере, в своей общей характеристике, ее основное содержание. Оно—вся жизнь рабочего класса: его мироощущение, миропонимание, практическое мироотношение, стремления, идеалы. Это именно то, что новый художник должен выражать, организованно воплощать в образах, создавая из их ткани новую живую связь для всего классового коллектива, связь, способную дальше расти и расширяться до общечеловеческой. Таково содержание, для которого требуются формы.

Исходить в выработке своих форм пролетарскому художнику приходится во всяком случае из чужих, из тех, которые даны старой культурой; иначе нельзя, потому что других нет: каждый

---

<sup>1</sup>) Статья из «Пролет. Культуры», №№ 13—14, дополненная частью рецензии на ту же тему, напечатанной около того же времени.

класс учится у своих предшественников, чтобы, пользуясь их средствами, развить свою силу, свои новые средства труда и творчества,—и тогда, конечно, отбросить прежние. Но старое многообразно: где учиться, чего искать? И здесь выступает, в ряду других, вопрос о простоте и утонченности: та и другая широко представлены в художественных формах прошлого и настоящего. Практически, решить в пользу простоты, значит — учиться, главным образом, у великих мастеров прошлого, отчужденных от нас рядом десятилетий, иногда целыми столетиями, таких, как, положим, Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шиллер, Гете,—и у тех, кто из позднейших ближе к ним в этом. Новейшие же школы старой культуры, сосредоточиваясь особенно на разработке формы, довели ее до такой сложности и утонченности, о каких и не помышляли их великие предшественники; стоит только сравнить хотя бы русских модернистов—Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого и других—с их общим учителем—Пушкиным.

И так, вот новое содержание, входящее в жизнь; оно огромно по масштабу, исходя из миллионных масс; оно грандиозно по значению, заключая в себе невиданно-революционную тенденцию в труде и борьбе всего человечества; оно ново, неразработано, намечается грубо, проявляется сурово, стихийно. Как бы громадными глыбами обрушивается оно на старую жизнь, потрясая ее в самых основаниях. Что же, возможно вместить его в утонченные, филигранные формы, до которых довели свое искусство художники отживающего, внутренне пустеющего, мельчающего мира? Достаточно отчетливо поставить вопрос, чтобы ответ был ясен. Конечно, нет. Только в могучей простоте форм найдет новый художник решение своей задачи; он не ювелир, он кузнец в мастерской титанов.

Валерий Брюсов издал, под названием «Опыты», сборник образцов поэтической техники. Первый же из этих образцов начинается так:

Моря вязкий шум,  
Вторя пляске дум,  
Злится—где-то, там...  
Мнится: это к нам  
Давний, дальний год  
В ставни спальни бьет...

и т. д.—рифмы в каждом слове. А дальше—стихи с рифмами в середине, в начале, трехсложными, пятисложными, семисложными с меняющимся ударением, и т. д.; самые необыкновенные размеры, стихотворения в виде треугольника, и такие, которые можно одинаково читать от начала к концу, или обратно, и пр., и пр. Мыслимо ли с подобными ухищрениями совместить не то что великое, а сколько-нибудь значительное, даже хоть просто разумное содержание? И если даже не идти до таких крайностей, но вообще стремиться к усложнениям и тонкостям формы, то не будет ли это неизбежно лишней растратой сил, ослабляющей дух работы, и тем самым принижаящей ее смысл? Разве не придется поэту, ради каких-нибудь трудных звуковых соотношений, жертвовать внутренней жизнью образов и идей, подбирая слова к словам?

Форма, художественная, как и всякая иная, имеет организационное значение. Это не что иное как способ стройно сочетать элементы содержания, т.-е. организовать его материал. Всегда и всюду способ организации зависит от подлежащего ей материала; форма не может не зависеть от содержания. И если усложненность формы соответствует содержанию уже развитому, но мельчающему, упадочному,—то простота, характеризующая великих мастеров, связана именно с содержанием грандиозным и развивающимся, или высоко развившимся, но еще не приходящим в упадок. Гете и Шиллер, а у нас Пушкин, Лермонтов отразили нарождение и рост новых условий и новых сил жизни, подъем буржуазной культуры, отгеснявшей и подчинявшей себе старую, феодально-аристократическую. И с этой стороны они, конечно, более родственны работникам нарождающейся пролетарской культуре, которая, в свою очередь, должна сменить всю прежнюю, растворивши в себе лучшие ее элементы.

Как развитие капитализма заключало в себе нарождение и рост не только капитала, но и пролетариата, так и буржуазная культура в своей восходящей фазе скрывала в себе, хотя еще тогда и неуловимые, зародыши и возможности иной, высшей культуры. Капитализм развивал связь мирового сотрудничества; и как ни маскировалось оно его анархической борьбой от сознания людей,—но великие организаторы чувства и мысли силою своего

гения разрывали иногда эту завесу и поднимались до предчувствия, до смутного понимания коллективистического идеала. Поразительнее всех Гёте. Он изобразил в «Фаусте» скитания человеческой души, которая ищет гармонии с миром, стройно-целостного существования. В чем же она его, после долгих усилий и многих попыток, наконец, находит? В труде, и труде не для себя, а на пользу коллектива, человечества. Тут еще нет, разумеется, завершённой формы коллективизма, нет идеала товарищеской связи,—но есть такое приближение к нему, которое выходит далеко из рамок буржуазного сознания. Более того, Гёте способен был возвыситься до коллективистического понимания труда вообще, и даже там, где для индивидуалиста оно всего более недоступно и неприемлемо—по отношению ко всему делу своей собственной жизни. Вот, что говорил он о себе за два месяца до смерти:

«Что такое я сам? что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, подмечал. Мои труды вскормлены тысячами различных людей, невеждами и мудрецами, умными и глупыми; детство, зрелый возраст, старость—все приносило мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свой уклад жизни; часто я снимал жатву, посеянную другими. Мое дело—труд коллективного существа, и он носит имя Гёте<sup>1)</sup>».

Много ли даже теперь найдется социалистов, которые умели бы так объективно понимать роль своей личности в процессе труда и развития общества? И не ясно ли, что для нас, коллективистов, такие гении прошлого являются лучшими учителями, несравненно более близкими и родными, чем их вырождающиеся эпигоны?

Есть и новейшие великие поэты, близкие пролетариату, хотя и не являющиеся пролетарскими поэтами,—поэты трудовой демократии, социалисты интеллигенты: бельгиец Верхарп, латыш Райнис. Их связывает с рабочим классом общий идеал; но стать прямыми выразителями и организаторами пролетарского художественного сознания они не могли, потому что воспитались и вы-

<sup>1)</sup> Приведено в печатающейся теперь работе тов. Лихтенштадта (Мазина), убитого в прошлом году на северо-западном фронте. Заглавие: «Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение». Работа во весь рост рисует фигуру Гёте, как великого натуралиста и передового мыслителя своего времени.

росли в ином мире. И они, конечно, для наших молодых пролетарских поэтов учителя гораздо лучшие, чем все наши, новейшие декаденты, модернисты, футуристы и пр., хотя бы и перешедшие со вчерашнего дня на сторону революции <sup>1)</sup>).

Посмотрите, каковы даже крупнейшие из этих эпитонов, до чего они неустойчивы и ненадежны в своем содержании. Во времена спокойно-реакционные они заняты всецело индивидуальными переживаниями — эстетическими, эротическими, мистическими и т. д. Вспыхивает война, и они уже кровавые патриоты; приходит революция—и они охвачены пылом борьбы за высшие идеалы; затем злая реакция,—и снова эротика, вплоть до всевозможных извращений, мистика, теософия, и пр. и пр. Зинаида Гиппиус, лучше чем кто-либо их знающая, потому что сама принадлежит к их поколению, так характеризовала их поведение во время войны:

Хотелось нам тогда, чтоб помолчали  
Поэты о войне,  
Чтоб пережить хоть первые печали  
Могли мы в тишине..  
Куда тебе! Поделались зверями:  
Война, войне, войны!..  
И крик, и клич, и хлопанье дверями,—  
Не стало тишины..  
А после вдруг—таков уж их обычай—  
Военный жар исчез:  
Изнемогли они от грозных кличей,  
От собственных словес.  
И юное до временно состарив,  
Идут, бегут назад,  
Чтоб снова петь в тумане прежних марш  
На прежний лад..

Вопрос о «тишине», интересующий утомленную поэтессу, сам по себе, конечно, маловажный, помог ей хорошо оттенить постоянное стремление этих поэтов идти «по линии наибольшего шума». А когда линия оканчивается, они поворачивают туда, где в сущ-

<sup>1)</sup> Верхарна у нас еще более или менее знают по переводам Вал. Брюсова и других; Райнис же совсем мало известен, — есть немногие переводы в «Латышском сборнике», изд. Горького. Но теперь печатается большая монография о нем [тов. П. Г. Дауге, которая ближе с ним познакомит нашу публику.

ности, и лежат источники их поэзии, к «туману прежних марев», к смутным переживаниям разлагающейся интеллигентской души. Так было с их зоологическим «военным жаром», будет и с революционным пылом, потому что это не случайность: «таков уж их обычай», вернее, их социальная природа. И все юное быстро старится в их устах, всякое, даже великое содержание становится мелким и эфемерным в их ювелирно-отделанных формах... И у них-то учиться пролетарским поэтам?

И, однако, это бывает. Что же тогда получается? Вот маленькая брошюра, издание Московского Пролеткульта,—поэма М. Герасимова «Монна Лиза». Герасимов по своему прошлому настоящий индустриальный пролетарий, металлист. Дарование поэтическое, у него, несомненно, есть; это видно по его прежним произведениям; да и в той же «Монне Лизе» немало ярких и живых образов, стройных и звучных сочетаний слов. Но это—типичный продукт ученического подчинения тем поэтам, которые, хотя учились у великих мастеров, выразивших великое жизненное содержание, сами, за недостатком такого содержания, посвятили себя всецело на служение форме. Вл. Ходасевич, разбирая стихотворческую технику Герасимова (в журнале «Горн», № 2—3), указывает, как на его прямых учителей, на Бальмонта, Брюсова, Белого, отмечая, что только через них слышатся у него косвенные отзвуки наших классиков; Львов-Рогачевский отмечает еще А. Блока, «под очевидным влиянием которого написана Монна Лиза» (особенно по отношению к замыслу и построению поэмы).

Первое, что поражает при чтении, это крайняя неясность, туманность формы. Трудно уловить не только общую художественную идею, но даже непосредственное содержание поэмы. Сразу очевидно, что поэма написана не только не для рабочих вообще, а даже и не для передовых пролетариев: они не станут ломать головы над метафорами и намеками автора, а пройдут мимо, как занятые люди. Приведу целую маленькую главу (пятую),—что в ней хотел сказать автор?

На гулких улицах столицы  
Дрожали зябко фонари,  
Скользят от них в асфальтах птицы  
И перья утренней зари.

Долбили многозвонным эхом  
Копыта огненный гранит,



А Монна Лиза тайным смехом  
Спалалила синеву ланит.

На вздрагивающие плечи,  
На розовеющий гранит  
От фонарей упали свечи  
В окладах золотистых плит.

Лицом к заплыванной панели  
Поник в гранит моей тюрьмы.  
Заводские гудки пропели  
Проникновенные псалмы.

Как ток, призыв сирены ранний  
Пронзил неласковые дни,  
А в корпусах фабричных зданий  
Зажглись железные огни.

Электропламенные токи  
Ее пылающей руки  
Свивают снова с труб высоких  
Мимоз венчальные венки.

И приблизительно так написана вся поэма. Читается вроде ребуса: есть образы, иные даже яркие, но связь их непонятна, а частью они непонятны и сами по себе, дешифруй, кто хочет. Может быть, специалисты по новейшим школам «туманов» и «марев» сразу поймут; но много ли таких специалистов, и стоит ли для них писать? А если нет, то для кого? Или только для себя, чтобы «вылить свою душу», «свое настроение»? Но тогда зачем печатать? И главное, пролетарский поэт, не изменяя себе, не может стать на эту точку зрения; она противоречит его классовой природе—духу коллективизма.

Поэт прежнего типа, по существу, также идеолог некоторого коллектива—класса или группы. Но как он относится к этому коллективу, своей «публике»? Сознает ли он свою связь с ним, отдает ли ему свою душу, понимает ли себя, как его выразителя и работника-организатора? Нет, потому что те классы и группы, построенные из обособленных личностей, чуждых друг другу, частью равнодушных, а частью и ожесточенно борющихся между собою за мелкие интересы, не могут порождать в своем идеологе чувства живого единства с коллективом. Там «публика» для поэта либо просто неизвестная величина, либо отчасти известная, но входящая в его расчеты лишь как орудие его карьеры, нередко

даже—«чернь», неспособная вполне понять и оценить его творчество. Гёте в посвящении к «Фаусту» говорит:

Неведомой толпе пою я гимн священный,  
Чья самая хвала чужда мне и страшна.

(Перевод Холодковского).

А вспомните, как Лермонтов характеризовал ту ближайшую публику, которая окружала Пушкина и его самого, через головы которой они говорили к неизвестному читателю: «Презренные потомки известной подлостью прославленных отцов». Понятно, что о такой публике желательно как можно меньше думать, в процессе творчества ее необходимо вполне забывать, «творить» всецело из себя и для себя; и если поэт чувствует, что его дело шире и выше его маленького «я», то приписывает его «вдохновению», «Музе»—фетишам, под которыми скрывается голос коллектива, его опыт, его стремления, идеалы.

Иное—поэт пролетарский. Он воспринимает свой класс через ближайшую товарищескую среду—своей фабрики, союза, партии; для него это не просто чужие люди и не досадные конкуренты, среди которых надо пробиться, а сотрудники в деле жизни, и так как он поэт, то он чувствует это непосредственное и сильнее других. Если же этого нет, то он сколько угодно может быть и пролетарием и поэтом, но пролетарским поэтом он не будет. Пролетарский поэт, следовательно, носит в себе свой коллектив, сливается с ним душою, с ним работает в поэтическом творчестве, как во всяком другом труде и борьбе. Стремление быть ясным для него неизбежно; ибо ясность—это доступность коллективу, это элемент коллективизма.

«Моя Лиза» не есть произведение пролетарской поэзии, хотя она и написана пролетарием, хотя в ней есть и картины завода и прославление рабочего восстания, все что официально полагается. Всего этого мало. Внутренним сотрудником автора, регулятором его работы не был живой образ его коллектива. Этот образ был замещен представлением о тех немногих знатоках-ценителях, которые сами умеют говорить разукрашенными стихотворными ребусами, а среди пролетариев таких нет, да едва ли и будут.

Для кого еще могла быть написана такая глава (девятая)?

Подснежник нежно нежится  
В журчании ручейка,  
Овражик чутко снежится,  
Оранжева река.  
    Жасмином жгуче-женственным  
    Ужалена душа,  
    Восторженным, торжественным  
    Зажглась у палаша.  
Ресницы жадной влажатся,  
Гляжу на журавлей,  
Как радужно миражатся  
Над кружевом полей.  
    Завод железный жертвенно  
    Возжег насхальность свеч,  
    Как хочет сердце жертвенно  
    В цветы ржу труб облець!  
Нежданнами мимозами  
Я жгуче озарен,  
К душе, зажженной розами,  
Прижму железа звон.  
    Подснежник нежно снежится  
    Пред хижинною грез,  
    Овражек цветом нежится,  
    Росой жемчужных слез.  
Под снегом жизнь рождается  
У ржавого креста.  
Блаженством отражаются  
Джокопдовы уста.

Ясно, что тут все дело не в содержании, не в смысле, которого места, повидимому, и вовсе нет,—а в стихотворном фокусе аллитерации, с повторением раз 70—80 буквы «ж». Поэт хочет подняться на неизмеримую высоту тех новейших мастеров, которые умеют писать стихи справа налево и слева направо, в форме треугольника и Пифагорова чертежа. У рабочего класса иные задачи.

Поэт, конечно, свободен. Хочет ставить себе такие цели — его дело. Но—увь!—он и их не достигает.

В первом же стихе—грубая ошибка против технической грамотности, ребяческий плеоназм «нежно нежится», вроде «масла масляного». Этого не сделали бы означенные «великие мастера». И в дальнейшем наборе слов есть сочетания прямо неудобочи-

таемые («в цветы ржу труб облечь») или до комизма нескладные («ресницы жаждой влажатся, гляжу на журавлей, как радужно миражатся», «к душе прижму звон» и т. п.). Фокус выполнен плохо. Пожалуй, не лучше, чем известная аллитерация какой-то старой грамматики в упражнениях на букву ять:

Бедный, бледный, белый бес  
Убежал, сбесившись, в лес..., и т. д.

Но то, по крайней мере и не называлось поэмой.

Тут — другая важная вещь. Если бы подобные ухищрения и были на что-нибудь нужны пролетарской поэзии, то гнаться за ними, не усвоив еще технической грамотности, во всяком случае неразумно. «Монна Лиза» написана малограмотно: масса элементарных ошибок.

В раньше приведенной главе с первых же строк: фонари дрожали, а от них птицы в асфальтах скользят, и тут же опять — копыта долбили. Прямо раздражающее спутыванье времен, которое портит всякое впечатление; и оно повторяется чуть не на каждом шагу. Или в седьмой главе: «А небо, чем земля печальней, притягивает и манит», и т. под.

Пролетарскому поэту не легко справиться с технической грамотой своего дела, — это его несчастье на первых шагах, оно неизбежно в силу объективных условий классовой жизни. На первых шагах это, впрочем, и не так важно, пока читатель-пролетарий сам еще в зародышевом состоянии. Но затем это непременно надо преодолеть. И при живом общении в работе, — а наши поэты не одиночки, они группируются в студии, в кружки, — преодолеть не так трудно досадные мелочи, искажающие форму, можно устранять заранее, до напечатания работ. В Европе пролетарские писатели уже давно покончили с привилегией полуграмотности.

Как отнесутся «великие мастера» и близкие к ним критики к произведениям вроде «Монны Лизы»? Надо полагать, весьма снисходительно. Это для них приятное разочарование. Они с тревогой смотрели на идущих в литературу таинственных незнакомцев, у которых есть какая-то новая, чуждая точка зрения, какое-то новое, непривычное содержание. И что же? Оказывается, не так странно. Приучаются, и выходят совсем милые, скромные уче-

ники-подражатели. Мечтают конъюрировать, — но не серьезные же это конкуренты, когда еще и грамотой не вполне овладели, а, увлекаясь тонкостями, может быть, так и не овладеют. Чего же лучше! Надо только поощрять их на этом пути. И, кажется, поощряют. Но торжествовать не придется. Единицы, может быть, и совсем сойдутся с толку, это не исключено, хотя ничего непоправимого еще нет. Не в единицах дело, хотя бы и талантливых. А для нового, пролетарского художника вообще смешна будет и самая мысль состязаться в утонченностях с ювелирами формы, поставщиками самых лучших бриллиантов из самого лучшего стекла. Конечно, сравняться с ними он никогда не мог бы. Но подняться бесконечно выше их—дело другое, это для него возможно, и это будет.

Итак, простота формы наиболее естественна и нормальна для пролетарского художника, наиболее соответствует его социальной природе на современной ступени развития.

В одной статье о пролетарской поэзии я пытался ближе определить, исходя из условий труда, самый тип этой простоты, и высказался в том смысле, что она в общем, должна характеризоваться правильностью ритма. На фабрике и заводе господствуют правильные ритмы движения машин, на котором концентрируются трудовое внимание и воля рабочего. Среди этого «стального хаоса», — говорил я, — переплетаются волны разных, но в общем механически точных ритмов; своими бесконечно повторяющимися ударами они выковывают по своей мере словесные образы рабочего поэта. Впоследствии, когда ему станут более доступны ритмы живой природы, где меньше механической правильности и повторяемости, это однообразие сгладится само собой <sup>1)</sup>).

Эти мысли вызвали полемику со стороны В. Львова-Рогачевского в книге «Поэзия новой России». Он их решительно опровергает, апеллируя к по-истине подавляющим авторитетам.

Первый, это Леон Базальжет, «один из лучших биографов Верхарна», как его рекомендует критик. Базальжет пишет о Верхарне: «Тайна искусства его мне открылась, когда я пребывал

<sup>1)</sup> «Искусство и рабочий класс», изд. Центр. Пролеткульта, стр. 74.

среди гулов, ударов молотов, пыхтенья машинного отделения, когда я вслушивался, как задыхается локомотив, и когда заатлантическая сирена разрывала воздух своим ревом»<sup>1)</sup>. И критик восклицает:

«В то время как Леон Базальжет свободный стих Верхарна с разнообразием ритмов почувствовал среди машин и гудков города, в это самое время А. Богданов основания «однообразия и правильности» находит в тех же самых условиях. У него по другому слышат уши, по иному смотрят глаза».

Прежде всего, я спрошу, где фактически взял Верхарн свой «свободный стих». На заводе? «в машинном отделении»? Так, повидимому, думает критик, и, может быть,—по цитате не вполне ясно,—Леон Базальжет. Но это совершенно противоречит именно б и о г р а ф и и Верхарна. На заводе он, как и всякий интеллигент, был только «гостем случайным», не там жил, не там воспитывался. И, наконец, почему не спросить его самого, ведь, он-то, наверное, знает, откуда его стих. А как он отвечает? Увы! В неожиданном, но полном согласии с «совершенно чуждым вопросам искусства А. Богдановым», он говорит: из ритмов живой природы. В своей поэме «Эско» (книга «Вся Фландрия. Герои») он с такими словами обращается к родной реке, Шельде (Эско), «прекрасной и дикой»:

Ты телу мощь дала, душе дала горенье,  
Движенье волн твоих—размер моим стихам.

(Перевод В. Брюсова).

Как же это так вышло? Недоразумение двух критиков легко будет разъяснить, но сначала надо остановиться на двух других авторитетных опровержениях.

Цитируется пролетарский поэт Илья Садофьев: «У врат грядущего», из сборника «Динамо-стихи».

Слепцы! помните, что все то, что замкнуто вами  
В условную, беззубую, мертвую догму,  
В размерную, ритмичную форму,  
Уже не живет;  
И что создается по старым законам,  
Тотчас умирает.

<sup>1)</sup> Цит. по книге Львова-Рогачевского, стр. 160.

Мы, восставшие, разбившие рабства оковы,  
Призваны разрушить и старые догмы  
И формы.  
И созданная нами поэма  
Сама—Жизнь...

«Этот отрывок, — говорит российский критик, — своего рода манифест пролетарских поэтов о характере их поэтики». И опять впадает в скандальное недоразумение. В отрывке нет ни слова о «поэтике». Критик просто не понял стихотворения, и его метафоры принял буквально. Там дело идет о реальной «Поэме из Поэм». Так называет Садофьев не что иное, как Советскую Республику. Эта поэма, «вписанная в историю кровью и железом», сменяет старые «поэмы о покорности Року, Медным Всадникам», т.-е. старый порядок жизни и душевный строй масс. Эту поэму представители прошлого,—в образе «учителя словесности», «поэта любви», «жирного монаха», «Литературных Знаменитостей», возмущенно и злобно критиковали:

«Это не Поэма, а Повесть!  
Скверная, грубая, неряшливая!  
Безграмотная и бесформенная!  
Авторы не знают законов стихосложения,  
Размера и ритма...<sup>1)</sup>

Всякий толковый человек, несмотря на метафоры, поймет, что тут дело идет о строе реальных человеческих отношений, об экономике и политике, а вовсе не о «поэтике». И даже «не чуждый вопросам искусства», критик мог бы догадаться, что это не «манифест поэтики», если бы заметил, что в том же сборнике «Динамо-стихи» Садофьев пользуется больше правильными ритмами, чем свободным стихом.

Третья авторитетная цитата—из А. Гастева, стихотворение в прозе «Звоны» (книга «Поэзия рабочего удара»), сопоставляющая весенние звоны природы со звонами машин на заводе. Не привожу его ради краткости; но все, что в нем относится к вопросу, может быть резюмировано так: в жизни завода есть много разнообразных звуков; большинство их, конечно, правильно-ритмичны (скрип проводов, вой моторов, скрежет под'ем-

<sup>1)</sup> «Динамо-стихи». Изд. Ленингр. Пролеткульта, стр. 13—15.

ных цепей, «дробь» шестерен, и т. д.), иногда эти ритмы расстраиваются, именно, когда «не ладится завод» в самой работе. Все это, может быть, ново для критика, «не чуждого вопросам искусства», но не для «почтенного экономиста», как он меня извительно величает, подчеркивая мою некомпетентность. Ну, а вывод какой?

Поставим предварительный вопрос: образуют ли разные, но в общем правильные ритмы, переплетаясь между собою, что-либо вроде «свободного ритма»? Отнюдь нет.

Свободный ритм есть один непрерывный ряд с изменяющейся закономерностью, а не несколько сплетенных одновременных рядов. Если вам станут читать одновременно и параллельно несколько стихотворений различных правильных размеров, разве это образует музыку, подобную той, какую дает чтение одного стихотворения с свободным размером? Русский критик, а может быть, и его французский авторитет, смешали «хаос звуков» с свободным ритмом; а это вещи совсем разные.

Но и «хаос звуков» завода является хаосом только для случайно зашедшего туда интеллигента, который ничего не понимает в происходящем. Рабочий завода необходимо воспринимает каждый ритм отдельно: для него нет хаоса, все анализировано, все знакомо. И те ритмы, которые правильны, так и ощущаются, как правильные; а таких, несомненно, большинство, ибо машина—да будет это ведомо почтенному критику—есть не что иное, как механизм; и ее движения механичны, а не «свободны».

Далее. Физиологическая психология говорит, что формирующее влияние на нервную систему имеет то, что воспринимается активно, что связывается с ее собственными ответными усилиями. Поэтому наибольшее такое влияние на каждого рабочего имеет именно та машина, на которой он работает, ритмы движения разных ее частей, к которым он прикован вниманием и волей. Правильность этих ритмов определяет гармонию его движений, вибраций его нервного аппарата; а неправильность означает врывающееся нарушение хода работы, и есть сигнал для ряда усилий, направленных к восстановлению правильности.

Итак, вот научные основания, по которым правильные ритмы естественнее и ближе для индустриально-пролетарского поэта



при нынешней организации производства, чем ритмы свободные. Но это отнюдь не означает, что первые обязательны. Если поэт чувствует, что содержание требует иного, — как это и есть в цитированном стихотворении Садофьева, где дело идет о революции, отменяющей все обычные ритмы жизни, — то он и станет писать иначе, будет ли это легче или труднее. Я высказывался только против и с к а н и я трудностей, вытекающего из чрезмерного увлечения формой, которое вредит выработке нового содержания. И здесь критик с сознанием своего превосходства издевается над моими «допотопными» взглядами, над «наивным прописыванием более легкой формы». Конечно, «новые формы труднее», — говорит он, — но революция в содержании связана с революцией формы. Кто же этого не знает? Но если бы Львов-Рогащевский был «не чужд» хотя бы вопросов о законах исторического развития, он знал бы, что революция содержания необходимо идет впереди революции форм, а не параллельно с нею.

Критик весьма одобряет борьбу с трудностью формы у Герасимова. Он в восторге от «Монны Лизы», и говорит об этой поэме так:

«Поэт с редкой оригинальностью воспевает красоту залитого светом завода; эта красота воплощается у него в образе той Монны Лизы или Джиоконды, которую увековечил на своем полотне<sup>1)</sup> Леонардо да Винчи» (стр. 147).

Вот яркая иллюстрация того, к чему ведет чрезмерная «трудность» формы. Воображаю, что должен был чувствовать бедный поэт, читая такую похвалу!

Воплотить красоту завода в Монне Лизе, это примерно то же, что воплотить величие американских небоскребов в Мадонне Сикстинской. От такого истолкования, как говорит пословица, у слона подкосятся задние ноги! А поэта, если он слабый, то и совсем убить можно.

Что угодно, только не это! Очень туманно написана поэма, но смысл ее не столь чудовищен. Я не берусь точно формулировать ее художественную идею. Повидимому, в Монне Лизе поэт символизировал именно ту красоту, которой нет у завода самого

<sup>1)</sup> Кстати: вовсе не на полотне. Джиоконда нарисована на деревянной доске. (Примеч. 1924 г.).

по себе, которой ему не хватает, которая приходит к нему извне, должна дополнить его: красоту женственности, природы... Поэт, повидимому, хотел именно повенчать очарование могучей техники с иными, более тонкими очарованиями... Но, теперь, я думаю, он сам видит, что это надо было сделать как-то яснее и проще. А «почтенный критик» также должен убедиться, что «трудная форма» поэзии даже для него имеет свои неудобства.

Но довольно о г.г. Львовых-Рогачевских. Пролетарская поэзия—вещь более серьезная.

К сожалению, погоня за утонченностью—не индивидуальное только уклонение одного—двух пролетарских поэтов. Создалась почти школа. Вот № 1 «Кузницы», органа пролетарских писателей (май 1920). Кузница пролетарской поэзии... Группа ее устроителей в редакционном заявлении так характеризует свою задачу. Создать оригинальную пролетарскую поэзию в настоящее время она считает невозможным или непосильным для себя. Но она надеется «набить пуку в высших организационных технических приемах и методах поэтического мастерства», и уже тогда—но только тогда, не ранее—пролетарские мысли и чувства «вквать в оригинальные поэтические формы, создать оригинальную пролетарскую поэзию» (стр. 2).

План наивный и глубоко ошибочный!

Товарищи, не тем надо заниматься! Никто не требует от пролетарских поэтов «высшей буржуазной техники»; она вам и не к лицу,—как манеры и костюм лондонского дэнди (тоже ведь «высшая техника» буржуазного быта) не пристали рабочему-социалисту.

Вы говорите, что еще нет оригинальной пролетарской поэзии, вы ставите ее в зависимость от усвоения «высшей» буржуазно-поэтической техники. Вы слишком низко ее цените, товарищи, и плохо знаете, где ее искать. Ее мало пока в форме стихов и прозы; но ею полна жизнь пролетариата, полна мысль революционного социализма. Ищите больше и лучше. Вы думаете, мало ее в чистоте и ясности товарищеских отношений, в стройности и сплоченности рабочих организаций, в революционно-научной критике Маркса и в его социально-философском творчестве? И если вы сами—живые частицы растущей коллективной души пролетариата, если умеете видеть его глазами, чувствовать его

сердцем, то через творческое восприятие вы найдете эту поэзию во всей природе, и во всем великом, что создано усилиями человечества, трудом и научным познанием и художественным отображением мира. Тогда у вас будет, что сказать, и само собою найдется, как сказать.

Надо по-настоящему учиться, учиться широко и глубоко, а не «набивать руку» в хитрых рифмах и аллитерациях<sup>1)</sup>.

Чему должен учиться пролетарский поэт? Всему важному и значительному, в природе и в обществе. Где учиться? У науки, организующей опыт прошлого и настоящего в понятиях, у искусства, делающего то же в образах. Кого брать в учителя? Тех, кому можно верить: в настоящем—свой родной коллектив с его революционной идеологией, в прошлом—тех, кто широко прокладывал ему пути своей великой творческой силой. Тогда нет опасности заблудиться.

---

<sup>1)</sup> Герасимов и некоторые из его товарищей теперь более или менее отделались от этой погони за утонченностью. Но еще далеко не все. (Примеч. 1924 г.).

# Пути пролетарского творчества<sup>1)</sup>.

(Тезисы).

1. Творчество, всякое—техническое, социально-экономическое, бытовое, научное, художественное—представляет разновидность труда, и точно так же слагается из организующих (или дезорганизующих) человеческих усилий. Это не что иное как труд, продукт которого не является воспроизведением готового образца, есть нечто «новое». Нет и не может быть строгой границы между творчеством и просто трудом; не только имеются все переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которое из двух обозначений более применимо. Так, напр., работа переводчика обычно не рассматривается, как творчество; а между тем она дает нечто новое, чего раньше не было; и бывают случаи, когда перевод в некоторых отношениях выше подлинника. Да и вообще, строго говоря, труд не может дважды создать совершенно одинаковых продуктов; и если даже, как бывает при массовом машинном производстве, продукты можно принять за одинаковые, то усилие работника никогда не может оказаться в полне одинаковым в разных случаях.

Творчество—высший, наиболее сложный вид труда. Поэтому его методы исходят из методов труда.

2. Все методы труда—а с ним и творчества—лежат в одних и тех же рамках. Его первая фаза—комбинирующее усилие, вторая—подбор его результатов, устранение неподходящего,

---

<sup>1)</sup> 1920 года. Доклад на Всеросс. Съезде Пролеткультов, с дополнением тезисов о художественной технике из другого доклада того же времени—на Съезде Пролетарских писателей.

сохранение подходящего. В труде «физическом» комбинируются материальные вещи, в «духовном» — образы; но, как показывает новейшая психофизиология, природа усилий комбинирующих и подбирающих одна и та же — перво-мускульная. Пусть, напр., строится дом. Для этого сначала комбинируют сырой материал с орудием и рабочей силой: берут дерево, при помощи топора прилагают к нему силу плотника; происходит отделение ствола от корней, ветвей, коры и пр.; все эти части отбрасывают, берут только ствол в виде бревна, комбинируют с другими, подобными и иными, элементами; если получается неудачное сочетание, разрывают связь его, переделывают, пока получится удачное, которое сохраняют. Когда же архитектор предварительно творчески вырабатывает план дома, он мысленно проделывает подобные операции комбинирования и подбора, при помощи мысленных усилий; а они, как выяснено наукою, представляют ослабленные, не проявляющиеся видимым образом, усилия двигательные, результат напряжения двигательных нервных центров, связанных с мускулами.

Творчество комбинирует материалы по-новому, не по привычному образцу, что ведет и к подбору более сложному, более интенсивному. Комбинирование и подбор образов происходит несравненно легче и быстрее, чем материальных вещей. Шиллер выразил это словами: «Легко мысли уживаются в сознании, но резко сталкиваются тела в пространстве». — Поэтому творчество чаще протекает в виде «духовного» труда, — но отнюдь не исключительно. Первоначально всякое творчество было материальным, — т. е. люди не умели вырабатывать планов и прямо имели дело с вещами, так сказать, осязательно комбинировали их и подбирали результаты этих усилий. Да и позже, многие случайные изобретения происходили путем материального сочетания вещей, — как открытие зрительной трубы, которое произошло таким образом, что дети одного голландского оптика, играя его стеклами, удачно их соединили, и увидели близко дальнюю колокольню. — С накоплением опыта творчество переходит преимущественно в область мысли и воображения, но не всецело: и тут оно обычно дополняется сочетанием и подбором материальных вещей, но уже по мысленно выработанному плану. Так, Эрлих сделал свое знаменитое открытие 606 следующим образом: он материально припе-

товлял одно за другим разные соединения мышьяка и материально вводил их в кровь зараженных сифилисом кроликов, при чем отбрасывал одно за другим соединения слишком ядовитые или недостаточно целебные, — пока не остановился на шестьсот шестом по счету препарате, который нашел пригодным. — И всякое творчество, техническое, естественно-научное, часто и художественное должно пройти через проверку на материальных сочетаниях и их подборе.

3. Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, как бы ни были в частных случаях узко-индивидуальны его цели и его внешняя, непосредственная форма (т.-е. и тогда, когда это труд одного лица, и только для себя). Даже разбойник, задумывая и выполняя преступление, пользуется доступным ему коллективным опытом и применяет орудия, созданные трудом других людей, коллектива: здесь единичны цель и усилие, но средства все-таки коллективны по происхождению. — Так же коллективно в своей основе и творчество. Творческие усилия необходимо должны опираться на прежние результаты коллективного труда. Рабочий или техник, совершая какое-нибудь орудие, имеет базис своей работы: во 1), в этом самом орудии, как оно выработано прежними поколениями, во 2), в знании, которое им накоплено. Не меньше его и художник исходит в своей работе из раньше выработанной техники и всего накопленного опыта, какой ему доступен, и при этом пользуется орудиями, материалами, которые сделаны трудом других людей.

Старый мир не сознавал ни этой общей социальной природы труда и творчества, ни связи их методов. Он одевал творчество фетишизмом таинственного.

4. Методы пролетарского творчества имеют свою основу в методах пролетарского труда, т.-е. того типа работы, который характерен для рабочих новейшей крупной индустрии.

Особенности этого типа: 1) соединение элементов «физического» и «духовного» труда; 2) прозрачный, ничем не скрытый и не замаскированный коллективизм самой его формы. Первое зависит от научного характера новейшей техники, в частности — от передачи механической стороны усилий машине: работник все

более превращается в «руководителя» железных рабов, а его труд в возрастающей доле сводится к «духовным» усилиям — внимания, соображения, контроля, инициативы, роль же мускульных напряжений относительно сокращается. Второе зависит от концентрации рабочей силы в массовом сотрудничестве и от сближения специализированных видов труда силою машинного производства, которое во все большей мере непосредственную, физическую специализацию рабочих переносит на машины. Объективная и субъективная однородность труда возрастает, уничтожая перегородки между работниками; а при этой однородности фактическая совместность труда становится основой товарищеских, т.-е. сознательно-коллективистических отношений между ними. Эти отношения, с их результатами — взаимным пониманием, взаимным сочувствием и стремлением заодно действовать — расширяются, переходя пределы фабрики, профессии, производства, на рабочий класс в национальном, а затем и мировом масштабе. Коллективизм борьбы человечества с природою впервые осознается.

5. Таким образом, методы пролетарского труда развиваются в направлении монистичности и осознанного коллективизма. В таком же направлении складываются, естественно, и методы пролетарского творчества.

6. Эти черты успели уже ясно выразиться в методах тех областей, где пролетарское творчество до сих пор проявлялось преимущественно — в экономической и политической борьбе и в научном мышлении. В первых двух областях это сказывалось постоянно в единстве строения организаций, которые пролетариат создавал, — партийных, профессиональных, кооперативных: один и тот же тип, один и тот же принцип — товарищеский, т.-е. сознательно-коллективистический; старый, буржуазный мир не так строил свои организации, по самым разнообразным типам в разных областях одновременно: по одному типу государственную организацию, — и то даже не по одному, а по нескольким, — по другим типам акционерное товарищество, синдикат, по еще иным политические партии, научные, культурные общества. — Те же особенности пролетарских организаций выступают и в развитии программном, которое во всех них неуклонно тяготело к одному идеалу, именно социалистическому. В науке и философии марксизм

являлся воплощением и менизма метода и осознанно-коллективистической тенденции. Дальнейшее развитие на основе тех же методов должно выработать всеобщую организационную науку, монистически объединяющую весь организационный опыт человечества в его социальном труде и борьбе.

7. Творчество бытовое, поскольку оно выходит из пределов экономической и политической борьбы, до сих пор у пролетариата шло стихийно, — тем не менее по той же линии; о том свидетельствует и развитие пролетарской семьи: она развилась, как известно, из семьи крестьянской, и вообще мелко-хозяйской, которая построена строго авторитарно — на власти главы дома, отца; такова вначале и семья пролетарская, как можно видеть до сих пор на отсталых слоях пролетариата; но затем она шаг за шагом преобразуется в сторону товарищеских отношений; — отец все более видит в своей жене сотрудника, в детях — будущих сотрудников. Еще более, может быть, характерно, как общебытовая форма, всемирно установившееся между пролетариями обращение — «товарищ»: оно прямо говорит о коллективизме труда, и означает сотрудника по великому общему делу. Поскольку бытовое творчество пролетариата в дальнейшем будет идти сознательно, вполне очевидно, что его методы будут проникаться теми же самыми принципами: это будет творчество гармонически целостного, осознанно-коллективистического быта.

8. В сфере художественного творчества старая культура характеризуется неопределенностью и неосознанностью методов («вдохновенные», и т. под.), их оторванностью от методов трудовой практики, от методов творчества в других областях. Хотя пролетариат делает здесь еще только первые шаги, но уже ясно намечаются общие свойственные ему тенденции. Монизм сказывается в стремлении слить искусство с трудовой жизнью, сделать искусство орудием ее активно-эстетического преобразования по всей линии. Коллективизм, вначале стихийный, а потом все более сознательный, выступает ярко в содержании художественных произведений, и даже в форме художественного восприятия жизни, освещающая изображение не только человеческой жизни, но и жизни природы: природа, как поле коллективного труда; ее связи и гармонии, как зародыши и прообразы организованности коллектива. Так, напр., у поэтов старого мира вы никогда не встретите пре-



ставления звезд и леса в образе живого, действенного коллектива; а у пролетарских поэтов оно является как нельзя более естественно. А тем более в отражении человеческой жизни—здесь подлежащее постоянно «мы» вместо прежнего «я», центр интереса и внимания — класс, группа, организация, а не «герой», не отдельная личность, противостоящая другим людям в борьбе за себя и свое.

9. Осознанный коллективизм преобразует весь смысл работы художника, давая ей новые стимулы. Прежний художник видел в своем труде выявление своей индивидуальности; новый поймет и почувствует, что в нем и через него творит великое целое — коллектив. Для первого оригинальность есть выражение самости его «я», средство его возвеличения; для второго она означает глубокий и широкий захват коллективного опыта, есть выражение его доли активного участия в творчестве и развитии жизни коллектива; шаблонность, подражательность, с его точки зрения, есть то же, что бесплодность, — она не вносит нового в жизнь коллектива, а тяготеет к ее удержанию на старом. Первый может полусознательно стремиться к жизненной правде — или уклоняться от нее; второй должен сознавать, что истина, объективность — это опора для коллектива в его труде и борьбе. Первый может ценить или не ценить художественную ясность; для второго она есть не что иное, как доступность коллективу, в котором живой смысл усилий художника.

10. Осознание коллективизма, углубляя взаимное понимание людей и связь чувства между ними, сделает возможным несравненно более широкое, чем до сих пор, развитие также и непосредственного коллективизма в творчестве, т.-е. прямого сотрудничества в нем многих, вплоть до массового.

11. Много недоразумений и споров по вопросу о технике пролетарского творчества порождается тем, что не умеют различать двух значений слов «техника»: одно относится к производству, другое — к идеологии.

Объект техники производства — природа, ее стихийные силы. Смысл технических приемов — подчинение этих сил, сбережение и накопление человеческой энергии. Пример — машина.

Объект техники идеологической — живой опыт коллектива. Смысл ее приемов — приспособление этого опыта к задачам и по-

требностям коллектива, его организация в соответствии с ними. Примеры: техника изложения, стихосложения, судопроизводства, религиозного культа.

12. В производстве стихиям противопоставляется все человечество. Поэтому здесь техника может быть «общечеловеческой», машина может быть не буржуазной и не пролетарской. (Впрочем, и на устройстве машин может сказываться неодинаковое отношение двух классов к рабочей силе).

В идеологии, когда общество классовое, одни классовые коллективы противопоставляются другим; они организуют опыт в борьбе между собою, идеология — орудие этой борьбы, победы, господства. Поэтому здесь и техника неизбежно должна стать классовой. Она не обязательно сберегает и развивает человеческую энергию вообще, а может служить, напр., к развитию энергии одного класса за счет другого, к наилучшему подчинению и потреблению энергии классов низших, и т. п. Пример — развитие техники судопроизводства, техники религиозного и художественного одурманивания масс.

Техника производства прогрессирует с развитием производства. Техника идеологическая, классовая прогрессирует с развитием класса. Поэтому последнее слово этой классовой техники может далеко не быть «высшей техникой» с точки зрения другого класса, — а может оказаться низшей и вообще, если класс, которому она принадлежит, сам падает. Такова утонченная техника декаданса, упадка какого-нибудь класса. В ней исчезает сила, т.-е. широкий захват живого опыта, и основная гармония, гармония целого, заменяясь изысканностью и гармонией мелочей, частных. Энергия в ней не сберегается, а растрачивается: труднее творить, труднее и воспринимать ее. Это — ювелирная техника для избранных.

13. Поэтому классовая техника новой, нарождающейся идеологии вовсе не должна исходить из последнего слова старой классовой техники. Но, конечно, она вынуждена исходить из той, какая есть и была, т.-е. из чужой классовой техники, только, по возможности, высшей, т.-е. порожденной наиболее прогрессивной эпохой жизни другого класса, а не низшей, т.-е. упадочной; пользоваться старой техникой в той мере, в какой новое классовое содержание не создало еще новой.

14. Как же, однако, пользоваться старой и чужой техникой для своего и нового содержания? Тут новый художник, напр., пролетарский поэт, вначале попадает в положение переводчика. Для могучих, нарастающих переживаний его коллектива еще нет своего языка, и приходится переводить их на чужой — на язык прежнего искусства. И он должен хорошо переводить. Что это значит? Передавать содержание переводимого возможно точнее, во всей его силе и полноте, ничем из этого содержания не жертвуя для формы; напротив, подчиняя ее, жертвуя ею, если требуется. Этим путем ее удастся шаг за шагом перерабатывать, постепенно сменяя ее элементы новыми, своими: от нового содержания идти к новой форме.

15. Далее, пролетарская тенденция к монизму методов должна вести к значительному расширению художественной техники. Методы старого искусства развивались обособленно от методов других сфер жизни; техника пролетарского искусства должна сознательно искать и использовать материал и всех тех методов. Напр., фотография, стереография, кинофотография, спектральные цвета, фонография и пр. должны найти свое определенное место в системе художественной техники, как ее средства. Из принципа монизма методов вытекает, что не может быть методов практики и науки, которые не могли бы найти прямого или косвенного применения в искусстве, — и обратно.

16. В искусстве прошлого, как и в его науке, есть очень много скрытых элементов коллективизма. Раскрывая их, пролетарская критика дает возможность творческого восприятия лучших произведений старой культуры, в новом свете и с огромным обогащением их ценности. Это и есть путь овладения мировым культурным наследством, законно принадлежащим пролетариату.

---

Таковы пути нового творчества. Его основное отличие от прежнего то, что здесь оно впервые становится действительно сознательным, впервые понимает себя и свою роль в жизни.

---

# Наука и рабочий класс.

(1918).

## I.

Что такое наука?

Исследуем этот вопрос на живом примере. Берем одну из самых чистых, самых «возвышенных», т.-е. наименее доступных трудовым массам наук — астрономию.

Ее зародыши возникли на ранней заре человеческой мысли. Первобытный дикарь по опыту знал о небесных светилах больше, чем девять десятых нынешних горожан и крестьян. Дневной путь солнца он знал настолько, что мог и зимой и летом по его положению с достаточной точностью рассчитывать время. Ему было хорошо известно, что зимой дуга этого пути короче и ниже, летом длиннее и выше, что движение солнца очень ровное, и высшая точка дневной дуги находится всегда в одном направлении от его жилища и от всех других окружающих предметов. Он твердо помнил ту яркую звезду, которая всю ночь неподвижно висит на небесном своде в направлении, прямо противоположном солнечно-полуденному, запоминал расположение и движение других ярких звезд вокруг этой неподвижной. Он знал и сроки таинственных превращений луны, и ее изменчивый путь на небе. Весь этот опыт он передавал своим детям, те — своим. В ряду поколений незаметно прибавлялись частицы нового знания. Так шло первоначальное с о б и р а н и е астрономического опыта — росла первобытная астрономия.

С началом первых цивилизаций это собрание вступило в новую фазу. В долинах Евфрата, Нила, Янгтсе-кианга жрецы халдейские, египетские, китайские, стремясь к точному разделению времени и к точному знанию направлений в пространстве, созна-

тельно приводили в порядок переданные от предков астрономические сведения, систематически проверяли и дополняли их новыми наблюдениями, оформляли их с помощью постепенно выработанных способов измерения и исчисления, закрепляли посредством записей. Позже, главным образом, трудами ученых древней Греции, Рима и Александрии, астрономия была выделена и обособлена из общей массы других знаний, и приведена к стройному единству: превратилась в научную систему.

Прошло еще тысячелетие. В начале Нового Времени были собраны новые данные, и ряд астрономов, начиная с Коперника, нашли в старой системе противоречия, несогласия с опытом. Чтобы устранить эти противоречия, согласовать все данные, они перестроили всю систему. Были и после того частичные перестройки, вызванные дальнейшим собиранием материала. Так она продолжает развиваться до сих пор.

Итак, люди собирали опыт, приводили его в порядок, оформляли, закрепляли, устраняли в нем противоречия, согласовывали, группировали в стройное единство. Подобные действия могут выполняться и над людьми, и над вещами. Если люди собирают, если их взаимные отношения приводят в порядок, оформляют, закрепляют, устраняют противоречия, связывают людей в стройное целое, то это целое называется «организацией», а вся работа — организующей. Ясно, что наука есть не что иное, как организованный опыт человеческого общества.

Далее, каким путем получается этот опыт? Путем трудовым. В труде своей тяжелой борьбы за существование первобытный человек усваивал связь перемен на небе и смены условий на земле, положений небесных тел и земных направлений; распределение труда и отдыха — первоначальный смысл расчета времени по небесным явлениям. И вся дальнейшая, сознательная работа созидания, усвоения, распространения науки была, конечно, трудом — более напряженным, более сложным, более утомительным, чем все другие виды труда. Развиваясь, эта работа потребовала и особых орудий, которые, опять-таки, все более усложнялись. Теперь она ведется на особых фабриках — обсерваториях — с огромными и тонкими машинами, со строгим разде-

лением труда между работниками, учеными и неучеными. И драгоценные продукты этого труда складываются в гигантскую, стройную систему научного знания.

Таким образом, характеристика будет точнее, если мы скажем: наука есть организованный общественно-трудовой опыт.

Далее, что заставляло первобытного дикаря замечать и запоминать движения столь далеких от него небесных светил? Суровая необходимость жизненной борьбы. Ему, бродячему охотнику лесов и степей, необходимы были надежные способы узнавать направления, определять время, а по времени и расстояния, чтобы не затеряться в угрожающих отовсюду гибелью дебрях первобытной природы, чтобы рассчитывать встречи членов общины и их возвращения домой, чтобы согласовать вообще их трудовые усилия, словом — чтобы организовать труд. Ибо организация труда означает прежде всего — его распределение в пространстве и времени, следовательно, основывается на их точном распознавании, на «ориентировке». Небесные тела дают возможность такой ориентировки: они громадны и находятся на громадных расстояниях друг от друга; поэтому соотношения их наиболее устойчивы, движения их не подвержены случайным влияниям и строго правильны, точно периодичны. Они и дают вполне надежную опору для всех расчетов пространства и времени в деле организации труда.

Так это было с самого начала, так это и оставалось всегда потом. Не из простого любопытства халдейские маги и египетские жрецы изучали таинственную жизнь неба, наблюдали, измеряли и записывали пути светил. В долинах великих рек все хозяйство зависело от периодических разливов, оплодотворявших почву, и в то же время угрожавших гибелью людям и их имуществу. Тут научный расчет времени для земледельческих работ — с одной стороны, научное определение направлений, углов, расстояний для регулирующих уровень воды инженерных работ — с другой, являются вопросом экономической жизни и смерти народов. В руках жрецов — тогдашней интеллигенции — астрономия и, тогда еще нераздельная с нею, геометрия были могучим орудием организации народного труда.

Четыре — пять веков тому назад толчок к перевороту в астрономии, к новому ее расцвету был дан потребностями океанического мореплавания, искавшего новых стран для труда и эксплуатации, новых путей для мировой торговли. Для деревянных скорлупок, носившихся по бесконечной водной пустыне, только постоянная точная ориентировка в направлениях, во времени и расстояниях могла быть опорой против стихийных капризов ветра, волн и течений. Такую ориентировку дала новая астрономия — астрономия таблиц кастильских астрономов, потом Коперника и Галилея. Затмения открытых Галилеем спутников Юпитера — незаменимое средство проверки хронометров на море, определения долготы места.

Основной астрономический инструмент — это часы, машина, подражательно воспроизводящая движение солнца по небосводу. Этот инструмент регулирует решительно всю современную организацию производства. Часы управляют сотрудничеством рабочих, собирая их в одно время на фабрику, указывая время перерывов труда и его окончания; они же дают основу для расчета заработной платы, при повременной плате прямо, при сдельной — косвенно; на часах основан также расчет действия машин, измерение их силы и работы. Часами регулируется движение поездов и пароходов; им подчиняется всякое собрание, всякое объединение и общение людей.

Астрономия руководит человеческим трудом и посредством всеобщей системы мер, метрической, господствующей в производстве, транспорте и торговле передовых стран. Рабочий, делающий нарезку в миллиметр, еще не знает того, что астрономия направляет движение его руки; а между тем это так, потому что миллиметром называется одна сорокамиллиардная часть земного меридиана, промеренного с помощью звезд и солнца.

Посмотрите, до какой степени нелепо обычное понимание астрономии, как «науки о небесных телах». Оно даже логически заключает в себе противоречие: ведь «небесное» есть именно противоположность «земного» по самому понятию; а между тем в числе изучаемых астрономией тел имеется планета — Земля.

Итак, для нас должно быть вполне ясно: наука есть орудие организации общественного труда.

В этом ее действительное, «объективное» значение для жизни. Оно для нее постоянно и неизменно.

Но иногда наука может приобретать еще иное значение. Если общество состоит из разных классов, если организация труда в нем основана на господстве одних классов над другими, то наука превращается и в орудие этого господства. Так бывало и с астрономией, — так оно есть даже и теперь.

В древнем Египте и Вавилоне во главе организации производства, как уже было сказано, стояли жрецы, тогдашние интеллигенты. С помощью своих астрономических и других научных знаний они руководили земледельческими работами, оросительными, инженерными по регулированию рек, строительными, проведением дорог, и если не прямо, то косвенно — всеми прочими. Массы народа им подчинялись, ибо сами необходимых знаний не имели. И жрецы тщательно сохраняли в тайне от народа свою науку, строго следили за тем, чтобы священные знания не проникали в головы низшего класса. Этим господство жрецов прочно закреплялось.

Теперь господствующие классы — буржуазия и примыкающая к ней часть интеллигенции — в передовых странах не ставят как-будто препятствий распространению знаний в массах, частью даже «популяризуют» науку. И все же высшее, точное знание, которое в самом широком масштабе руководит организацией производства, это знание остается привилегией немногих, избранных, — тоже своего рода «священной тайной». Но достигается это не запрещениями и карами, а другими путями. Во-первых, тем, что знание продается, как товар, и высшее знание, в университетах и научных институтах, продается дорого, так, что платить за него, вообще говоря, посильно только детям буржуазии. Во-вторых, к тому же результату ведут господствующие способы изложения и преподавания точных наук. Оно до крайности усложнено и затруднено целым рядом особенностей, делающих его недоступным для огромного большинства из трудовых масс: отвлеченной, непривычной для простого человека формой, излишеством особых «специальных» выражений и обозначений, множеством хитросплетенных, ненужных по существу доказательств, чрезмерным нагромождением материала, через которое труднее улавливаются основные идеи и приемы



науки. Все это признают, против этого протестуют и борются передовые, демократически настроенные ученые, которые и работают над тем, чтобы упростить форму науки, сделать ее доступной широким трудовым кругам. Напр., та же астрономия, как и целый ряд других наук, всецело построена на математическом анализе. Этот анализ уже теперь предстает много проще и легче, чем лет 30 — 40 тому назад; по все-таки проф. Джон Перри вполне убедительно показал, в своих лекциях по «Практической математике», что еще и сейчас в изучении математики наибольшая доля времени и сил тратится на вещи совершенно ненужные и бесполезные, о чем то же под разными обозначениями изучается по нескольку раз, и проч. Все это, конечно, происходит не от злого умысла буржуазии, а от недостаточной организованности ее собственного мышления, воспитанного в анархических, противоречивых отношениях капитализма. Но суть дела от этого не меняется; так или иначе, оказывается, что серьезно овладеть той или другой точной наукой, а не жалкими и бессильными ее «популярными» крошками, можно только при большом досуге и обеспеченном существовании в целом ряде лет, т.е. при условиях, недоступных трудовым массам. Для них тайна остается тайной.

Однако, из рабочей среды выделяется не мало энергичных, жаждущих знания людей, которые пробивают себе путь к этой тайне. Тогда господствующие классы охотно принимают их к себе, как «образованных» людей, предлагают им хорошие места, с большой платой и досугом. Большинство выходцев поддается соблазнам нового, буржуазного существования, потому что уже утомлены побежденными трудностями, растратили лучшую долю своих сил на борьбу за обладание наукою. Они забывают о своей прежней трудовой жизни, об ее интересах, об оставшихся там, внизу, товарищах, и переходят на сторону новых друзей; а если и не переходят совсем, то стараются как-нибудь согласовать свое прошлое и настоящее, перекинуть мосты между рабочими идеалами и буржуазным пониманием жизни, — словом, превращаются в половинчатых людей, «оппортионистов».

Но и сама наука, которою они владели, которой служат и в которой живут, настраивает и воспитывает их так, чтобы оторваться от задач и стремлений рабочего класса, духовно сблизить

с господами положения. Вот, вы видели, что такое астрономия: вам ясно, что это — наука труда, сотрудничества, организации человеческих условий в борьбе с природою. Но разве таково ее нынешнее официальное понимание? Нет. Ее разрабатывают и ей учат ученые специалисты, всем своим воспитанием и строем своей жизни оторванные от труда народных масс, от его мировой связи, — люди, уходящие в свои кабинеты и обсерватории, как некогда монахи в своей келье. Там они забывают о живой практике человечества, об его непрерывной борьбе с природою по всему фронту труда; и их научные знания кажутся им чистыми, ни в чем не зависящими от этой трудовой борьбы истинами о небесных телах и о силах, которые приводят их в движение. Обладание такими возвышенными, наджизненными истинами, недоступными и чуждыми темным массам, они, естественно, считают великим преимуществом; и им представляется, что они — избранные, отмеченные печатью умственного благородства, не заинтересованные в мелочах житейской суеты; а там, внизу, копошатся низшие существа, прикованные к грубому труду, к заботе о пропитании; разве не должны эти существа гордиться тем, что они работают на людей чистой мысли, высшего знания, — не должны быть благодарны за те частицы этой мысли и знания, которые им бросают сверху?

Такие настроения создают оторванность науки от труда, непониманием трудовой природы знания; и ясно, что астрономия, а также всякая другая наука в ее нынешней, буржуазно-интеллигентской разработке, должна незаметно пропитывать людей убеждением в законности и необходимости работы масс на высшую культуру, на те классы, которые в ней живут.

Вы видите, товарищи, что не так уж смешна идея о буржуазности современной математики, астрономии и пр., как это кажется старым представителям русского марксизма.

Итак, в классовом обществе наука, оставаясь орудием организации труда, может превращаться также в орудие господства. Но она может играть и иную роль в борьбе общественных сил.

Толчок к развитию новой астрономии в XIV — XVI веках был дан, как мы указали, развитием торгового мореплавания, т. е. потребностями торгового капитала. А торговый капитал был представителем буржуазного строя, зарождавшегося среди феодаль-

ной средневековой организации. Буржуазия начинала борьбу за господство против землевладельческого дворянства и духовенства — властителей жизни в те времена.

Новая астрономия соответствовала потребностям торговли, капитала, нового класса, с ними связанного; но она не была согласна со взглядами старого мира, с учением духовенства. Тем самым она подрывала его авторитет, ослабляла его организационную силу. Оно скоро поняло это и повело ожесточенную борьбу против революционной науки: один из первых ее провозвестников, Джордано Бруно, был сожжен на костре, Галилей — замучен нравственно.

Но тем прочнее и теснее она сплачивала передовую буржуазию для наступления на господствовавшие сословия. Она стала, конечно, не единственным, но драгоценным боевым знаменем самого прогрессивного тогда класса, — и много способствовала его победе.

Как видим, наука может являться и орудием организации сил для победы в социальной борьбе.

То, что мы показали относительно астрономии, так же легко, или даже еще легче показать соответственным исследованием относительно всякой иной науки, — а для всех общественных наук было выяснено еще раньше. И к философии, которая считается завершением и объединением наук, эти характеристики вполне применимы. Она старается организовать в стройное целое весь человеческий опыт, она стремится руководить всей жизнью людей, т.-е. быть всеобщим средством ее организации; философия господствующих классов, как это выяснялось многими марксистами, есть орудие их господства; и, конечно, пролетарская философия должна явиться орудием организации сил рабочего класса для его борьбы и победы.

## II.

Задачи рабочего класса по отношению к науке прямо вытекают из его общих жизненных задач.

Если рабочему классу предстоит преобразовать весь строй социальной жизни и явиться наследником всего классового общества, то он, конечно, должен оказаться и наследником полного научного знания, т.-е. трудового опыта общества в его целом. Но когда

следует получить это наследство, теперь же, или только после захвата рабочим классом в свои руки наследства материального — всех средств труда?

Если старая наука служит для высших классов орудием господства, то уже ясно, что для пролетариата необходимо противопоставить ей свою науку, достаточно могущественную, как орудие организации сил революционной борьбы.

Но дело идет не только о победе над прежними властителями, а о создании, наместо подлежащего извержению строя, иного, нового, коренным образом отличающегося от него. Наука есть орудие организации производства. Если дело идет об организации планомерной, построенной на сознательном расчете, — а такова именно социалистическая, — то вполне бесспорно, что наука тут необходима еще в большей мере, и более совершенная по своим методам, чем для строя анархичного, в своем целом неорганизованного, каков капитализм. И эту науку рабочий класс должен уже иметь в своих руках, чтобы сознательно, целесообразно, успешно производить перестройку.

Итак, овладеть наукой пролетариату приходится не после социалистической революции, а до нее и для нее. Мы знаем, что он шаг за шагом делает это, что он жадно ищет знания и, несмотря на все препятствия со стороны суровых условий жизни, приобретает его. Но в этих усилиях не хватает классовой планомерности, знание приобретается часто не то, которое действительно нужно; в целой массе случаев оно оказывает обуржуазивающее влияние; и почти всегда оно достается ценой чрезмерных затрат времени и труда, благодаря чуждым пролетарскому строю мыслям способам выражения и загроможденному частности, затемненным трудным учено-цеховым языком изложению.

Рабочему классу нужна наука пролетарская. А это значит: наука, воспринятая, понятая и изложенная с его жизненных задач, наука, организующая его с классовой точки зрения, способная руководить выполнением его силы для борьбы, победы и осуществления социального идеала.

Что такое — наука, понятая с пролетарской точки зрения, это впервые показала Маркс по отношению к политической экономии, по отношению к истории — наукам общественным.

Как произвел Маркс перемену точки зрения для этих наук,

это мне пришлось раз пояснить с помощью сравнения из области астрономии:

«За три с половиной века до Маркса жил скромный астроном—Николай Коперник. Он также преобразовал свою науку...

Древние астрономы добросовестно наблюдали небо, изучали движения светил, видели, что есть в них глубокая, стройная, непреложная закономерность, старались выразить и передать ее. Но — тут получалась какая-то странная запутанность. Планеты идут среди звезд то быстрее, то медленнее; порой как-будто останавливаются, поворачивают назад, и опять переходят к прежнему направлению; а через определенное число месяцев и дней они снова на старом месте, и начинают тот же путь. Приходилось придумывать сложные теории, отдельное небо для каждой планеты, предначертанные каждой круги, вращающиеся в свою очередь по другим кругам, и т. д. Неясность не исчезала, расчеты были страшно трудны.

У Коперника возникла мысль: не потому ли все это так сложно и запутанно, что мы смотрим с Земли? А что если переменить точку зрения, и попробовать — конечно, лишь мысленно — посмотреть с Солнца? И когда он сделал так, то оказалось, что все стало просто и ясно: планеты, и Земля в числе их, движутся по круговым, а не извилистым путям, и Солнце — их центр; но раньше этого не понимали, потому что Землю считали неподвижной, и ее движение смешивалось с путями планет. Так родилась новая астрономия, которая объяснила людям жизнь неба.

До Маркса жизнь общества исследовали буржуазные ученые, и смотрели на нее, естественно, с точки зрения своего собственного положения в обществе, с точки зрения класса, который не производит, а подчиняет себе труд других людей, и пользуется им. Но с того места не все видно, и многое представляется в искаженном виде, и многие движения жизни запутываются так, что их нельзя понять.

Что сделал Маркс? Он переменял точку зрения. Он взглянул на общество с точки зрения тех, кто производит, — рабочего класса, и все оказалось иначе. Обнаружилось, что именно там центр жизни и развития общества, то Солнце, от которого зависят пути и движение людей, групп, классов.

Маркс не был рабочим; по силе мысли он сумел вполне перенестись на позицию рабочего. И он нашел, что с этим переходом все тотчас меняет очертания и формы: раскрываются для глаз силы вещей и причины явлений, незаметных оттуда, со старой позиции; действительность, истина, даже сама очевидность, становятся иными, часто противоположными прежним.

Да, и сама очевидность. Что может быть очевиднее для капиталиста, чем то, что он кормит рабочего? Разве не он дает рабочему занятие и заработок? Но для работников не менее очевидно то, что они своим трудом кормят капиталистов. И Маркс учением о прибавочной стоимости показал, что первая очевидность — иллюзия, видимость, подобно ежедневному движению Солнца вокруг Земли, а вторая — истина.

Маркс нашел, что все мысли и чувства людей получают разное направление, складываются несходно, смотря по тому, к какому классу эти люди принадлежат, то-есть какое положение в производстве или около производства они занимают. Различны интересы, привычки, опыт, различны и выводы из них. То, что для одного класса разумно, для другого — нелепо, и наоборот; что для одного справедливо, законно, нормально, для другого — несправедливость, злоупотребление силой; что кажется свободой тем — рабством кажется этим; идеал этих вызывает ужас и отвращение тех.

Маркс подвел итоги и сказал: «общественным бытием людей определяется их сознание»; или, другими словами: экономическим положением определяются мысли, стремления, идеалы. Это была та идея, посредством которой он преобразовал всю общественную науку... На ней основал он великое учение о классовой борьбе, чрез которую идет развитие общества. И он исследовал путь этого развития и показал, куда он ведет, какому классу предстоит создать новую организацию производства, какал будет эта организация, и как она покончит с разделением на классы, с их вековой борьбой.

Маркс не был рабочим. Но в рабочем классе великий ученый нашел точку опоры для своей мысли, точку зрения, которая позволила ему проникнуть в глубину действительности, и породила

его идею. Сущность этой идеи — самосознание трудового пролетариата»... <sup>1)</sup>).

Маркс указал задачу, наметил путь; но сам, разумеется, мог только отчасти выполнить преобразование тех наук, над которыми работал. Другие продолжали и продолжают: научное творчество — дело коллективного труда; силы личности, время жизни, которым она располагает, ограничены, как бы ни была она гениальна. Да и опыт постоянно накапливается новый: в наше время стало известно много таких фактов, каких во времена Маркса не было, или с каких не имели понятия.

Но это дело преобразования наук ведется до сих пор совершенно неорганизованно, без всякой планомерности; оно представлено всецело личной инициативе и, следовательно, случаю. Выступает какой-нибудь теоретик со статьей или книгой, в которой предлагает какую-нибудь новую теорию, новое освещение фактов; другие теоретики промолчат или выскажутся, кто за, кто против, по своему вкусу; все это делается «по ученому», пишется специальным языком, и остается в книжной области, — рабочие массы тут не причем; иногда, только, с большим запозданием, дойдут до них отзвуки научной полемики, и тоже в случайном виде, через обычные искажения фракционной борьбы. У буржуазного мира есть свои научные учреждения — университеты, академии, общества ученых специалистов, — которые коллективными средствами поддерживают и развивают буржуазную науку. У пролетариата еще нет ничего подобного. И всякий добросовестный наблюдатель должен признать: развитие науки пролетарской за последние десятилетия шло медленнее, чем развитие большинства наук, разрабатываемых буржуазными учеными. А между тем, сами по себе, методы, приемы пролетарской науки не могут не быть совершеннее, глубже, могущественнее тех, которыми пользуется буржуазная мысль.

Приведу яркий пример. В сравнительной филологии, т.е. общей науке об языках, о человеческой речи, долго оставался неразрешенный вопрос — о первоначальном происхождении слов. Ре-

<sup>1)</sup> А. Богданов, Памяти великого учителя (брошюра). Тифлис. 1914.

шить его и нельзя было с буржуазной точки зрения, которой недоступна мысль о том, что речь есть орудие организации общественного труда людей, и что поэтому в нем должно лежать ее происхождение. Немецкий ученый Нуаре, не имевший с рабочим классом ничего общего, силою гения поднялся над старой, буржуазной наукою, и решил вопрос. Он показал, что слово произошло из трудовых криков, т.-е. тех звуков, которые непроизвольно вырываются у людей при различных усилиях в коллективном труде, и сами собою «обозначают» эти усилия. Очевидно, что такая «трудовая» точка зрения, если применять ее дальше, должна была преобразовать все учение о развитии речи. Но продолжать дело Нуаре в этом смысле буржуазные ученые вообще не могли, а марксисты лет тридцать просто как бы не замечали его теории. До сих пор, насколько я знаю, между ними, хотя уже есть ее последователи, — нет продолжателей.

Но филология есть все же одна из общественных наук. Мы говорили об астрономии, одной из чистейших естественных наук, и убедились, что ее сущность — организационно-трудовая. Но, разумеется, она такова лишь с рабоче-пролетарской точки зрения, а не буржуазной. Ясно, что при таком понимании должно быть изменено все освещение и расположение материала астрономии, все ее изложение и способ преподавания.

Существенно-новый материал, какие-либо специальные открытия пролетарские методы вряд ли могут внести в астрономию: у рабочего класса, до его полной победы, своих обсерваторий, надо полагать, не будет. И все же эта наука станет иною по своему облику, по жизненному значению, по своей роли в общественной борьбе. Она перестанет быть орудием возвышения классов господствующих над трудящимися, средством незаметного обуржуазивания тех жаждущих знания выходцев из пролетариата, которые отдаются ее изучению. Она делается частью углубленного пролетарского сознания, одним из орудий сплочения, организации лучших сил рабочего класса, и привлечения к нему тех наиболее научно мыслящих элементов другой среды, которых не удовлетворяет оторванная от жизни «наука для науки».

И опять-таки, то же относится ко всем прочим естественным



и математическим наукам, организационно-трудовую сущность которых предстоит выяснить и развернуть во всем их изложении.

Наименьшие преобразования потребуются в науках прикладных, технических, как технология, агрономия и пр. Их организационно-трудовое содержание само по себе ясно. Однако, и в этих, теперь чисто «инженерских» науках, пролетарская мысль не может остаться бесплодной. Ученый техник рассматривает рабочую силу извне, а не изнутри, с некоторого отдаления, а не в полной близости. Поэтому от него могут, и даже должны ускользать некоторые соотношения между рабочей силой и орудиями труда, между живыми и мертвыми элементами производства. Напр., очень важный в наше время вопрос о переходе целых предприятий от одного производства к другому, или о переходе работников от одной работы к другой будет рассматриваться пролетарским ученым во многом иначе, и на более широкой технической основе, чем цеховым интеллигентом-инженером. — А затем, разумеется, в пролетарской обработке все изложение должно подвергнуться значительным упрощениям и облегчениям, о которых нет надобности заботиться специалистам-интеллигентам.

Так по всему фронту науки должна развернуться преобразующая деятельность классовой пролетарской мысли.

### III.

И это не все. Рабочему классу предстоит не только получить и преобразовать для себя все научное наследство буржуазного мира. Его историческая задача, его социальный идеал требует, чтобы он создал в царстве науки нечто новое, чего буржуазный мир не только не мог создать, но о чем не был способен даже поставить вопроса.

Осуществление социализма означает организационную работу такой широты и глубины, какой не приходилось еще выполнять ни одному классу в истории человечества.

Работа, выполненная буржуазией с ее интеллигенцией, не может идти ни в какое сравнение с этим. Капиталистический мир организован только в малых частях, и неорганизован в целом. Независимо и разрозненно устраиваются отдельные отрасли производства и внутри их отдельные предприятия. За пределами строй-

ной, планомерной организации предприятий, в их взаимных отношениях, в их рыночной связи, во всем мировом хозяйстве царствует анархия, стихийность, борьба.

И современная наука, которая служит этому мировому хозяйству, тоже разрознена, неорганизована в своем целом. Все ее отрасли, «специальные науки», имеют организационно-трудовой характер, но каждая лишь частично, для какой-нибудь отдельной области или отдельной стороны производства. Технические науки так и распределяются по отраслям производства; руководящая роль математики относится к расчетной или количественной стороне трудовых процессов, астрономии — к их ориентировке в пространстве и времени, механики, физики — к учету материальных сопротивлений, противостоящих трудовым усилиям, и т. д. Так же ограничена роль каждой из общественных наук. Политическую экономику обычно считают какой-то всеобщей наукой о хозяйстве; это совершенно неверно: она есть только наука о взаимных отношениях между людьми в сотрудничестве и в присвоении; вне ее остается вся техника производства и вся область идеологии, т.-е. общественного сознания, вносящего планомерность и порядок в хозяйственную жизнь.

Все специальные науки живут самостоятельно, развиваются каждая сама по себе, — в этом заключается их разрозненность, общая анархия, царства науки. Если бы рабочий класс ограничился только тем, что овладел бы ими, хотя и преобразовав их для себя, достаточно ли было бы этого для решения его мировой задачи — организации социалистического общества?

Мы теперь знаем — особенно наглядно показала это война, — что социализм не может осуществиться в какой-нибудь отдельной стране; он должен охватить все страны, или, по крайней мере, такой обширный союз стран, который мог бы обходиться во всем производстве самостоятельно, не зависел бы от ввоза материалов из отсталых государств, и не находился бы в опасности от их военной силы. Таков гигантский масштаб планомерной организации, которую придется создавать рабочему классу.

Потребуется на прострапстве во много миллионов квадратных верст между сотнями миллионов разнообразнейших рабочих сил целесообразно распределить миллиарды разнородных орудий и сотни миллиардов пудов всевозможных материалов, а также и

жизненных средств, — так чтобы все потребности производства и работников полностью удовлетворялись, а продукты каждой отрасли своевременно доставлялись всюду, где они должны быть применены в труде или потреблении.

Но это еще не все. Новое общество должно стоять в культурном отношении на уровне беспримерных задач, и быть достаточно однородным по идеологии. Если различные части его будут по своим мыслям и стремлениям так несходны, как, напр., в наше время рабочий, интеллигент и крестьянин, то планомерно строить свою общую организацию они не смогут, как не способны планомерно строить здание работники, говорящие на разных языках.

Техническую сторону общественного хозяйства с полной точностью можно обозначить, как организацию вещей, экономическую — как организацию людей; идеология же класса или общества есть организация его идей. Следовательно, задача в ее целом представляется, как планомерная мировая организация вещей, людей и идей в единую, стройную систему.

Разумеется, только научным путем мыслимо осуществить все это. Но достаточна ли тут современная наука в ее разрозненности, наука, раздробленная на специальные отрасли, работающие самостоятельно?

Если каждая из них будет сама по себе организовать ту или иную область, ту или иную сторону производства, то ясно, что общей научно-стройной организации от этого не получится. Это то же самое, как если бы при постройке дома плотники свою долю работы выполняли по своим расчетам и соображениям, каменщики — по своим, печники, кровельщики — тоже, и т. д. Там все отдельные работы подчинены общему руководству инженера-архитектора, представителя объединяющей их строительной науки; только при этом условии достигается планомерность постройки, соответствие всех ее частей и сторон, деловая организованность.

Очевидно, и работа отдельных научных отраслей в организации планомерного мирового хозяйства должна быть подчинена такой объединяющей науке. Какой же именно? Если дело идет сразу и совместно об организации людей, вещей и идей, то ясно, что это наука всеобщая организационная.

Это — наука, охватывающая и закрепляющая весь организа-

ционный опыт человечества. Она должна вывести из него законы, по которым группируются в целостное единство или разобщаются между собою какие угодно элементы бытия — предметы и силы, природы мертвой или живой или идеальной.

Буржуазный мир неспособен создать такой науки: она чужда его сущности. Он весь пропитан анархией, весь разрознен, раз'единен перегородками; его силы враждебно сталкиваются, стремясь дезорганизовать друг друга; ему ли собрать вместе и гармонично слить организационную волю и мысль, рассеянную в его среде, дышащей противоречиями?

Пролетариат организует вещи в своем труде, себя самого — в своей борьбе, свой опыт — в том и другом; это класс организатор по самой природе. Он призван разрушить все перегородки человечества, положить конец всякой его анархии. Он — наследник всех классов, выступавших на арене истории; их организационный опыт — его законное наследство. Это наследство он и призван свести к стройному порядку — к форме всеобъемлющей науки. Она будет для него основным, необходимым орудием воплощения в жизнь его идеала.

#### IV.

Преобразовать для себя и дополнить научное наследство старого мира — это далеко еще не вся задача рабочего класса по отношению к науке, это еще не значит для него — о в л а д е т ь. Он действительно владеет только тем, что вошло в его массы, что в них прочно укоренилось. Здесь перед нами выступают вопросы о «популяризации» знаний и об образовательных учреждениях.

Слово «популяризация» выражает, в сущности, только тот тип распространения знаний, который выработан буржуазией и соответствует ее интересам. Капиталу, при современных способах производства, необходимо, чтобы рабочие были толковы, культурны, до известной степени интеллигентны; но невыгодно, чтобы они имели глубокие и серьезные знания, потому что такие знания — сила в классовой борьбе. «Популярное» изложение какой-нибудь науки должно быть, конечно, легким и понятным, но поверхностным; оно берет верхушки знания, но не дает овладеть

методом его выработки, не создает опоры для углубленного труда над ним, и не располагает к такому труду. Популяризация должна быть интересна; для этого в ней, как бриллианты в витрине магазина, бывают собраны поражающие ум сведения, напр., о гигантских звездных расстояниях, о кольцах Сатурна, о каналах на Марсе, и т. под., все это как готовые результаты. Но тем труднее переход к действительному изучению. А «серьезные изложения», словно в противоположность популяризации, даются в усиленно сухой и тяжелой форме, написанные часто до варварства доходящим специальным языком, усложненные балластом схоластических рассуждений и доказательств. Они обычно так утомительны, скучны, непривлекательны, что сами дети буржуазии, в ее средних, высших и специальных учебных заведениях, справляются с ними только при подстегивании довольно суровой дисциплины, искренно рассматривая ученье, как особого рода чистилище. Тем не менее они справляются; а для масс остается грамотность низших школ и, сверх нее, легкая, неопасная «популяризация», часто, вдобавок, переходящая в пошлую, неточную и грубую «вульгаризацию».

За последние десятилетия выступил более высокий тип распространения знаний. Его вырабатывала демократическая часть интеллигенции, во главе которой идут наиболее прогрессивные люди науки. Они стремятся внести действительное знание в народные массы, устраивают народные университеты и практические курсы подходящего к ним уровня; соответственно своей задаче, они перерабатывают и способы изложения наук. Удалось выяснить, что возможно уже теперь в очень большой мере упростить и сократить по объему курсы почти каждой науки, без малейшего ущерба для глубины и точности, и обыкновенно еще с выигрышем для ясности изложения. При этом основной задачей ставится — научить методу науки и методам ее применения, так чтобы человек мог и сам учиться, и практически пользоваться знанием. Интерес к знанию усиливается и углубляется, оно проводится в массы, как действительное знание, а не как поверхностные «сведения». Это — демократизация науки.

• Не то ли это самое, что нужно рабочему классу? Без сомнения, да; но и это далеко еще не достаточно для него.

Вот, положим, «Практическая математика для ремесленников», проф. Джона Перри. Она рассчитана, главным образом, на рабочих-механиков, дает в простой и сжатой форме методы математического вычисления и анализа вместе с их практическими приложениями. Но эти методы и приложения, эта сила науки дается, как орудие труда для изучающего работника, взятого в отдельности, как орудие личной его работы и личного успеха. Ученые демократизаторы сами так понимают дело, и других могут учить только в том же смысле. Но какое самосознание при этом развивают они в работнике, личное или классовое, социальное? усиливается ли связь работника с его коллективом, с трудовой массой, или, напротив, он выделяется из нее своим приобретенным знанием, обособляется от нее, поднимаясь в своих глазах на более высокую ступень? Очевидно, должно получаться скорее второе. Мы видели, что современная наука способна обуржуазивать тех энергичных одиночек, которые из рабочего класса поднимаются до ее высот. Здесь же это действие только слабее, но должно существовать: а слабее оно потому, что демократизация знаний захватывает все же не одиночек, а более широкие круги, и до вершин науки их пока еще не доводит.

Итак, простая демократизация знаний не достаточна для рабочего класса. Она, конечно, повышает его культурность, но не возвышает его, как класс, потому что дает науку не как силу класса, а как силу его единиц, хотя бы и многочисленных.

Что же еще требуется? Посмотрите, в таком ли виде и значении распространяется среди рабочих масс экономическая и историческая теория марксизма, т.-е. наука, уже преобразованная с пролетарской точки зрения. Пролетарий ее воспринимает жадно и глубоко; но является ли она для него личным орудием успеха? Видит ли он в ней средство выдвинуться из своей рабочей среды и подняться над нею? Если это и бывает с отдельными честолюбцами, то все же это исключение, потому что общий смысл ее не таков.

Ее метод — классовой; он заключается в том, чтобы рассматривать жизнь человечества с позиции пролетариата, его глазами, т.-е. основываясь на его коллективном опыте. Ее применение — тоже классовое: оно заключается в сплочении рабочего класса, в строительстве его организации, в коллективной борьбе за его идеал. Такое знание — сила не личности, а коллектива; оно не

разрознивает пролетариат, выделяя посвященных из среды непосвященных, а теснее связывает его.

Тут распространение науки в массах оказывается не простой ее демократизацией, а настоящей социализацией. Вопрос о том, как пролетариату овладеть наукою, привел нас к уже знакомой задаче, слился с вопросом о преобразовании науки. И мы знаем, что не только политическая экономия или история способны к такому преобразованию и подлежат ему, а всякая наука. Всякая наука, воспринимаемая с точки зрения рабочего класса, есть собранный трудовой опыт человечества, орудие организации общественного труда, средство социальной борьбы и строительства, сила не личная, а коллективная.

Условием распространения знаний является отнюдь не одна простота и понятность изложения, но прежде всего — интерес к ним в массах. Пока, напр., астрономию или высшую математику они считают чем-то вроде тонкой забавы праздных людей, до тех пор стремление изучать ее будет для человека массы случаем редким и исключительным, своего рода странностью, капризом. Когда становится известно, что такие науки, при серьезном, стоящем немалого труда, изучении, могут стать орудием личного успеха и карьеры тогда они привлекают наиболее честолюбивых и способных представителей массы. Насколько живее интерес к науке, насколько она ближе и роднее для всякого рабочего, для человека массы, когда он знает и чувствует ее присутствие во всем своем труде, ее невидимое руководство во всем сотрудничестве, в каждом усилии общей работы!

Только социализация науки может глубоко укоренить ее в пролетарских массах, только она позволит рабочему классу овладеть наукою. А овладеть ею необходимо ему в полном масштабе научного знания, во всей широте различных его отраслей. Ибо все науки участвуют в организации мирового производства, — а рабочему классу предстоит научно организовать все мировое производство.

## V.

Задачу — овладеть наукою, т.-е. преобразовать ее для себя и распространить в своих массах, — пролетариат должен выполнить

посредством своей классовой научно-пропагандистской организации — Рабочего Университета.

Слово «университет» первоначально означало не то, что теперь обычно называется этим именем, а — совокупность, систему взаимно связанных учебных и учено-учебных заведений. В подобном же смысле говорим мы о Рабочем Университете.

Он должен явиться системой культурно-просветительных учреждений, тяготеющих к одному центру, объединяющему и формирующему научные силы вроде того, как это делают нынешние университеты и академии. Ступенями к этому центру должны служить высшего и низшего типа общеобразовательные курсы. Общеобразовательные, конечно, не по обычным нынешним программам государственных школ, а по программам, настолько широким и энциклопедичным, насколько это возможно и нужно для выработки сознательного рабочего коллективиста. С каждой ступенью общеобразовательных курсов должны связываться дополняющие ее ряды курсов специальных, с более частными практическими целями, как, положим, по профессиональному движению, по политической агитации, различные профессионально-технические курсы и проч. Единство программ в этой системе должно ставиться задачей, но на деле оно создастся лишь в работе и развитии всей организации. Оно не может и не должно быть навязано ее частям в начале, потому что надо много искать и испытывать, чтобы найти лучшее.

Постановка работы в учреждениях Рабочего Университета необходимо должна соответствовать общему типу и духу пролетарской организации; а это значит — она должна быть основана на товарищеском сотрудничестве учащихся и учащихся. Не таковы обычные современные отношения, при которых учитель или профессор является непреложным авторитетом, умственной властью для слушателей. Однако, и в рабочей среде товарищеские отношения легко извращаются там, где есть большое неравенство знаний и опыта, — легко переходят тогда в духовное подчинение одних другим, в слепое доверие, мешающее развиваться и критике и творчеству. Вся просветительная пролетарская организация должна быть и школой товарищеских отношений, где необходимое руководство знающих не подавляло бы



умственной самостоятельности мысли изучающих, не вело бы к явному или скрытому порабощению.

В этих условиях совместная работа будет естественно проникаться коллективно-трудо­вой точкой зрения, которая и есть точка зрения рабочего класса; и преобразование науки, ее понятий и их изложения, будет совершаться не только личными усилиями передовых теоретиков, но в гораздо большей мере той общей, самоорганизующейся активностью всех участников, в которой нельзя отличить, что принадлежит одному, что — другому. И именно потому, что сущность преобразования лежит в классовой точке зрения, в новой логике, иначе освещающей старый опыт, очень часто может оказаться, что в общем обсуждении научного вопроса, научной теории, учащийся даст правильное и полезное указание, которое не приходило в голову его руководителю просто потому, что у него сильнее интеллигентские привычки мышления. В моем личном опыте пропагандиста это случалось не раз.

Из коллективной жизни Рабочего Университета, путем выработки наилучшего курса изложения каждой науки и приведения таких курсов в стройную связь, возникнет Рабочая Энциклопедия. Она объединит в наиболее совершенной форме и в наименьшем возможном объеме основную сумму всенаучного знания, необходимую рабочему, чтобы ясно понимать свое место и роль в природе и в обществе, чтобы сознательно и выдержанно идти по своему классовому пути. Феодалное общество вырабатывало свои религиозные энциклопедии, буржуазия накануне Великой революции создала свою просветительную энциклопедию. Пролетариат, класс, которому предстоит организовать жизнь несравненно шире по масштабу и глубже по захвату, тем более не может обойтись без создания своей энциклопедии. Она послужит для него могучим средством идейной самоорганизации, могучим оружием борьбы и орудием строительства в выполнении мировой его задачи — в завоевании царства социалистического идеала.

## Наука и пролетариат.

(1913 <sup>1)</sup>).

Наука имеет классовый характер. Ее классовый характер не в том, что она защищает интересы того или другого класса. Наука, которая поставила для себя задачей защищать интересы определенного класса, уже не является наукой, как, например, нельзя назвать наукой вульгарную политическую экономию.

Но и далекая от желания специально защищать интересы класса наука является классовой по самой своей природе. Эта классовая природа ее выражается в происхождении, точке зрения, методах разработки и изложения. И такой характер имеют все науки, а не одни общественные знания; даже такие науки, как математика или логика.

Природа науки состоит в том, что она есть организованный коллективный опыт людей и служит орудием организации жизни общества.

Господствующая наука в самых различных ее отраслях является буржуазной: работали над ней, главным образом, представители буржуазной интеллигенции, концентрировали в ней материал опыта, доступный буржуазным классам, понимали и освещали его с точки зрения этих классов, организовали приемы и способы, для них привычными, им свойственными; и в результате наука эта служила и раньше, и служит до сих пор, орудием буржуазного устройства общества: сначала—орудием борьбы и победы буржуазии над классами отживающими, потом—орудием ее господства над классами трудовыми, все время—орудием организации производства и всего того производ-

<sup>1)</sup> Доклад на I Всеросс. Конференции Пролет. Культурно-Просвет. Организаций.

ственного прогресса, который осуществлялся под руководством буржуазии. Такова организующая сила науки; но здесь же видна ее историческая ограниченность.

Эта ограниченность сказывается уже в самом материале науки, в содержании опыта, который она организует,—и всего заметнее в общественных науках. Так, изучая производственные отношения, буржуазная наука не могла уловить и выделить особую, и как раз высшую, форму сотрудничества, товарищескую или коллективистическую, потому что эта форма почти не свойственна буржуазным классам. У них есть только такие ее зародыши, как ассоциации, напр., научные, художественные и т. п., главным образом, в идеологической области. Эти зародыши не могли определить собою мышления буржуазных классов, которое всецело индивидуалистично. А не имея понятия о товарищеском сотрудничестве, буржуазная наука не могла уловить многих важных условий развития машинного производства, равно как и развития рабочего класса.

Но еще гораздо значительнее ограниченность той основной точки зрения, которая проникает всю буржуазную науку, потому что подсказывается ей самым положением буржуазных классов в социальной системе, и, следовательно, всем их бытом. Эта особенность заключается в отрыве науки от ее действительной основы—общественного труда.

Начало этому отрыву было положено обособлением труда умственного от физического. Само по себе это еще не исключает сознания неразрывной связи практики и теории в общественном процессе, как едином целом. Но для буржуазных классов это целое невидимо, находится вне поля их зрения. Они воспитываются на индивидуальном хозяйстве, частной собственности, борьбе рынка; вследствие этого они индивидуалистичны по своему сознанию, и социальная природа науки им недоступна, непонятна. Для них наука не есть организованный коллективно-трудовой опыт и орудие организации коллективного труда; для них познание есть нечто само по себе, нечто даже противоположное практике, имеющее свою особую «идеальную», «логическую» природу», и если фактически может руководить практикой, то именно в силу этой особой высшей природы, а отнюдь не потому, что из практики происходит и ради нее вырабатывается.

Между тем, для нас наука способна руководить трудом именно в силу своей трудовой природы. Буржуазная точка зрения совершенно перевертывает действительные соотношения. Такие извращения принято называть фетишизмом. Здесь перед нами своеобразный фетишизм, который можно назвать «отвлеченным фетишизмом познания».

Развитие буржуазного мира шло во всех областях его творчества, в том числе и в области науки, по пути все возрастающей специализации. Наука дробилась на отрасли, число которых возрастало. Расхождение их усиливалось, все более уменьшая живое общение между ними; индивидуалистическое раз'единение людей обостряло этот процесс, потому что, если специалисты одной отрасли еще вынуждаются необходимостью взаимно делиться опытом и мыслями, то специалисты разных отраслей сравнительно свободны от такой необходимости. Этим путем наука пришла к великой разрозненности, подобной разрозненности самого капиталистического общества; и в такой же аналогии — анархически шло ее развитие.

Результат был тот, что буржуазная наука хотя накопила во всех областях громадное богатство материала и методов его разработки, но не могла привести его в стройную и планомерную, целостную организацию. Каждая специальность создала даже свой особый язык, непонятный и для ученых другой специальности, не только для широких масс. Одни и те же соотношения и связи опыта, одни и те же приемы познания изучаются в разных отраслях, как вещи совершенно различные; методы одних отраслей с трудом и большим опозданием проникают в другие.

Во всех науках о жизни идея приспособления служит основной руководящей точкой зрения. В социальных науках вообще и в политической экономии в частности на деле изучаются именно процессы человеческого приспособления; но даже самого слова «приспособление» вы там почти не встретите. Речь идет только об «интересах», «выгоде». Это — только субъективная сторона приспособления, и благодаря непониманию этого, многие вопросы объективного приспособления не могут быть правильно поняты. Приведу еще более грубый пример: в мои школьные годы учили в арифметике пропорции, тройное правило, простое и сложное, правило процентов; учет векселей; и даже тогда мне, ребенку,

было странно, почему это все разделяют и учат особо, когда это—одно правило. Такое смешение языков в современной разрозненной науке,—своего рода столпотворение вавилонское в смягченной форме,—неизбежный источник дезорганизации. Отсюда и узость кругозора, цеховая ограниченность, развивавшаяся в людях науки, ослаблявшая и замедлявшая творчество.

Развитие машинного производства, внося единство в технические методы, вызвало и в науке тенденцию к объединению методов, к преодолению вредных сторон специализации. Много сделано в этом направлении; но, пока остается коренной отрыв всех отраслей науки от их общей, социально-трудовой основы, до тех пор эта тенденция может действовать только в частностях, но не привести к стройной и единой организации науки в целом.

В высшей степени важно и интересно, что объединение методов науки идет прямо из области производства. Так, вся область физико-химических наук объединяется теперь принципом энергетика. Но что такое энергетика? Это принцип машин, прямо перенесенный в познание; ибо машины именно и выполняют на деле превращение энергии. Но для буржуазии, отошедшей от производства, эта связь с ним энергетика остается непонятной и даже незаметной.

Буржуазная наука мало доступна рабочему классу. Она слишком громоздка по чрезмерному накоплению и недостаточной организованности материала. Самый язык ее, тяжелый, трудный, является одним из серьезных препятствий, чтобы овладеть ею. Кроме того, буржуазная наука является товаром, который продается слишком дорого для рабочего класса. Но все же отдельные энергичные представители рабочих преодолевают эти препятствия и овладевают той или иной отраслью знания.

Каковы же результаты? Получает ли рабочий то, что ему нужно? Дает ли ему буржуазная наука могучее средство для осуществления слияния науки с жизнью?

Нет. Получаются обычно иные результаты. Рабочий, незаметно для себя, пропитывается духом буржуазной культуры, усваивает себе ее мировоззрение, отрывается от трудовой природы науки и от связи со своим трудовым классом. Незаметно для себя он превращается в духовного аристократа с типичными признаками

цевой ограниченности. Его душа получает отпечаток буржуазной культуры.

Такова картина. Она достаточно определена для того, чтобы сделать соответствующие выводы, а именно: необходимо переосмотреть современную науку с пролетарской точки зрения как по содержанию, так и по форме изложения; необходимо создать новую организацию как для разработки, так и для распространения науки в рабочих массах. В большинстве научных отраслей выполнение этих задач будет означать планомерное получение наследства старого мира; но в некоторых отраслях знания потребуется широкое и глубокое самостоятельное творчество. Все это необходимо, чтобы вновь связать науку с миром труда, заполнить пропасть, вырытую буржуазной наукой, сделать так, чтобы в сознании масс она была тем, что есть на деле: практическим опытом человечества, орудием организации его практики.

До сих пор лишь общественные науки, и то отчасти, выполняли эту задачу; дело начал и больше всех осуществил Карл Маркс. Но этого мало. Эта работа должна быть распространена на все области познания. Преобразование это сделает науку жизненно близкою для рабочего класса.

На первый взгляд кажется, что такая задача неосуществима, когда дело идет о специальных отраслях знания, напр., физиологии, физике, астрономии и т. д.

Но если подойти к вопросу глубже, если проанализировать понятия каждой науки с новой точки зрения, то станет ясно, что в высказанном взгляде нет ничего нереального.

Возьмем физиологию — науку о нормальных жизненных отправлениях организма. Все эти отправления представляют процессы затраты и восстановления энергии; следовательно, перед нами не что иное, как учение о рабочей силе. Раз это понято, какой глубокий интерес получает она в глазах рабочего, который увидит в ней науку, близкую его непосредственной жизни и деятельности.

Или возьмем физико-химические науки, «физику» в широком смысле слова. Ее обычно определяют как науку об изменениях материи. Но что такое материя?—В это понятие вкладывается весьма различное содержание; в философии это слово имеет не меньше десятка значений, и даже в науке не одно. Наиболее

точное определение, до какого дошла современная наука, характеризует материю по признаку «сопротивления». Дальнейшее исследование показывает, что дело идет именно о том «сопротивлении», которое объективно, т.-е. имеет силу и значение для всех людей, а не для отдельного человека, для которого «сопротивлением» могут быть и призраки сна и галлюцинации; т.-е. материя есть то сопротивление, с которым встречается коллективный труд людей.

Подобным образом можно определить астрономию, как учение об ориентировке трудовых усилий в пространстве и времени. Логику следует понимать, как теорию социального согласования идей, организационных орудий труда,—и т. д. Ясно, насколько в таком понимании все эти науки ближе к сознанию рабочего.

Далее, необходимо стремиться к устранению той разрозненности науки, которая порождена ходом специализации: к единству научного языка, к сближению и обобщению методов разных отраслей знания не только между собою, но и с методами разных областей практики, к выработке полного монизма тех и других. Его воплощением явится всеобщая организационная наука, необходимая пролетариату, как организатору в будущем всей жизни человечества, всех ее сторон.

Что касается формы изложения наук, то и здесь задача заключается в наибольшем упрощении без ущерба для сущности излагаемого. За последнее время делались попытки к демократизации знания, и они наглядно показали, какое количество ненужного баласта хранится в буржуазной науке, как много можно выбросить лишнего, как можно много упростить, не изменяя сущности знания. Пересмотр науки с коллективно-трудовой точки зрения в значительной степени поможет упрощению. Для примера возьмем ту же геометрию. Для буржуазного сознания это отвлеченно-логическая наука. Между тем, она—типичнейшее орудие для организации человеческого труда. Еще в эпоху Древнего Египта жрецы пользовались геометрией, как орудием для правильного распределения и построения земельных участков, затопляемых ежегодно разливами рек, для руководства инженерными работами и проведением дорог, для астрономических наблюдений, по которым совершался расчет времени сельскохозяйственных

работ. И геометрия понималась тогда, как религиозное откровение, как истина, исходящая от божества.

В современном нам буржуазном мире геометрия в широком масштабе руководит организацией современной техники, и понимается, как «чистая наука». Так в разные эпохи наука имеет разный вид и понимается в разном смысле, находясь в руках различных классов. С этой точки зрения не парадоксом будет сказать, что если была геометрия феодальная, затем буржуазная, то теперь нужна и будет геометрия пролетарская.

Итак, из всего сказанного ясно, что перед пролетариатом стоит великая задача: провести социализацию наук, сделать их способными служить задачам социалистической борьбы и строительства. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо создать, как уже было указано, организацию для распространения знаний и способствовать самому широкому проявлению творчества рабочей массы. Распространение знаний и научная работа неразрывно связаны; их жизненным воплощением должны явиться Рабочий Университет и Рабочая Энциклопедия.

Не нужно думать, что Рабочий Университет явится сколком современных буржуазных университетов. Нет. Поскольку сейчас университеты резко разграничивают специальности, постольку самый их принцип неприемлем для нас.

Рабочий Университет должен представлять систему культурно-просветительных учреждений, ступенями восходящих к одному центру формирования и организации научных сил.

В этой системе на каждой ее ступени курсы общеобразовательные должны дополняться специальными, социально-практическими и научно-техническими.

При единстве основной программы, связывающей все ступени вместе с их дополнениями, будет сохранена полная свобода попыток усовершенствования, как частных программ, так и методов. Это будет гарантией развития, сохранения живого духа в работе университета.

По типу организации Рабочий Университет будет резко отличаться от современного буржуазного университета, который построен на авторитете, на духовной власти, на строгом разделении



безусловных руководителей и пассивных учеников, послушно воспринималонцих духовное богатство от своих наставников.

В пролетарском университете принцип иной. Здесь нет «учителей», здесь товарищество, сотрудничество, живая совместная работа, освещенная духом свободной критической мысли. Здесь речи нет о пассивном восприятии знаний. Основной задачей пролетарского университета является дать возможность работающим овладеть методами научного исследования. Это может быть достигнуто только работой, и всего лучше—совместной, товарищеской работой.

Опыт показал, что эта задача осуществима. Лично мне пришлось работать в рабочих школах на Капри, в Болонье; и товарищи могут подтвердить вам, что именно так была поставлена там работа, и что она принесла свои результаты.

В данный момент это дело становится на прочную и широкую почву: организуется Московский пролетарский университет. Уже устроена Социалистическая академия, и т. д. Все они являются отдельными частями одного великого целого — Рабочего Университета.

Не нужно думать, что мы собираемся разрушить университеты, созданные буржуазной культурой. Нет; мы признаем, что в данный момент они еще нужны, так как выполняют необходимую работу по созданию культурных ценностей. Они еще не отжили свой век. Теперь мы еще не можем обойтись без буржуазной интеллигенции и ученых. Нам еще надо создать свою рабочую интеллигенцию, своих студентов, своих ученых.

Тов. Покровский в своем докладе говорил, что нам нужно подготовить как можно скорее тысячи пролетарских студентов, которые занимали бы государственные университеты и выжали бы из рук буржуазных ученых знания, необходимые для организации народного хозяйства. Но он не остановился на том, какова должна быть эта подготовка. Она должна быть отнюдь не только научно-техническая: научить рабочего пользоваться литературой, научными приборами, дать ему элементарные научные знания, и только. Этого мало. Если только с этим он придет в старые храмы буржуазного знания, она подчинится его буржуазному влиянию, как подчинялись до сих пор выходцы из рабочей среды в мир буржуазной науки. Эта «чистая» наука оторвет его от трудового мира

и будет воспитывать в нем духовный аристократизм, который так легко появляется в начинающих изучать «высшие науки», доступные лишь немногим. Ведь зародыши такого аристократизма вы видите всюду в связи с наукой; даже рабочий, только-что усвоивший некоторые иностранные слова, часто начинает наивно щеголять ими. Нужно воспитать сознательного, образованного в социальном смысле рабочего студента, который не поддастся бы духу буржуазной науки и планомерно брал бы у старых университетов то, что ему нужно и полезно; притом в кратчайшее время, а не в 4—5 лет, которые буржуазия дает для этого своим обеспеченным и не желающим усиленно трудиться детям. Таких студентов даст только подготовка в Рабочем Университете, на низших и средних его ступенях, тогда как высшие будут и сами по себе давать знание более полное и совершенное, чем старые университеты.

Пролетарский университет явится также организацией для выработки Рабочей Энциклопедии. Она необходима для борьбы и работы пролетариата. История показывает, что каждый великий класс создавал свою энциклопедию. Были энциклопедии феодальные, жреческие: библия — энциклопедия еврейской феодальной эпохи; книги Ману — индуасского феодализма, и т. под. Для борьбы против феодального строя французская буржуазная интеллигенция создала «Великую Энциклопедию», которая послужила могучим орудием в ее руках. Самая форма энциклопедии зависела всегда от способов мышления создающего их класса; жреческие, вроде библии, имели вид историко-морального, на откровении построенного руководства разными сторонами жизни; разрозненное буржуазное мышление нашло наилучшую форму в словаре, где куски знания связываются просто с отдельными словами. Пролетарская энциклопедия явится целостной картиной методов и достижений как труда, так и познания. В этом виде она явится лучшим орудием победоносной классовой борьбы и творческого строительства.

Наш общий лозунг в области мысли — социализация науки. Наши лозунги научно-организационные — Рабочий Университет, Рабочая Энциклопедия.

# Идеал воспитания <sup>1)</sup>.

(1918).

Воспитание есть работа, превращающая человеческую личинку в действительного члена общества. Следовательно, это работа, вводящая новые единицы в социальную организацию, и таким образом ее формирующая,—работа организационная. Она подобна делу набора, обучения, дисциплинирования, распределения рекрутов для армии. Сущность ее заключается в том, чтобы приготовить человека к выполнению той роли, тех функций, которые ему в системе общества придется выполнять.

С развитием общества изменяются функции в нем отдельных человеческих единиц. Естественно, что изменяется вместе с тем и характер воспитания, его конкретные задачи, его идеал.

## I.

В обществе первобытно-родовом, до-авторитарном, стихийна была вся жизнь людей, и так же стихийно было воспитание. Оно, собственно, и не существовало, как особая задача. Не было власти—подчинения, почти не было разделения труда. Роль каждого члена общины в его труде не отличалась от роли других, являясь стереотипной: одинаковые действия, одинаковые навыки. Ребенок подготавливался к ней на деле, путем непосредственного подражания старшим и путем их практических указаний, даваемых от случая к случаю, по мере надобности. Это еще зоологический тип воспитания.

Вместе с первым дроблением человека, и воспитание стало впервые выделяться, как особая задача.

В обществе авторитарном (сначала патриархально-родовое, затем феодальное) имеется в разных формах власть руко-

<sup>1)</sup> Доклад на конференции учителей гор. Москвы в мае 1918 г.

водителя-организатора; следовательно, требуется дисциплина повиновения; развивается в той или иной степени и специализация; значит, нужно также специальное обучение. Строй этот консервативен по основной своей тенденции; таким образом, роль каждого заранее предопределена либо прямо ролью его родителей, занятие которых он наследует, либо вообще указаниями традиции.

Господство авторитета и традиции означает мироотношение всецело религиозное. Таково же тогда и воспитание. Религия внушает ребенку понятия и чувства, образующие авторитарную дисциплину: убеждение в непреложности властного начала, божественного и земного, преклонение и покорность перед ним... Она же дает ему связь традиции: откровение в прошлом, неизбежность устоев, завещанных предками, и тем самым—священных.

Что касается специального обучения тому или иному делу, то оно было всецело эмпирическим, проводилось на самой практике, путем подражания, с одной стороны, властных указаний— с другой. Никакой теоретической подготовки не было и быть не могло, так как научной точки зрения не существовало.

Хотя воспитание и стало уже особой задачей, но оно не сделалось еще особой специальностью. Воспитателем является «авторитет»: в начале—ближайший, родители ребенка, которые и потом сохраняют эту роль, до сих пор; затем, как руководитель общего воспитания, выступает организатор жизни общины, патриарх; позже его сменяет жрец; тот и другой—представители религии, традиции, власти.

Идеал воспитания здесь прост, ясен и чужд отвлеченности: подготовить человека для вполне определенной, не им выбранной, общественной функции.

## II.

Буржуазное общество есть мир, в своих основах и индивидуалистический. Он характеризуется обособлением личности, противоположением человека человеку, порождаемым силою коренных жизненных условий этого строя: развивающейся специализацией, частной собственностью, внешней независимостью частного хозяйства, противоречиями частных интересов на рынке, борьбою их на всем поле жизни. Жизнь противопоставляет отдель-

ную личность всем другим, как специалиста, собственника, контрагента или конкурента, вообще как особый центр интересов и стремлений, как борца за себя и свое. Этим маскируется общественная связь сотрудничества; она скрывается от сознания людей под непрерывными столкновениями человеческих атомов, под войною всех против всех.

Эта связь, однако, не перестает существовать объективно, — иначе общества не было бы, оно бы рассычалось, как живая пыль, которая в своем бессилии была бы поглощена стихией, чтобы стать мертвым прахом. Связь существует, и ставит борьбу в рамки, удерживающие и охраняющие объективное сотрудничество. Но она является сознанию эпохи в затемненном виде, под оболочкою множества отвлеченных фетишей: стоящих над людьми «законов», «права», «справедливости», «сравнительного долга», общеобязательной для них и не зависящей от них «истины», «красоты» и проч. В своей непонятности для мышления, рассматривающего их через призму борьбы, эти схемы социальной связи настолько отрываются от жизни, над которой, однако, они господствуют, что кажутся самостоятельными, абсолютными целями, для которых она только средство: «да погибнет мир, лишь бы совершилась справедливость!»

В мире борьбы побеждает и выживает сильнейший, лучше вооруженный. Поэтому она путем подбора ведет к совершенствованию специалистов. Из этого процесса совершенствования и из постоянного расширения опыта во много раз выросшего общества зарождается научное мышление. Оно по существу своему прогрессивно, враждебно традиции.

Борьба и прогресс непрерывно изменяют отношения людей. Благодаря этому роль каждой данной личности заранее не предопределена. Человек должен сам ее определить: найти, выбрать свое призвание, свою специальность.

Специальностью становится всякая общественная деятельность, в том числе воспитательская.

Характером общественного строя ясно и непреложно намечаются задачи воспитания. Они гораздо сложнее, чем это было раньше. Человека требуется подготовить к свободному выбору специальной функции в обществе, к ее выполнению, к ее совершенствованию; и все это должно соединяться

с отстаивавшим личностью своих интересов, которое, однако, не должно разрушать общей социальной связи.

Отсюда вытекает схема индивидуалистического воспитания. Ее элементы: «общее образование», «специальное образование», «воспитание характера». Общее образование дает наиболее важные и наиболее общие знания и методы из различных специальных областей, как введение ко всем ним и подготовку выбора между ними. Дальше идет специальное образование, которое относится к выполнению и совершенствованию выбранной человеком функции. Воспитание характера, параллельное образованию, заключается в развитии самостоятельности и дисциплины. Самостоятельность требуется для борьбы, для отстаивания своих интересов; это самостоятельность по преимуществу боевая. Дисциплина же здесь означает самоподчинение фетишам морали, права и пр.; она должна удерживать борьбу за себя и свое в социальных рамках, не допуская ее переходить в разрушение, в дезорганизацию общества.

Таков индивидуалистический идеал воспитания. Он соответствует основному строю, основным тенденциям буржуазного мира. Но буржуазный мир не выступает в истории, как точно оформленная, кристаллизованная система. Он постепенно складывается, сначала развиваясь внутри феодального общества, затем разрывая и сбрасывая его оболочки; и даже в своих наиболее законченных формах он сохраняет массу элементов авторитарности — в строении семьи, капиталистического предприятия, государства с его бюрократией, и особенно армией. В различных группах и классах буржуазного общества элементы индивидуализма и авторитета соединяются в разнообразных формах и соотношениях. Соответственно этому, в фактически применяемых системах воспитания, в зависимости от характера господствующих классов и групп, основной идеал затемняется примесью остатков и пережитков прошлого, как, напр., преподаванием наряду с науками богословия, а также мертвых языков, воплощающих для массы юношества только дух традиции, внушение детям рядом с идеей свободного и чистого служения долгу, истине, справедливости — также и нерассуждающего послушания властям, и т. п.

Индивидуалистический идеал воспитания, в сущности, так и

не успел полностью, во всей чистоте осуществиться на деле, когда в жизни зародился и стал быстро развиваться на смену иной, высший идеал.

### III.

Новый мир—коллективистический—зарождается и растет среди буржуазного общества в виде рабочего класса, его организации, его новой культуры, завершается в социалистическом строе.

Организационная основа коллективизма—товарищеское сотрудничество, именно в той высшей его форме, которая складывается на основе машинного производства, и развивается дальше в классовых объединениях пролетариата. В этом сотрудничестве, как мы знаем, разделение функций перестает разединять людей: все по мере знания и опыта участвуют в выработке коллективной воли (обсуждение и решение), каждый затем в ее исполнении. Роль каждого в общем деле может и должна меняться, сообразно потребностям коллектива. Каждый определяет ее сообща с другими, и участвует в ее определении для других; это совершается вновь и вновь,—роль сотрудника является текучей. Выработка общих методов труда в машинном производстве и идущая следом за нею выработка общих научных методов в познании делают впервые возможной такую подвижность труда, а капитализм своими колебаниями рабочего рынка и неустойчивостью положения всех видов труда превращает ее в жизненную необходимость. Для социализма же она—условие гибкости форм производства и планомерности его развития.

Здесь общественный деятель уже не специалист, или, вернее, далеко не только специалист. Таким деятелем при выработке коллективной воли является каждый; да и вообще всякая работа принимает в сознании человека ясно-общественный характер: социальное сотрудничество не затемнено борьбою и разединением, его связь прозрачна.

Из основных условий нового мира сам собою вытекает новый идеал воспитания. Оно должно подготовить человека не только к выбору своей функции в системе сотрудничества—и притом вы-

бору повторному,—но и к участию в ее определении для других членов коллектива. Воспитание должно, следовательно, давать общие знания и общие методы труда, которые и создаются на этой ступени развития; в этом новое «общее образование» отличается от прежнего, которое по необходимости сводилось к сборанию обрывков, хотя бы наиболее важных и общих, из специальных областей знания и специальных методов.

Для выполнения и совершенствования функции должно, очевидно, как и прежде, служить специальное обучение. Но здесь оно не занимает такого огромного места в жизни личности, как это было раньше, отступая перед общим воспитанием, и не ограничивается одной специальностью для каждого человека. В этих условиях оно не суживает психику, а дополняет и расширяет общее воспитание, являясь его частным, практическим развитием в ту или другую сторону.

Воспитание воли гораздо глубже меняет свой характер и направление. Целепа мысль о том, что коллективизму несвойственна или ненужна личная самостоятельность. В коллективе каждый дополняет других, в этом сущность его роли. Но дополнять их он может постольку, поскольку от них отличается, поскольку своеобразен, поскольку самостоятелен. Ясно, что смысл этой самостоятельности не в отстаивании личных интересов, а в инициативности, критике, оригинальности—вообще в развитии индивидуальных способностей.

Самая шаблонная защита индивидуализма основана на игре слов, смещивающей его с развитием индивидуальности—в смысле индивидуальных способностей. На деле только коллективизм впервые создает условия для систематического и планомерного их развития. Мир индивидуализма подавляет наибольшую их массу не только своей суживающей жизнь специализацией, но еще более необходимостью для человека отстаивать свою творческую индивидуальность ценою жестокой борьбы, в которой огромное большинство людей заранее поставлено в самые невыгодные условия. Из этого большинства те немногие, которым удалось отстоять ее, могут жизненно проявить ее лишь в пределах того остатка сил, который у них сохраняется сверх растрат этой борьбы. Такова индивидуалистическая свобода индивидуального развития.

Воспитание должно дисциплинировать человека для общества.



---

Но это уже не слепая дисциплина повиновения авторитету, не фетишистическая дисциплина долга и закона. Это новая дисциплина живой товарищеской связи коллектива, сознательного подчинения его общим интересам, его целям.

Таков новый идеал воспитания. Он выше всех прежних, и труднее его осуществление. Но он ясно намечается в жизни, и шаг за шагом пробивает путь через ее сопротивление.

Роль воспитателя достигает здесь наибольшей сложности и ответственности. Но зато она впервые ясно выступает перед ним во всей своей глубине и величии. Он сознает себя действительным организатором общества, создающим истинного человека из того, что не было человеком.

---

# Пролетарский Университет.

(1918).

Первая Всероссийская Конференция Рабочих Культурно-Просветительных организаций поставила перед пролетариатом задачу «социализации науки». Это означает переработку современной науки по форме и содержанию с коллективно-трудоуемой точки зрения и передачу ее в таком преобразованном виде рабочим массам.

Конференция указала и основные организационные средства к достижению этой грандиозной цели. Они таковы:

«1) Создание Рабочего Университета — целостной системы культурно-просветительных учреждений, построенной на товарищеском сотрудничестве учащихся и учащихся и последовательно ведущей пролетария к совершенному обладанию научными методами и высшими достижениями науки.

«2) На основе деятельности Рабочего Университета — выработка Рабочей Энциклопедии, стройного, доведенного до наибольшей простоты и ясности изложения методов и достижений науки с пролетарской точки зрения».

Здесь слово «Университет» употреблено не в обычном современном его значении, а в первоначальном, гораздо более широком, смысле: вся совокупность образовательных и научных учреждений разных ступеней, в их общей связи, в единстве их цели.

Очевидно, что такая система должна иметь свой центр, и этим центром должно быть высшее научное и учебное учреждение. По аналогии со старыми буржуазными университетами его тоже можно назвать «Университетом» в узком смысле слова. О таком «Пролетарском Университете» говорит другое постановление Всероссийской Конференции Пролеткульта. Оно намечает задачи этого университета, основы его организации, общий программный

план. А в настоящее время начались работы Организационной Комиссии по устройству П. У. в Москве.

Кроме того, в Москве уже организовалось учреждение общероссийского масштаба, имеющее самую тесную связь с идеей Прок. У-та; это именно Социалистическая Академия.

Собрать и осветить тот организационный опыт, из которого исходят эти проекты и попытки, стало насущной задачей, от выполнения которой в значительной мере будет зависеть успех всего дела. Попытаемся сделать для нее то, что возможно в пределах материала, доступного автору и в рамках журнальной статьи.

## I.

Восемь лет тому назад, предлагая и обосновывая в легальной брошюре лозунги Пролетарского Университета и Рабочей Энциклопедии, я рассказывал, как сама жизнь привела меня к ним. Много приходилось не договаривать, по цензурным условиям: даже заглавие брошюры понадобилось извратить,—вместо «Культурные задачи пролетариата» написать «Культурные задачи нашего времени». Теперь повторяю повествование, раскрывая скобки.

Около середины 90-х годов прошлого века в г. Туле молодой рабочий, Иван Иванович Савельев, организовал кружки на оружейном и патронном заводе. Это был выдающийся, быть может, гениальный организатор, который, к несчастью, сторел, не успев развернуться, через 5—6 лет; одна из прекрасных сил, загубленных проклятым прошлым. Он долго и безуспешно искал в этом, тогда весьма глухом провинциальном центре, интеллигентов для пропаганды, пока не нашел меня, стоявшего на распутьи между народофильством и марксизмом. Затем к нам присоединились В. Базаров и И. Степанов.

Пропаганда велась большую часть года в близлежащих лесах, зимою в рабочих каморках. Группа держалась необычно долго—4—4½ года; мы имели возможность проводить в кружках довольно обширные курсы, главным образом, конечно, политической экономии. Мы приступали к делу с очень небольшим научным багажом и во многом неясными представлениями даже о научном социализме. Наша неопытность была так велика, что я, например,

пытался привести своих слушателей к изложению «Капитала» через «Экономические беседы» Карышева и «Курс политической экономии» Иванюкова, — книги, не имеющие ничего общего с марксизмом и потому, разумеется, совершенно непригодные для нашей цели. Это и было весьма скоро мне выяснено нашими слушателями.

Те десятки юношей-рабочих, которые проходили через наши кружки, в общем, далеко не были еще теми избранными по умственной активности и испытанными в жизни людьми, которые должны составить основу первых слушательских кадров Пролетарского Университета: в подпольных условиях, при отсутствии реальной политической работы, они набирались случайно, по личным связям и по внешним признакам интеллигентности. Тем не менее они отнюдь не были просто пассивным материалом для педагогического воздействия; и простая добросовестность требовала бы от нас признания, что их роль в системе нашей пропаганды была в значительной мере направляющей и регулирующей.

Их вопросы и комментарии к тому, что мы вместе читали, скоро убедили меня, что выбранные «пособия» не соответствуют их требованиям, и особенно — самому складу их мышления. Объяснительное чтение быстро превратилось в скучное предисловие, за которым следовали живые беседы, уходившие очень далеко от затронутых чтением сюжетов. В этих беседах стихийно и упорно выступали определенные тенденции, само собою намечалось определенное направление для ищущей мысли молодого лектора: соединять, как звенья одной сложной цепи развития, явления технические и экономические с вытекающими из них формами духовной культуры. Пришлось поневоле перейти к составлению собственного курса лекций, в котором материал комбинировался в такой именно связи: получился «Краткий курс экономической науки», потом легально изданный после варварских цензурных операций.

А затем запросы слушателей шли дальше и дальше и захватывали сложнейшие темы естествознания и философии; лекторы принуждены были сами учиться многому, о чем раньше им казалось достаточным иметь беглые поверхностные сведения.

Было совершенно невозможно за короткое время передать слушателям фактический материал во всех областях, которые вызы-

вали их живой интерес. Это заставляло лекторов иначе ставить и самую задачу, употреблять главные усилия на то, чтобы научить слушателей учиться, указать им пути и средства к самостоятельной работе. Приходилось сосредоточивать внимание на методах тех наук, о которых надо было давать понятие. При этом оказывалось, что слушателей наших занимает и привлекает всего более не специализированный характер различных методов, а, напротив, их взаимная связь, то, что в них находится общего и сходного. Мы наталкивались на какое-то прирожденное стремление к монизму, от нас требовали—не всегда с успехом, разумеется,—монистических ответов на всевозможные, проклятые и не проклятые вопросы. В эту сторону должна была направляться деятельность и нашей собственной мысли; для меня лично это в сильнейшей степени предопределило характер всей последующей, научной и философской работы.

А между тем в данном случае слушатели-рабочие могли дать нам, своим руководителям, лишь неопределенное, так сказать, стихийное руководство, которое вытекло просто из их социальной природы, навязывалось складом их мышления, отчетливо даже оформленным, но коренившимся глубоко в условиях коллективно-трудовой их жизни.

Эта, быть может, самая длительная и систематичная из пропагандистских попыток того времени заронила в нас впервые идею Рабочего Университета. Для нас попытка эта была и осталась не только его наивным прообразом,—она явилась также началом нашего собственного воспитания в пролетарском духе, первым курсом нашего «Рабочего Университета».

## II

За пропагандистской работой последовала агитационная. Потом настало время широкой политической борьбы. Пришла первая волна Русской Революции, 1905—6 годы.

Дни свобод позволили развернуть агитацию и пропаганду в несравнимых с прежним размерах. Но ни в составлявшихся программах пропаганды, ни в самой ее практике не выступала сколько-нибудь заметно идея Рабочего Университета, как и сама идея пролетарской культуры вообще оставалась в зародыше. По-

литика господствовала всецело, и характер работы был почти исключительно демократический; о социализме упоминалось лишь как об отдаленной цели, чтобы немедленно перейти опять к политике, к демократическим лозунгам.

Это было вполне естественно, это неизбежно вытекало из обстановки. Уровень развития нашего рабочего класса был таков, что ему еще не хватало и собственно демократического воспитания; а судьба его усилий и всей революции зависела от того, поддержит ли его остальная демократия, т.-е. именно крестьянство; пролетариату надо было во что бы то ни стало связаться с крестьянством, что было возможно лишь на общедемократической почве.

Поэтому, хотя мы, представители старой пропаганды, постоянно указывали тогда же на необходимость расширения задачи в смысле социалистического воспитания пролетариата, и московские большевики, в частности, усиленно настаивали на этом,— но даже литературу соответственного типа нам удалось развить только в самом ограниченном масштабе.

Когда первая волна революции разбилась об инертность крестьянских масс и армии, когда пролетариат был отеснен с политической арены, а интеллигенция в огромном большинстве отшатнулась от социал-демократии, тогда настало время серьезнее и глубже подумать об этом вопросе.

Жизнь как нельзя нагляднее показала, что рабочий класс должен полагаться только на себя, что в дальнейшем ему предстоит всецело самому вести свое дело. К этому надо было усиленно и спешно готовиться.

### III.

Партийная рабочая школа 1909 года на острове Капри была устроена по инициативе группы так-наз. «левых большевиков», впоследствии «впередовцев». Самую активную роль в ее организации сыграл рабочий философ Никифор Вилонов, вместе с М. Горьким, Луначарским, М. Покровским и др. Русским организациям было предложено послать в эту школу специально выбранных товарищей. Организации распались, переправа через границу была очень трудна; набралось всего четырнадцать слуша-

телей. И так как не все пославшие их организации ясно понимали смысл и значение дела, то даже эти немногие не все соответствовали тому уровню сознательности и активности, какой требовался для участников пролетарской высшей школы; но большинство все же стояло на уровне задачи.

Это обнаружилось уже тогда, когда впервые собравшийся Совет школы, — в него входили на равных правах все лектора и слушатели, — стал устанавливать программу и распределение курсов. «Ученики» знали, чего они хотели от школы, и внесли с своей стороны в программу ряд изменений, из которых большая часть оказались затем полезными и целесообразными. Курс получился крайне концентрированный: целый ряд важных и трудных предметов был втиснут в период 4½ месяцев. Эта концентрированность препятствовала, до некоторой степени, тому широкому и свободному общению лекторов и слушателей, какое должно будет установиться в настоящем, а не зародышевом Пролетарском Университете. Этим, очевидно, суживалась и руководящая роль коллектива слушателей в самом ведении занятий. Однако, и здесь на деле выяснилось, что они отнюдь несклонны оставаться в рамках пассивной и легкой роли «обучаемых»: люди, уже раньше умевшие много учиться и думать, в общем довольно образованные, несмотря на различные пробелы в познаниях и недостаток их систематичности, они критически воспринимали, все, что им предлагалось, и подвергали серьезному обсуждению как содержание, так и форму лекций. Университетские профессора обычного типа, важные чиновники капиталистического государства, вряд ли примирились бы с такими отношениями. Лектора школы были почти все люди не молодые, с выработанными взглядами, обладавшие каждый в своей отрасли некоторой известностью; однако, они вынесли не мало полезных указаний из дебатов со слушателями. — В этих условиях становится невозможной та, довольно обычная для старых университетов, картина, что один и тот же курс повторяется стереотипно, без улучшений, без переработки, одному выпуску за другим.

Программа школы относилась почти исключительно к области общественных наук и социальной философии; естествознание было едва затронуто несколькими, так сказать, сверхштатными лекциями. Эту односторонность и лектора, и слушатели признавали

существенным недостатком работы: и те, и другие представляли себе программу Пролетарского Университета охватывающей все основные отрасли науки. Но ограниченность времени и лекторских сил не позволяла поставить дело в таком масштабе.

#### IV.

В работе школы росла и крепла идея Пролетарского Университета. Вместе с тем и в слушателях, и в лекторах укоренялось все глубже сознание того, что она — лишь часть, лишь один из выводов идеи еще более широкого, всеобъемлющего захвата: идеи Пролетарской Культуры. Это внушалось всем характером научной работы школы, как и бытовой ее организацией.

Но рядом было и нечто иное. Жизнь вообще не идиллия, а в ту эпоху глухой реакции она была ею меньше всего. Элементы распада и разложения, шедших в организациях партии, были с самого начала занесены в школу, и в свою очередь развивались. Вначале они были скрыты и незаметны, а к концу школы вырвались в виде дезорганизующей фракционной борьбы. Большинство слушателей осталось верно идее школы; меньшинство отпало под лозунгом протеста против самого духа школы. Борьба отравила последние дни существования школы, но не помешала довести дело до конца. Более того — она дала толчок к более ясному осознанию и более решительной формулировке новых принципов, — дух прошлого дал наглядную иллюстрацию тех болезней и слабостей нашей работы, с которыми надо было бороться.

В платформе, выработанной коллективом слушателей и лекторов и в конце 1909 г. напечатанной под фирмой «группы большевиков», позже называвшейся «Вперед», культурно-революционные задачи намечались следующим образом:

«... Социалистическое сознание рабочего класса должно охватывать не одну его непосредственную борьбу в области политики и экономики, но всю его жизнь. Пролетариат и его союзник — социалистическая интеллигенция — вышли из старого, мелкокрестьянского и буржуазного мира; в нем они сначала воспитывались; поэтому, сами того не замечая, они сохраняют многое из его привычек и склонностей, из его духовного склада, и даже вносят в революционную работу. Например, ни для кого ни тайна, сколько



вреда пролетариату, да и всему революционному движению, принесит индивидуализм очень многих деятелей, их личное честолюбие, стремление выдвинуться, отвращение в товарищеской дисциплине, нетерпимость к товарищеской критике. Борьба взглядов, благодаря этому, часто осложняется, а потом и заслоняется борьбою самолюбий, силы организации тратятся на бесплодные внутренние столкновения. Не меньше вреда приносит и широко распространенная среди партийных работников привычка слепо доверять известным авторитетам, полагаться на мнения тех или иных признанных вождей, не взвешивая, отвергать всякие сомнения в их правоте»...

Далее выяснилось, что борьба против этих явлений от случая к случаю отнюдь не решает дела, пока остаются их общие, основные причины; из них должна исходить, против них направляться действительная постановка задачи:

«Буржуазный мир, имея свою выработанную культуру, наложив отпечаток на современную науку, искусство, философию, через них незаметно воспитывает нас в своем направлении, в то время как классовая борьба и социалистический идеал влекут нас в противоположенную сторону. Вполне порвать с этой исторически создавшейся культурой нельзя, ибо в ней мы можем и должны почерпнуть могущественные орудия для борьбы с тем же старым миром. Принимать же ее так, как она есть, значило бы сохранять в себе и то прошлое, против которого ведется борьба. Выход один: пользуясь прежней, буржуазной культурой, создавать, противопоставлять ей и распространять в массах новую, пролетарскую: развивать пролетарскую науку, укреплять истинно-товарищеские отношения в пролетарской революционной среде, вырабатывать пролетарскую философию, направлять искусство в сторону пролетарских стремлений и опыта. Только на этом пути может быть достигнуто целостное социалистическое воспитание, которое устранил бесчисленные противоречия нашей жизни и работы и во много раз увеличит наши силы в борьбе, а в то же время приблизит к социалистическому идеалу, вырабатывая все больше его элементов в настоящем»<sup>1)</sup>.

Если бы это одно осталось от нашей первой рабочей школы, и тогда можно было бы сказать, что усилия, потраченные на нее,

1) Я был докладчиком этой программы.

не пропали даром. Но не пропала даром и выработка нового типа высшей пропаганды, нового типа организации школы, наша работа над ее программами: все это находило потом и находит особенно в настоящее время свое применение. И даже из столь малого числа слушателей школы мне удалось теперь, спустя девять лет, встретить пять человек, выполняющих ответственную революционно-организаторскую работу: для наших русских условий этого времени поразительный процент сохранившихся и действующих.

## V.

За первой школой через год последовала вторая, в г. Болонье. Слушателей было опять немного, человек восемнадцать; и из них, благодаря продолжавшемуся распаду организаций в России, представителей оттуда было только около половины; остальные были рабочие-эмигранты, собиравшиеся ехать обратно на революционную работу. Но уровень развития и активности был не ниже, чем в первой школе, и отсталых даже меньше. Лекторских сил нашлось больше: кроме левых большевиков первой школы, согласились принять участие некоторые особенно чуткие к запросам жизни из числа видных меньшевиков: тов. Троцкий, Коллонтай, Павлович-Волонтер, также П. Маслов. А приглашали мы, как и в первую школу, представителей всех фракций.

Характер программы в общем не изменился: это была опять школа социальных наук. Но выработка курсов, разумеется, была совершеннее, так как опиралась на опыт первой школы. Времени для работы имелось на месяц больше, и удалось значительно усилить практические занятия. В числе их были, напр., такие, что слушателями без участия лекторов был составлен и выполнен примерный номер журнала; он был вполне удачен и по построению, и по идейной выдержанности, и в чисто литературном отношении. Были также общие дискуссии по спорным научным вопросам. По вопросу о теории земельной ренты докладчиками явились два лектора, стоявшие на разных точках зрения; в их критике слушатели участвовали самым активным образом.

Организация занятий и метод преподавания сложились и оформились там уже настолько, что для Пролетарского Университета

полученные результаты могли бы служить подходящим исходным пунктом.

Но это было еще за шесть лет до новой революционной волны, которая впервые создала объективные условия организации такого Университета.

## VI.

Революция, вышедшая из мировой войны, поставила у нас культурную задачу рабочего класса в полном ее масштабе. Жизнь предъявила ему гигантские требования, сначала в смысле спешной самоорганизации, потом в смысле вынужденного руководства всей государственной и хозяйственной жизнью страны в состоянии величайшей разрухи и обнищания. Культурная отсталость мучительно чувствовалась во всех попытках разрешения этих задач, а в то же время было ясно, что механическое усвоение организационных форм и методов старой культуры недостаточно для действительного решения, ибо как раз эти формы, эти методы и привели к небывалому краху. Идея самостоятельной пролетарской культуры приобрела характер ультиматума, поставленного историей нашему рабочему классу.

Вопрос о Пролетарском Университете является одним из неизбежных и важнейших выводов отсюда. Тем не менее первый год революции не успел поставить его на очередь. Культурная работа исходила из конкретных потребностей, выдвигавшихся в ходе революции, а потому шла от частных задач к общим; и в просветительном деле работа у нас началась с массы практических курсов, а также курсов общеобразовательных в смысле гражданской и вообще социальной грамотности, как различные «солдатские университеты», «районные курсы» и т. п. Но требования жизни расширялись и становились все радикальнее: ни узкопрактические краткосрочные курсы, ни школы социальной грамоты не могли дать опоры для самостоятельного социального строительства. Выступил вопрос о высшем пролетарском образовании.

К нему подходили с двух различных сторон, намечали два разных пути для его решения. Одни предполагали просто использовать аппарат старых государственных, т.-е. буржуазных университетов, приспособив его для этой цели при помощи некоторых

реформ и дав свободный доступ к нему всем желающим товарищам. Другие — и мы в том числе — находили это решение частью недостаточным, частью даже ошибочным, и воскресили лозунг Рабочего Университета.

Первые рассуждали очень просто. Если старые университеты могли готовить достаточно организаторских сил для хозяйства буржуазии, то, служа рабоче-крестьянскому государству, они готовят их сколько потребуется и для него. Прежняя организаторская интеллигенция в большинстве не желает служить ему, — надо заставить университеты создать новую интеллигенцию, пролетарскую, надо, следовательно, ввести в них кадры студентов-рабочих. Препятствие — в том, что у рабочих не хватает предварительных знаний и предварительного усвоения методов: умения пользоваться литературой, лабораториями и т. п. Все это следует им дать путем ряда подготовительных курсов; если и устраивать «рабочие университеты», то для этой же цели и с таким же захватом. Конечно, старые гимназии за 7 — 8 лет весьма плохо выполняли эту задачу, и до сих пор студентам приходилось начинать все с того же усвоения методов работы; наши целесообразно устроенные курсы выполняют ее гораздо лучше за первый же год работы. А тогда аудитории университетов наполнятся рабочими-студентами; и через каких-нибудь 2 — 3 года, — ибо эти студенты будут учиться не так, как прежние, — рабоче-крестьянское государство получит многочисленную и надежную рабочую интеллигенцию.

Сторонники этого плана исходят из той мысли, что университетская наука и есть наука вообще, т.-е. внеклассная. Мы же думаем, что это — наука буржуазная и, следовательно, обуржуазивающая; только люди, обладающие глубокой пролетарски-классовой сознательностью, способны противостоять этому влиянию, а не те, кто получили лишь спешную подготовку в общей технике научной работы. Опыт показал, что старая наука и сама по себе, даже при вполне самостоятельном ее изучении, нередко из энергичных выдающихся рабочих, которые вопреки всем препятствиям ей отдавались, вырабатывала буржуазных интеллигентов. Тем сильнее это действие в обстановке и атмосфере веками сложившейся университетской организации, буржуазно-классовой по происхождению, при руководстве старых ученых, в этом же духе

ею воспитанных. Чтобы использовать науку этих университетов, пролетарию надо уже стоять выше нее по своему миропониманию, быть подготовленным к ее критическому, а не просто ученическому восприятию. Следовательно, и для этой цели Пролетарский Университет необходим, — не как замена гимназии, а как школа целостного мировоззрения и глубокого овладения научными методами.

Но рабоче-крестьянское правительство реформирует старые университеты... Может быть, эта реформа, идя дальше и дальше, как раз и превратит их в то, что для пролетариата требуется? Возлагать на это надежду было бы крайне ошибочно.

Дело в том, что перестраивать организации, созданные работой веков и вполне оформленные, вообще несравненно труднее, чем строить вновь. Только при одном условии перестройка может идти быстро и успешно, — когда она делается по готовой модели. Но выработать эту модель в самих же старых университетах, т.-е., очевидно, в неизбежном сотрудничестве с представителями буржуазной науки, значило бы извратить решение задачи в самом его зародыше. Ясно, что такая модель должна выработаться вполне самостоятельно в пролетарски классовой идейной обстановке.

## VII.

Весною 1918 года была сделана попытка организации «Пролетарского Университета» в Москве <sup>1)</sup>. Она кончилась полной неудачей. При ее ликвидации причины были вполне выяснены.

Первая, и быть может, сама по себе уже достаточная заключалась в том, что дело не из коллектива исходило и не коллективно велось с самого начала. Это была инициатива небольшого кружка лиц, проявивших, несомненно, значительную энергию, но не обладавших соответственным опытом. Планы и программы, выработанные спешно, оказались неудачными; лекторский состав, набранный на основе недостаточных связей, частью неподходящий к задаче. Участие слушателей в руководстве делами универ-

<sup>1)</sup> Дело идет здесь о попытке Паушкина, Фирсова и др.

ситета было вначале ничтожным, а потом оно было усилено, но зародыши крушения успели развиться.

Другая причина тоже очень важная: состав слушателей в большинстве получился не пролетарский. Аудитории заполнила, с самого начала, главным образом трудовая интеллигенция Советских учреждений. Было бы вредно и нелепо закрывать ей доступ в Пролетарский Университет, но ее решительное преобладание, определяя общий дух учреждения, стояло в противоречии с самой его идеей. Преподавание должно было, конечно, приспособляться к большинству слушателей; ясно, что на этом пути настоящий Пролетарский Университет не мог развиться и в дальнейшем.

При таких обстоятельствах успеха быть не могло, — и неудача ни в малейшей степени не затрагивает самую идею учреждения. Просто была сделана неумелая попытка среди целого ряда других таких же попыток нашего бурного времени. Теперь она ликвидирована, и за дело взялись по самой природе своей призванные к нему организации.

### VIII.

Как должен быть организован Пролетарский Университет?

Первая задача, это — создать подходящий состав слушателей: пролетарский в своем большинстве, соответствующий по уровню идее университета. По этому поводу резолюция Всероссийской Конференции Пролеткульта говорит:

«9. Доступ в Пролетарские Университеты должен быть свободен в первую очередь для рабочих, лишь с необходимой в интересах самих слушателей товарищеской проверкой знаний».

«10. Все пролетарские общественные учреждения, фабричные заведения, торгово-промышленные, профессиональные, кооперативные должны предоставить своим рабочим и служащим возможность посещения университетских курсов».

Преимущество для рабочих не есть какая-либо обидка трудовой интеллигенции. Университет должен быть пролетарским, — тогда и она, работая в нем, получит от него всего больше, ибо тогда в нем всего совершеннее выразится новое миропонимание.

Провести на деле это преимущество удастся только путем системы стипендий, намеченной в общих чертах последним пунктом резолюции. «Предоставить возможность посещения Университета в массе случаев будет, разумеется, возможно только путем стипендий и иногда частичного, иногда, может быть, и полного освобождения от обязательной работы».

Однако, построить все дело только на этой основе невозможно. Потребовались бы огромные затраты средств, а главное, недостаток сил в общественных делах чувствуется слишком остро. Из-за этого и самые занятия на первые годы придется организовать так, чтобы особенно энергичный или одаренный человек мог совмещать их с общественной службой; следовательно, в вечернее время, 3—4 часа в течение пяти дней недели, с семинариями и другими дополнительными занятиями в остальные два дня.

В резолюции Пролеткульта обращает на себя внимание та особенность, что допускается при приеме «товарищеская проверка знаний». В государственных университетах всякие предварительные экзамены отменены. Значит ли это, что Пролеткульт занял более отсталую позицию? Мне кажется, что нет. Пролетарский Университет должен быть также школой товарищеских отношений и товарищеской дисциплины; отсюда логически вытекает возможность и желательность такой проверки. А в старых университетах ее установить нельзя, так как по самому их духу, по их типу организации, товарищеской проверки не получилось бы, а все свелось бы к обыкновенному, научно-бюрократическому экзамену.

Какой же уровень надо будет принять за основу для приема? Считаясь с условиями жизни рабочих, господствовавшими до сих пор, тут надо заранее отбросить всякий формализм, всякий шаблон. Приблизительная норма, на которой сходятся почти все сведущие люди, такова: общее образование не ниже высшего начального училища имевшихся типов или самообразование в аналогичном масштабе, причем допускаются и пробелы, если они уравниваются более широкими знаниями в социальных или естественных науках.

Зато здесь надо ввести требование, о котором не могло быть и речи в старых университетах: проявленной гражданской активности, которая свидетельствовала бы о том, что дело идет о со-

циально взрослому человеку, а не о ребенке, подростке или любознательном обывателе. Доказательством должна служить или общественная должность, или рекомендация со стороны политических культурных, экономических организаций.

С той же точки зрения нежелателен и слишком юный возраст,—не ниже, напр., 18 лет. Конечно, в случаях особо раннего развития возможны исключения.

На таких основах удастся сформировать кадры слушателей, действительно, соответствующие задаче. Что же касается преподавателей, то та же резолюция говорит о «необходимости привлечения лучших теоретических сил нашего революционного социализма» для создания первого руководящего кадра (п. 3). А относительно дальнейшего намечается:

«7. Для подготовки кадров научных преподавателей должна послужить существующая в Москве Социалистическая Академия и необходимо организовать такую же в Петербурге. Они должны рабочим, уже имеющим некоторый научный опыт, дать соответствующую теоретическую и практическую подготовку. В них же должны продолжать свою научную работу те слушатели Пролетарского Университета, которые по его окончании посвятят себя специальной работе в той или иной области науки».

Выполнение этой задачи уже началось: в составе Социалистической Академии уже теперь имеются товарищи-рабочие, не только среди слушателей ее курсов, но и среди членов-соревнователей.

## IX.

Резолюция Всероссийского Пролеткульта намечает и общий программный план университета. План этот включает три цикла:

а) подготовительный — должен оформить и систематизировать знания, уже имеющиеся у слушателей, а также дополнить их всеми знаниями, необходимыми для усвоения цикла основного;

в) основной — должен широко и прочно в строго научной постановке заложить основы социалистического миропонимания, превращая слушателя в образованного социалиста, владеющего основными методами разных областей науки;



«с) специализированный—делится сообразно строению общественного процесса на факультеты: технический, экономический и культурный; на каждом из них специально, в углубленной научной постановке, изучается соответственная группа предметов, но не изолированно от других групп, а в необходимой связи с ними, с общими кафедрами таких основных предметов, как политическая экономия».

Почему необходим подготовительный курс, — это вполне ясно. Даже наиболее развитые из вступающих в Университет рабочих, благодаря недостатку формального образования, в большинстве своем будут иметь пробелы знания: у одного одни, у другого другие, рядом с большой зачастую глубиной знания в иных областях; отсюда — неизбежная разнородность состава, отсутствие одного общего, доступного отчетливому определению уровня, из которого коллективная работа могла бы исходить. Кроме того, не хватает обычно навыков и опытности в самых приемах научной работы. И, наконец, благодаря усвоению «при случае», «между делом», в зависимости от того, когда позволяет жизнь, у всех почти хромает систематизация. Эти недочеты должны быть устранены, надлежащее выравнивание и оформление научного материала у слушателей должно быть достигнуто на подготовительной ступени.

Отсюда сам собою вытекает характер программы для этого первого курса: ряд введений по технике научной работы вообще и по разным научным отраслям.

На первом плане здесь надо поставить усвоение практических методов овладения наукою в индивидуальной и коллективной работе: то, что относится к уменью планомерно пользоваться всякого рода литературой, к уменью излагать мысли устно и письменно, к уменью логично спорить и обсуждать, а также вести собрания. Это будут, главным образом, практические занятия, с небольшим количеством вводящих лекций. В выборе тем эти практические занятия должны быть как можно ближе связаны с параллельно ведущимися курсами других предметов, натуралистических и социологических, но не просто сливаться с ними: там и при практических занятиях центр тяжести лежит в содержании усвояемого, здесь — в формально-технической стороне дела.

Вторая группа — математические и естественные науки. Из математики надо взять низшую, но не начальную, конечно, ее

часть, выбирая материал наиболее важный со стороны метода и в смысле связи с жизненной практикой: действия с дробями; способы приближенного вычисления; решение уравнений; применение логарифмов; элементарные приемы определения расстояний, площадей, объемов и т. п.

Из естественных наук — введение в физику и химию; введение в космографию, геологию и общую географию; введение в общую биологию; введение в физиологию и психо-физиологию.

Тут приходится иметь в виду, что ограниченность времени не позволит дать большого фактического материала. Поэтому надо выбирать самое важное, и общие положения выяснять на немногих, но наиболее ярких и глубоко вводящих иллюстрациях, — напр., для занятий по физике выбирать эксперименты, имеющие принципиальное научное или практическое значение. Непосредственной задачей должна быть глубина понимания, а не полнота знания. С этой точки зрения несколько умело выбранных, наглядно и точно проведенных и строго проанализированных опытов дадут больше, чем сотни страниц учебников или десятки лекций.

В этот курс, между прочим, непременно должно войти ознакомление с принципами устройства всех основных типов машин современной технике: двигателей водяных, паровых, поршневых, турбинных, взрывных, динамо и электрических моторов, телеграфа, телефона, аэроплана, фонографа, кинематографа и т. п. Ознакомление, конечно, не технически детальное, но и не поверхностное, а «научно-организационное».

Третья группа — науки общественные: введение в политическую экономию, во всеобщую и русскую историю, в основы научного социализма; обзор истории рабочего движения и формы рабочей организации; элементарное учение о формах общественности, особенно о праве и государстве. Построение курсов здесь должно быть историческим повсюду, и там, где старая наука его не умеет и не хочет применять, как в изучении экономики, права, государства. Непрерывность исторического ряда позволяет воспринимать связь явлений нагляднее, делает ее жизненно понятнее, облегчает сознанию переход от одних форм к другим, вообще дает экономию в затрате энергии на изучение. Вместе с тем мышление работника воспитывается в последовательном

и неуклонном применении нашего метода — историко-материалистического.

И здесь, опять-таки, развертывание исторического ряда не должно гнаться за полнотой всех переходов и оттенков. Внимание должно быть сосредоточено на отдельных, наиболее характерных моментах или эпизодах, иллюстрирующих жизненные тенденции главных фаз развития человечества. Нередко отрывок подлинного документа эпохи глубже и яснее характеризует для слушателей дух ее отношений и смысл ее борьбы, чем самое длинное описание и повествование. А восстановить непрерывность переходов между углубленно понятыми, хотя и эпизодически обрисованными фазами, это — дело усвоенного метода и собственной психической работы изучающего.

## X.

Программой подготовительного курса уровень слушателей курса основного намечается, конечно, не в смысле старого экзаменного шаблона. Рабочий, обладающий известными навыками в научной работе, знаниями, хотя неравномерными, но в некоторых важных областях достаточно серьезными, и оформившимся социалистическим мировоззрением, может работать на основном курсе, заполняя оставшиеся крупные пробелы дополнительными занятиями по соответственным предметам подготовительного. На первых порах это будет даже неизбежно преобладающая комбинация: в крупных центрах надо открывать, по возможности, первый и второй курс одновременно; это важно особенно вначале когда опыта еще слишком мало, и когда самая постановка дела на подготовительном курсе может выиграть очень много, если будет освещаться одновременной работой курса основного, к которому он должен готовить.

Программа основного курса естественно распадается на две группы предметов — натуралистическую (считая здесь же математику) и социальную. Преобладающее место здесь, очевидно, должны занять науки социальные, примерно в отношении двух третей рабочих часов к одной трети, или трех пятых к двум пятым. Но строго научная постановка дела равно обязательна и здесь, и там.

По математике, в пределах нескольких десятков часов, которые будут ей отведены, необходимо — и, полагаем, вполне возможно — дать основные методы так называемой «высшей математики»: дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории рядов. Тут надо использовать все новейшие упрощения и улучшения приемов преподавания: с одной стороны, самое тесное его сближение с запросами и требованиями трудовой техники; образцом могут пока служить лекции Джона Перри для рабочих механиков, где, напр., вводит их в сущность аналитической геометрии путем применения графленной (координатной) бумаги для обычных задач их работы; с другой стороны, такая же тесная связь с техникой естествознания, в духе, напр., «Применения математики к естественным наукам» Нернста и Шенфлиса. В Пролетарском Университете должны выработаться свои методы изложения и освещения математических наук; но пока этого нет, надо исходить из того лучшего, что уже создано демократизацией знания.

Программа естествознания, в свою очередь, здесь должна концентрироваться на основных методах и на высших обобщениях, при постоянном сохранении связи того и другого с практикой жизни. С этой точки зрения сами собой намечаются следующие главные задачи:

1. Методология естественных наук: наблюдение, эксперимент, роль рабочей гипотезы; связь с техникой и отношение к техническим наукам; основные инструменты исследования (часы, телескоп, микроскоп, угломеры, фотография, измерители силы и работы, самопишущие и регистрирующие приборы).

2. Основные теории эволюционные — космологические, геологические, биологические.

3. Основные теории общие или абстрактные: — энергетика; теория волн; атомная и электронная теория; теория строения материи.

4. Основные методы и выводы биологического учения о рабочей силе, т.-е физиологии, общей патологии и психо-физиологии в связи с гигиеной.

Эта последняя группа образует как бы естественный переход к наукам социальным.

При умелой постановке, связанной с хорошо выбранными демонстрациями на опыте и правильно организованными практическими занятиями, такую программу, мы полагаем, возможно выполнить достаточно серьезно за те 150 — 180 часов, которые ей будут уделены из годовичного курса.

Программа наук общественных, при всей своей обширности, представляет наименьшие затруднения, потому что в этой области у нас опыта больше всего. Она логически намечается строением общественного процесса, который надо изучать, и социалистической целью этого изучения. Группировка наук приблизительно такая:

1. История социальной техники (в общей связи с историей математических и естественных наук).

Из нее в особый курс следует выделить, как наиболее для нас важный момент, — машинное производство.

2. Исторический курс политической экономии.

Из него особо выделить три важных момента:

а) Новейший капитализм, и в связи с ним — милитаризм, мировую войну, новые экономические формы, во время ее возникшие;

б) Аграрная эволюция.

с) Общая теория налогов и финансов.

3. История общественных мировоззрений.

Специально должны быть выделены:

а) История экономических воззрений.

б) Обзор философских систем (как идеализированных схем господствующих мировоззрений).

с) Общая история литературы и искусства.

4. История права и государства.

5. История социализма и социальных движений.

Здесь выделить особо:

а) Формы рабочих организаций.

б) Социалистический идеал.

6. Исторический материализм и общая система научного мироотношения — курс ре-  
зюмирующий.

Как ни обширна кажется эта программа, но при хорошей постановке, при опытных руководителях, для ее серьезного прохождения, мы полагаем, должно хватить 350 — 400 часов.

Здесь много взаимно соприкасающихся предметов, и очень важно организовать дело так, чтобы наиболее близкие по материалу переплетались во времени, подкрепляя друг друга, напр., история техники с историей экономики, история экономических воззрений с историей социализма и т. п. Это надо, разумеется, делать и во всех других группах предметов.

По широте захвата и сумме содержания программа основного курса далеко превосходит программы какого бы то ни было курса старых университетов. Но она и рассчитана не на безработных юношей из обеспеченных классов, а на людей труда и идеи.

## XI.

Третий курс — уже специализированный: для образованного социалиста, каким явится человек, прошедший через работу курса основного, специализация не опасна, не может оказать на него действия, суживающего кругозор и иссушающего душу. Кроме того, эта специализация, согласно плану Пролеткульта, совершенно иная, чем в старых университетах, — не по отвлеченному принципу классификации наук, взятых сами по себе, вне отношения к жизни, как математические, естественные, филологические и т. п., а на основе строения общественного процесса в его целом; при этом группы предметов каждого факультета оказываются гораздо шире. И кроме того, связь факультетов поддерживается курсами некоторых общих наук, — в резолюции названа политическая экономия.

Какова должна быть программа этих факультетов? Намечать ее подробно я не решился бы, да это и несколько преждевременно, — вначале, наверное, будет возможно открывать только первые два курса, — для третьего не найдется достаточных кадров. Но тип такой программы я попытаюсь обрисовать, как он мне представляется, на примере одного факультета — технического; при этом буду исходить из близко подходящего сюда плана «технико-экономического отдела» Социалистической Академии,

в работе над организацией, которого мне пришлось недавно принимать участие. Схема такая:

1. История техники и технических наук (разумеется, «в углубленной научной постановке» по сравнению с тем же предметом на основном курсе).

И здесь также должен быть выделен особый курс — машинное производство в его технике и экономике.

2. История математики и естественных наук.

3. Энциклопедия математики и счетоводства.

«Энциклопедия» понимается здесь в таком смысле, который охватывает, с одной стороны, методологию данной группы предметов, с другой — изложение достигнутых в этой области результатов и выводов.

4. Энциклопедия естественных наук. Здесь отделы:

а) Измерительные приборы и физические методы исследования.

б) Химические методы исследования.

5. Энциклопедия технологии. Отделы:

а) Использование материалов недр земли.

б) Использование материалов, находящихся на земной поверхности, и особо выделенная

с) Сельскохозяйственная техника.

6. Учение о рабочей силе (физиология, общая патология, психофизиология, курс, главным образом, методологический).

В особый предмет должно быть выделено:

Новейшие методы изучения и использования рабочей силы (тэйлоризм и т. п.).

7. Организация отдельного предприятия (техническая и экономическая) — предмет, общий с экономическим факультетом.

8. Политическая экономия (специально — методология и критика экономических учений) — курс, общий для всех факультетов.

9. Всеобщая организационная наука — курс, общий для всех факультетов.

Что касается программы экономического факультета, то в ней, очевидно, естествознание, напр., будет представлено гораздо слабее, социально-исторические науки, напротив, сильнее, и т. п.

Третьим курсом заканчивается «учебная» часть университета. Тот, кто идет дальше, вступает в область научно-академической работы, которая также должна быть организована коллективно.

## ХII.

Кроме курсов, входящих в основной план университета, при нем необходимо организовать ряд дополнительных занятий разного характера и значения. Так, у некоторых из поступающих на подготовительный курс окажется недостаток даже в начальных сведениях по арифметике, у других — неумение сколько-нибудь сносно писать; инородцам понадобятся занятия по русскому языку. Многие пожелают изучать новые языки, которых, однако, в основной план работы вводить не приходится. Многим, из-за их общественных функций, еще на первом курсе понадобится знакомство с основами статистики, и т. д.

Для таких дополнительных и вспомогательных занятий время должно быть отведено особо. Если ежедневные вечерние занятия будут продолжаться в общем 3 часа времени, то это составит 4 часа «академических», считая по 40 минут на лекцию и от 5 до 10 на перерыв; всякие бесполезные растраты времени тут необходимо устранить. Тогда на работу по программному плану можно отвести первые три академических часа, на дополнительные и вспомогательные — четвертый, а также некоторые часы в незанятые два дня недели, оставленные частью для отдыха и общественных дел, частью для специальных семинариев, экскурсий и проч.

В дальнейшем при университете следует сконцентрировать те многочисленные и разнообразные практические курсы, которые теперь устраиваются при разных учреждениях и организациях: по



профессиональному движению, по кооперации, партийно-агитаторские, разные инструкторские, и т. п. Это позволит слушателям университета пользоваться при случае лекциями таких курсов, и обратно, — хорошо отразится на научности их постановки и даст немалое сбережение лекторских сил, а главное — расширит и усилит общение Университета с провинцией, посылающей на краткосрочные курсы своих делегатов.

Однако, рядом с этим потребуется и своего рода «рассеяние» Университета. В резолюции Всеросс. Пролеткульта говорится, что такие Университеты должны быть организованы во всех крупных промышленных центрах России, начиная с Москвы и Петербурга. Но в таких огромных центрах, как столицы, чтобы приблизить Университет к рабочему населению, придется, по крайней мере, подготовительный курс устроить параллельно в главных пролетарских районах. Там он, в свою очередь, может послужить центром для объединения разных районных курсов и клубов.

Трудности пути, а еще больше требования жизни неизбежно будут отвлекать многих из Университета до завершения цикла его работы. Но это не должно нас смущать: ведь и тогда то, что сделано, не пропадет даром. Самая программа такова, что с каждым курсом будет давать все же нечто цельное и определенное. Товарищ, серьезно выполнивший курс подготовительный, может явиться достаточно сознательным агитатором, или полезным неотчетливым работником какого-нибудь учреждения. Прохождение курса основного даст уже знающего пропагандиста и ответственного работника неспециалиста. С курса специализированного будут выходить и ответственные работники-специалисты, а при случае — лектора, хотя не высших курсов.

Для дальнейшей, специально-научной работы, согласно плану Всероссийского Пролеткульта, должна служить Социалистическая Академия. Что она такое?

Она не есть нечто по существу отличающееся от Пролетарского Университета. Это — в силу обстоятельств успевшая раньше сложиться определенная его часть, его ученый коллектив. Временно, она и вообще отчасти его заменяет в своей просветительной работе, — но только отчасти, и не в главном. Между нею и зарождающимся Университетом необходима тесная связь, кото-

рая в свое время завершится их полным организационным слиянием.

Одной из важнейших задач Университета и Академии является выработка планов программ тех низших курсов, которые человека массы подводили бы к самому Университету. Этим путем он из высшей пролетарской школы развернется в Рабочий Университет в широком смысле слова, — в целостную систему учреждений, дающих глубокое и полное социалистическое воспитание пролетариату.

## О провинциальных пролетарских университетах.

(1919).

В провинциальных центрах устраиваются один за другим пролетарские университеты. У нас имеются материалы о существующих уже около года под этим именем учреждениях в городах Петровске и Орле, разработанный проект из Екатеринослава, известие о том, что решено организовать пролетарский университет в Туле.

Программы весьма различны. Екатеринославский проект основан на резолюциях Первой Всероссийской Конференции Пролеткульта и, следовательно, в общем соответствует организации закрытого теперь Московского пролетарского университета. Такова же, конечно, будет программа Тульского университета, который основывается при участии одного из ответственных работников Центрального Пролеткульта. Но совершенно иного типа университет в Петровске. Это—просто широко поставленные научно-популярные курсы для взрослых. В нем имеется секция грамотности, секция научно-популярная и новых языков, предполагается открытие секций медицинских знаний и педагогической; организованы курсы счетоводства; устраивались публичные лекции о религии, об испанской болезни, и проч. При этом общественные науки представлены вообще сравнительно слабо, меньше чем естественные и филологические, главным образом, конечно, по недостатку сил. Что же касается Орловского университета, он подходит более или менее к типу «народных университетов» и, надо сказать правду, не наиболее совершенного типа. Имеется отдел гуманитарный, с преобладанием словесности и истории; медицинский; затем естественно-математический, где в естественных науках отведено большое место описательной стороне, а в математике даются основы

анализа по отвлеченной, обычной, программе, даже вне связи с естественно-научными и техническими приложениями; наконец, технический отдел, с подготовительными курсами по низшей математике.

Без сомнения, ни о каких обязательных программах для пролетарских университетов говорить не приходится. Творчество новых форм и в этой области должно быть свободно. Но все же вполне законно требование, чтобы названия соответствовали вещам и не вводили в недоразумение. Поэтому едва ли можно признать правильным, когда курсы таких типов, как в Петровске и в Орле, обозначаются именем «пролетарских университетов». В этих словах заключены две большие идеи. Первая: учреждение классовое, не просто для пролетариев, а пролетарское по своей сущности, по своему духу и смыслу и, значит прежде всего — по программе. Вторая: организация объединенного и углубленного научного познания. Вечерние общеобразовательные и специальные курсы нужны и полезны, особенно когда они обслуживают рабочих; народные университеты — могущественное орудие демократизации знаний. Но и те и другие ничего не приобретают от неверной вывески. Для привлечения рабочих ее не требуется, — стремление к науке и без того достаточно сильно в массах; а их классовое сознание, несомненно, только затемняется при таком легком употреблении слова «пролетарский». Там же, где работа не выходит за пределы элементарного или популярного, громкое название «университета», кроме того, способствует развитию несерьезного, поверхностного отношения к науке, неправильной оценке познавательного труда. Да и вообще не пролетарское это дело — громкие титулы без оправдывающего их содержания.

Какова же должна быть примерная программа провинциальных рабочих университетов? Всероссийская Конференция Пролеткульта наметила один и тот же общий план для центра и для провинции, и, конечно, в основах он должен быть общим. Но, во-первых, при его выполнении с самого начала предполагалась значительная свобода местных инициативных организаций в постановке дела: разнообразие частных, всякого рода варианты нужны и полезны для развития. Во-вторых, нельзя не считаться с недостатком подходящих научно-учебных сил в провинциальных центрах, недостатком нередко весьма острым; он неизбежно должен отра-

зяться и на способах осуществления плана, и особенно на его последовательности и полноте. Даже в Москве нелегко было набрать кадры руководителей, и приходилось отчасти приспособлять порядок изучения предметов к возможности использовать тех или иных профессоров из товарищей, занимающих многие и ответственные советские должности. В провинции это еще хуже.

Итак, прежде всего несомненно, что на ближайший учебный год местные пролетарские университеты, которые будут открываться, должны ограничиться первым курсом общего плана. Это неизбежно уже вследствие того, что для второго курса не нашлось бы студентов, кроме разве нескольких одиночек. Ведь и Московский университет, собиравший студентов-пролетариев со всей России, на первый раз не мог открыть второго курса в полном масштабе: была выделена лишь старшая группа в несколько десятков человек, достаточно подготовленная по многим предметам для углубленной научной работы второго курса, но другие предметы изучавшая вместе с прочими товарищами. Возможно и даже вероятно, что местным университетам придется вести дело в рамках первого курса ближайшие два-три года. Надо помнить, что по общему плану и этот первый курс дает широкую, целостную сумму знаний и навыков, создает работника, более подготовленного по своему образованию в научно-социалистическом смысле, чем огромное большинство тех, которые заполняют теперь советские учреждения. И, разумеется, все, которых местный университет командирует для продолжения курса в центральный, должны найти там себе место.

Программа 1-го курса, разработанная для Московского университета, была такова:

Название курса.	Приблизительное число учебных часов.
I. Организация устного изложения и обсуждения . . . . .	около 40 час.
Методы письменного изложения . . . . .	» 40 »
Способы использования литературы и источников . . . . .	» 14 »
II. Математика . . . . .	» 64 »
Физика . . . . .	» 50 »
Введение в химию . . . . .	» 32 »

Название курса.	Приблизительное число учебных часов.
Введение в астрономию . . . . .	около 28 час.
Геология в связи с геоморфологией . . . . .	» 30 »
Введение в биологию . . . . .	» 50 »
Физиология . . . . .	» 30 »
Физиологическая психология . . . . .	» 28 »
III. Введение в политическую экономию . . . . .	» 42 »
Введение в русскую историю в связи со всеобщей . . . . .	» 56 »
Введение в изучение научного социализма . . . . .	» 28 »
История рабочего движения и формы ра- бочих организаций . . . . .	» 56 »
Формы общественности . . . . .	» 42 »
Итого около . . . . . 630 час.	

Кроме того, ряд дополнительных курсов, свободно избираемых студентами:

1) повторительные курсы по арифметике и русскому языку для случайно неподготовленных по этим предметам; 2) новые языки — французский, немецкий, английский; 3) черчение, рисование; 4) статистика; 5) страноведение; 6) история литературы, история искусства.

Несомненно, что для некоторых даже из основных предметов понадобятся командировки руководителей профессоров из центра. Они не могут быть особенно длительными, а потому такие предметы нельзя будет растягивать на расписание всего года или хотя бы на 1 — 2 триместра: их придется концентрировать, целиком или по крупным частям, на небольшие промежутки времени. Напр., история рабочего движения и формы рабочих организаций могут быть даны в виде 3 — 4 достаточно самостоятельных и цельных курсов приезжающими каждый раз на 2 — 3 недели лекторами. Продолжить такой курс в форме практических занятий смогут большей частью и местные лектора ближайших специальностей, проследив за ним на лекциях и столковавшись обстоятельно с приезжими руководителями.

Впрочем, растягивание предметов, практикуемое в обычных университетских расписаниях, и вообще нецелесообразно: производительность работы усвоения только понижается от долгих пере-

рывов между занятиями; всего лучше идет дело, как показывает опыт, тогда, когда занятия по одному предмету ведутся раза 2—3, для более легких в методологическом смысле даже раза 4 в неделю, каждый раз по 2 часа; только для трудных по изложению лекций лучше 1 час. Студент изучает тогда одновременно 3—4 предмета, его внимание не дробится чрезмерно, а потери от «забывания» наименьшие. Но, конечно, при этом особенно важна последовательность перехода от одних предметов к другим и выбор тех, которые переплетаются между собою.

Однако, не должно быть и чрезмерного однообразия в содержании работ, — оно ослабляет энергию. А некоторые предметы, особенно важные в методологическом воспитании, как математика, биология, политическая экономия, лучше проводить через весь годовой курс, чтобы их влияние на общий ход психического развития было прочнее.

Провинциальные пролетарские университеты, в общих интересах развития рабочего класса, не должны сводить свою работу всецело к созданию научно-трудоого коллектива из тех все же сравнительно немногих рабочих-студентов, которые будут полностью проходить курсы, посвящая этому наибольшую долю своих сил. Такие студенты — по плану университета, стипендиаты или полу-стипендиаты — должны ведь обладать уже заранее некоторой подготовкой; их, по нынешним условиям, даже в крупном центре найдутся едва ли сотни, скорее десятки. Университет должен не только им давать углубленное знание, но и широко разливать свет в массах. Для этого пока намечаются два пути.

Во-первых, сам студенческий коллектив: для него культурно-просветительная работа — лучшая форма приложения наличных и приобретаемых знаний к жизни. Это — «общественно-практические занятия», которые здесь должны идти рядом с научной работой, конечно, в таком масштабе, чтобы не подрывать ее. Студенты Московского пролетарского университета, лишь только они организовались, постановили вести, как обязательную для всех, именно такую просветительную и агитаторскую работу в московском гарнизоне, многотысячном и текучем по составу; профессора взялись руководить делом, и только командировка всех студентов на мобилизацию расстроила выполнение плана. Подобного типа занятия в рабочей и красноармейской среде не только всюду по-

лезны и необходимы сами по себе, но важны и тем, что поддерживают связь студенческого коллектива с его основой и опорой, с жизнью масс.

Во-вторых, состав аудиторий местного пролетарского университета, мы полагаем, не должен ограничиваться его настоящими студентами. И это не только в том смысле, что пролетарский университет должен быть центром организации публичных лекций для рабочих. Основные занятия также не следует делать строго закрытыми. С одной стороны, кроме стипендиатов и полустипендиатов, конечно, придется допустить «вольнслушателей», работающих систематически, но не связанных всей полностью программы: большинство их сможет посещать только часть занятий по своему выбору, какую позволит им свободное время. Их участие в практических и семинарских работах будет, очевидно, поставлено в такие рамки, чтобы не вредить интересам основного студенческого коллектива, который сам и урегулирует все это. С другой стороны, самые лекции курса могут быть открыты даже не только для этих вольнслушателей, но и для других рабочих, поскольку это позволит вместимость аудиторий.

Затем цикл дополнительных предметов надо по возможности расширить гораздо больше, чем предполагалось в Центральном пролетарском университете. Это надо сделать особенно по двум направлениям: техническому и социально-инструкторскому. В провинциальных центрах нет того множества профессиональных инструкторских курсов, какое имеется в столицах. Пролетарский университет должен и вообще быть центром, вокруг которого организуются такие курсы и, поскольку их нет, посылить свои средства этот недостаток; подходящие для этого силы найдутся, очевидно, в большем количестве, чем собственно научные. Петербургский Пролеткульт при своем университете устроил показательные мастерские разных профессий, оборудованные лучшими станками; воспользоваться ими, кроме студентов и вольнслушателей, могут в еще большей степени, чем лекциями, масса других рабочих. Найдутся, может быть, центры, где удастся организовать отдельные политехнические институты для рабочих; там пролетарский университет должен не конкурировать, а поддерживать связь с ними путем взаимного участия в работе и помощи научными силами.



В прошлом году в Перми предполагалось открыть — помешала война — особого типа учреждение, под именем «Государственного коммунистического университета», но которое правильнее было бы назвать: «социальный политехникум». Это — широко разветвленные инструкторские курсы; их отделения должны были охватывать все отрасли общественной деятельности, готовить ответственных работников для всех сторон общественной организации и управления: политики и административного дела разных комиссариатов, профессионального и культурного движения, устройства кооперативов, коммун и пр. Этого рода учреждений пролетарский университет также вообще не может и не должен заменять, — его задача совершенно иная: выработка руководящих деятелей социалистического строительства, а вместе с тем новых форм науки и научной работы. Но в провинциальных условиях, являясь обычно единственным научным центром, пролетарский университет по мере наличных сил должен организовать замену таких курсов в виде ряда лекций и практических занятий по инструктированию в разных областях общественной работы. Главные кадры их будут состоять не из студентов; но и студенты будут находить здесь при случае полезное дополнение своей обычной теоретической и практической работы.

Задачи местных пролетарских университетов, как видим, намечаются в более широком масштабе, чем для центра; это вытекает из обстановки самой жизни. Поэтому провинциальные университеты будут особенно нуждаться в существовании центра, который в живом общении помогал бы им, пользуясь сам их поддержкой, делясь с ними опытом, материалами и научными силами. Теперь он закрыт, будем надеяться — на время, в виду тяжелой военной обстановки. Сохранившиеся и вновь открывающиеся местные университеты должны с своей стороны сделать все для них возможное, чтобы ускорить, при первом улучшении объективных условий, его восстановление в интересах пролетариата и революции.

# Методы труда и методы познания.

(1918).

Одна из основных задач нашей новой культуры—восстановить по всей линии связь труда и науки, связь, разорванную веками предшествовавшего развития.

Решение задачи лежит в новом понимании науки, в новой точке зрения на нее: наука есть организованный коллективно-трудовой опыт, и орудие организации коллективного труда.

Эту идею надо последовательно провести во всем изучении, во всем изложении науки, преобразуя то и другое, насколько потребуются. Тогда царство науки будет завоевано для пролетариата.

Душа науки, основа ее творчества—ее методы, т.-е. способы, которыми она вырабатывает истину. В свете нашей новой точки зрения, мы теперь и рассмотрим, откуда первоначально эти методы произошли, какими силами определяется дальнейшее их развитие.

## I.

Все методы познания группируются в два ряда: индуктивный и дедуктивный, или ряд «наведения» и ряд «выведения». Они дополняют друг друга, идя в противоположных направлениях. Индукция организует опыт, переходя от частного к общему и получая таким образом, все более широкие «обобщения»: понятия, идеи, «законы». Дедукция берет эти обобщения и пользуется ими, как орудиями дальнейшей организации опыта, прилагая их к более частным фактам и группировкам фактов, получая этим путем различные «выводы», в числе их—«предвидения». В этих формах протекает всякая познавательная работа.

Мышление обыденное применяет их бессознательно и бессистемно, научное—сознательно и планомерно.

Эта сознательность и планомерность повышались с каждым шагом развития науки. Но все же старая наука не была в силах исследовать свои методы настолько, чтобы выяснить их действительное начало; а оно есть ключ к их объективному, жизненному смыслу. Все это—вне поля зрения старой науки, потому что все это лежит в сфере коллективного труда, от которого оторвалось ее мышление.

## II.

Путем индукции достигается познавательное обобщение. Ему предшествует в развитии жизни, как индивидуальной, так и коллективной, обобщение практическое.

Грудной младенец не занимается индукцией, он еще не есть существо мыслящее. Но он—уже существо действующее, он так или иначе реагирует, активно отвечает на события. Прикоснитесь к его ручке чем-нибудь очень холодным—он отдернет ее. Если холодный предмет замените горячим—он так же отдернет ручку. Острые иголки вызовут то же движение. Это самый обыкновенный рефлекс, т.-е. непроизвольное, стихийное действие живого организма. Оно является одинаковым ответом на различные раздражения. Но такой ответ жизненно-целесообразен. Почему? Потому что при всем различии данных раздражений, в них есть нечто общее: все они могут иметь вредное, разрушительное действие на организм. Движение ребенка есть реакция но это именно общее их свойство. Другими словами, оно практически обобщается в рефлексе.

Огромное большинство человеческих действий, — рефлекторные, инстинктивные, автоматические, привычные, — представляют такие практические обобщения. Человек идет по тропинке, ее прерывает яма, большой камень, ствол упавшего дерева, лужа; все эти различные вещи он лишь несколько тысяч лет тому назад сумел обобщать познавательно в понятии «препятствия»; но, конечно, задолго до того, наглядно для всякого наблюдателя обобщал практически, в акте перепрыгивания, в одинаковом движении,

относящемся к общему для человека свойству всех этих, столь различных предметов.

Такова жизненная необходимость. Воздействия и сопротивления среды, с которыми сталкивается всякий организм, сами по себе бесконечно разнообразны, и никогда в точности не повторяются. Если бы организму надо было так же разнообразно реагировать на них, то он никогда не мог бы ничему «научиться», в том смысле, что не имел бы возможности выработать никаких действительных приспособлений: когда и каким путем выработаются целесообразные реакции, если каждая годится только на один раз? Именно в обобщающем их характере заключается основная э к о н о м и я с и л активного существа.

### III.

Все-таки очевидно, что практическое обобщение в этих стихийных формах отстоит еще весьма далеко от познавательного. Где лежит промежуточный этап?

Чем сильнее то раздражение, которое действует на ручку ребенка, тем энергичнее рефлекс отдергивания. При этом легко заметить, что сокращаются и другие мускулы тела, особенно лица, также учащается и усиливается дыхание. Это—распространение в первых центрах возникшего возбуждения с одних двигательных областей на другие, так-наз. «иррадиация» его; она неизбежный результат единства организма, связи его частей: в сущности, он весь принимает участие во всякой реакции, только со стороны большинства органов участие так слабо, что незаметно.

Если раздражение очень сильно, то рефлекс осложняется криком: иррадиация дает резкое сокращение грудно-брюшной преграды, голосовых связок, мускулов полостей глотки и рта и мускулов лица. И вместе с тем на сцену выступает новый момент огромной важности.

Мать слышит крик ребенка и приходит ему на помощь: она узнала, что случилось, потому что крик есть выражение боли. Если бы ребенок был один в мире, крик его являлся бы только лишней и вредной растратой энергии; но в зародышевой социальной системе «мать—ребенок» и эта часть рефлекса превращается в очень полезное приспособление. Крик боли «понятен»

и матери, и даже всякому другому человеку, потому что у всех них он одинаково является частью рефлекса, вызываемого сильным и вредным раздражением.

Рефлекс есть практическое обобщение. Здесь оно, как видим, уже не только существует, но и выражено и понято. Выраженное и понятое практическое обобщение не может ли рассматриваться как познавательное? Пока еще нет; оно не соответствует общепризнанному типу таких обобщений. Но оно является их прообразом.

#### IV.

В борьбе с природой человек приспособляется к ее условиям не только путем стихийных рефлексов, но также путем сознательных по-целесообразных усилий, активно изменяющих эти условия; другими словами, он есть существо трудовое.

Трудовые усилия отличаются двумя чертами: социальной и пластичностью. В труде человек связан с другими людьми, является членом коллектива; только в коллективе он обладает достаточной силой, чтобы изменять условия внешней среды; взятый отдельно, он был бы бессилён перед стихиями, и если бы даже мог жить, то только пассивно к ним приспособляясь, как любое животное, но не мог бы развиваться до трудовой сознательности. А она неразрывно связана с изменчивостью самих усилий, с их «пластичностью»: как только труд несколько изменил условия, так дальнейшие усилия уже должны «считаться» с этим изменением; напр., если дерево подрублено уже настолько, что может упасть, надо не рубить дальше, а толкать его в падающую сторону, и т. под.

Труд порождает новый этап в развитии обобщения.

Трудовой акт, подобно рефлексу, из которого он произошел, сопровождается, благодаря той же иррадиации, соответственным звуком, трудовым междометием. Таков, напр., звук «ухх», вырывающийся при поднятии тяжести, «га» при ударе топора для раскалывания полена, «гоп-ля» у матросов при натягивании каната, «го-гой» у них же при вращении спиц кабестана, «ффы» у человека, раздувающего огонь для костра, и пр. Эти

звуки часто и практически связаны с необходимым приспособлением органов грудной клетки к движению стана и конечностей. У человека первобытного, стихийно-непосредственного, такие звуки вырывались, конечно, гораздо легче, чем у современного нам работника.

Трудовые междометия — это первичные корни человеческой речи. Каждое из них представляет естественное, для всех членов коллектива понятное обозначение того трудового акта, к которому относится. Здесь — разгадка происхождения языка, данная генеральным Нуаре, марксистом сравнительной филологии, не имевшим понятия о марксизме. Слово-понятие выделилось из труда, возникло из производства.

Пластичность труда обусловила пластичность слова, и тем самым — развитие речи, начиная от немногих первичных корней и до того неизмеримого ее богатства, которым характеризуются теперь языки цивилизованных народов.

Так как первобытное слово обозначает действие, то уже ряд таких слов может составить техническое правило. Напр., технику разведения костра взрослый член родовой первобытной общины мог сообщать ребенку путем цепи трудовых междометий, выражающих наши понятия: рубить (конечно, дерево), ломать, собирать (сухие ветки, хворост), нести, складывать, тереть (способ добыть огонь), раздувать. Способ обучения, по невыработанности языка, несовершенный, но с помощью указания на подходящие предметы достигавший, надо полагать, своей цели.

Трудовое междометие вырывалось у человека не только в связи с представлением о своем действии или таком же действии другого человека. Если ему случалось видеть аналогичное по характеру или результатам стихийное действие сил природы, это естественно порождало в дикаре яркое двигательное представление, а с ним — то же самое высказывание. Напр., когда он наблюдал, как падающий с горы камень острым краем срезывает дерево на своем пути, это непроизвольно порождало у него звук, выражавший акт срубания. А тем самым первичное слово становилось уже обозначением не только человеческого усилия, но и явления природы. Так сделалось возможным описание вообще.

Нет надобности сейчас проследживать дальнейшее развитие языка, от неопределенного значения слов к определенному,

от трудовых междометий к расчленению частей речи. Для нас важно следующее. Слово-понятие есть уже познавательное обобщение; техническое правило и описание событий—познавательные обобщения более сложные, образованные из первичных, элементарных обобщений—слов.

Это—начало индукции. Первой и основной ее формой признается «обобщающее описание». Словесное обозначение само по себе и представляет «описание» обозначаемого—в самом общем смысле термина; и описание, конечно, обобщающее: оно охватывает в своей символике действия, или события, или вещи, различные в частностях, но обладающие некоторым общим содержанием, которое и позволяет связывать их, как однородные комплексы в потоке живого опыта.

## V.

От низших, первого порядка обобщений происходят высшие—второго, третьего порядка, и т. д., как в цепи слово-понятий, так и в цепи технических правил, и описания фактов. Метод все тот же. В данном ряде низших познавательных комплексов имеется общее и жизненно-важное, в каком бы то ни было смысле, содержание: отношение людей к этому содержанию «выражается» в одинаковой словесной реакции.

Дикарь «знает» всех членов своей общины, т. е. к каждому из них находится в определенном практическом отношении; оно выражается для дикаря в индивидуальном имени. Это имя само по себе символизирует сложное и широкое обобщение, ибо каждый человек в опыте другого выступает отнюдь не тождественно, а целой цепью довольно разнообразных переживаний.

Но и ко всем своим родичам у дикаря существует некоторое общее практическое отношение. Оно особенно резко обнаруживается тогда, когда община встречается с людьми чуждой организации, напр., другой подобной общины. Тогда он жмется к своим, ищет их поддержки и сам поддерживает их, чужих, напротив, остерегается, избегает, при возможности нападает на них. То и другое отношение охватывает два ряда довольно сложных практических реакций, имеющих большое жизненное значение. Эти

два ряда и обобщаются в понятия высшего порядка — «свой» и «чужак».

Развитие более мирных отношений и связи между общинами, племенами, ведет к образованию понятия еще высшего порядка — «человек», — и т. д.

Таков путь индукции. В обыденном и в научном мышлении он по существу одинаков: научное мышление, как известно, отличается только большей организованностью — шире и полнее охватывает коллективный опыт людей, строже и методичнее связывает его, планомерно устраняя все противоречивое в нем. А методы научного мышления те же, потому что оно и выработалось из обыденного. И теперь мы проследили корни основного из этих методов в области труда, где лежит начало всей культуры.

## VI.

Обобщение, обобщающее описание — простейший тип индукции. Более сложную и высокую форму ее представляет метод статистический, метод количественного учета и подсчета фактов.

Известны дикари, для которых арифметические операции даже в пределах числа пальцев на руках и ногах представляют непреодолимые трудности. У первобытных людей приходится предполагать еще меньшее развитие. Но труд вообще и всегда имеет, конечно, свою количественную сторону, а ее значение в его организации столь же велико на самых ранних стадиях, как и на позднейших.

Элементы производства — его материалы, орудия, рабочая сила. Их соразмерное распределение, а значит, их «соизмерение» — основная организационно-трудовая задача. В настоящее время она в каждом крупном предприятии решается научно-статистическим путем, и на этом же методе основываются нынешние попытки ее решения в более широком, государственном масштабе. Первоначально же она решалась чисто практически.

Так, напр., даже самое примитивное земледелие требовало хотя приблизительного учета семян, необходимых для посева на определенной площади, и такого же учета фактической урожайности, определяющего расширение или сужение обрабатываемых



общинною участков. Этой первобытной статистике приходилось принимать во внимание и наличность рабочих сил, считаясь при этом с количественным различием силы взрослого мужчины, женщины и подростка. С усложнением производства надо было рассчитывать и необходимые размеры пастбища для наличного скота и величину запасов сена для него на зиму; а число, напр., овец сообразовать и с потребностью в мясе для питания, и с потребностью в шерсти для выделки тканей, основываясь на среднем весе животных разного возраста и на среднем количестве получаемой от них шерсти, и т. под.

Все выкладки делались первоначально, разумеется, не путем настоящих арифметических и алгебраических операций, а тем элементарным методом, который живо и довольно точно выражается нашим народным термином—«прикидывать на глаз». Например, чтобы соразмерить количество семян с пространством подлежащего засеву участка, руководитель работ общины исходил из прежнего трудового опыта, согласно которому, положим, горсти зерен хватало на такую-то маленькую площадь, хорошо фиксированную в его воспоминании. Обходя затем пахотное поле, он как бы отмеривал по этому зрительному образу («на глазомер») куски площади такой же величины, и на каждый откладывал по горсти семян из полного взятого с собою мешка в специально назначенный для них пустой. Так первобытная статистика на деле реализовала и среднюю величину и общую сумму.

Большим и весьма нелегким шагом к отвлеченно-статистическому расчету была примитивная символика в таком роде: вместо того, чтобы таскать с собой и на месте откладывать семена, организатор, отмеривая на глаз площадь, делал знаки, в виде, напр., черточек на палке, и потом, уже дома, по этим знакам откладывал горсть за горстью. Это было начало собственно «численной» или цифровой статистики.

До какой степени труден переход даже к такой символизации, о том ярко свидетельствует приводимый Дж. Леббоком (в книге «Начала цивилизации») рассказ одного африканского путешественника. Он был свидетелем меновой торговли между европейским купцом и вождем туземного племени. Выменивались овцы на табак: купец давал по две пачки табаку и отводил в свою сторону овцу. Ему надоело без конца повторять эти передвиже-

ния, он дал вождю сразу четыре пачки, и хотел отвести две овцы. Вождь остановил его. Купец стал доказывать, что это одно и то же. Туземец никак не мог понять сути дела, и на лице его отразилось мучительное напряжение мысли. Наконец, вдохновение осенило его: он схватил четыре пачки, поднес их к своим глазам, и через одну пару стал смотреть на одну овцу, через другую — на другую. Так вопрос был решен, и под влиянием европейской цивилизации был сразу сделан значительный шаг по пути познания, который без этого влияния потребовал бы гораздо больше времени.

Практически осуществлялась в первобытной статистике, для тех же целей соизмерения, и группировка с точки зрения количественных различий по отношению к какому-либо признаку: скота по его весу, бревен и досок для стройки по величине, работников по размеру их трудоспособности, и т. под. Без этой группировки невозможен был бы даже и тот приблизительный учет условий общинного производства, который выполнялся непосредственно, «глазомерным» путем, и без которого организация труда не достигала бы необходимой элементарной плановости.

Таким образом, все основные моменты статистического метода возникали сначала в организационно-трудовой практике, в ее конкретной жизненной связи. Затем они подвергались с и м в о л и з а ц и и, которая состоит в замещении реальных фактов и вещей знаками, словесными или иными. На одном из примеров мы отметили зародыш «цифровой» символизации; проследить же все ее развитие не требуется нашей задачей. Она именно и придала статистическому методу сначала вообще п о з н а в а т е л ь н ы й, а затем, когда достигла большей строгости и точности, то и собственно н а у ч н ы й характер.

## УП.

Высшую и самую сложную форму индуктивного метода представляет а б с т р а к т н о - а н а л и т и ч е с к и й или метод упрощающего разложения фактов. Однако, и он отнюдь не «выдуман» учеными.

Слова «абстрагировать» и «анализировать» первоначально обозначали вполне физические действия: первое, по-латыни, зна-

чило «отдирать», «оттаскивать в сторону», второе, по-гречески, «разрывать» какие-нибудь связки, путы, или «развязывать» их. Вообще действия, практически разлагающие тот или иной материальный комплекс, производящие реальное обособление составных его частей. В производстве это один из основных технических методов.

Для постройки дома нужны бревна, определенных размеров, ровные и гладкие. Они добываются из строевого леса. Как это делается? Срубают или спиливают дерево—отделяют от его корней; удаляют его крону, ветви, сучья, снимают кору, срезают и счищают всякие неровности ствола. Получается то, что надо, то, с чем строитель может оперировать в своей работе. В чем смысл процесса? От реального, сложного комплекса «дерево» технически отвлекают целую массу его элементов, так чтобы осталось то, что является существенным с точки зрения поставленной задачи. Это процесс как нельзя более типичный.

С точки зрения производства хлеба, существенным содержанием колоса являются зерна, с точки зрения производства одежды существенным содержанием растения «лен»—волокна его стебля и т. под. Во всех таких случаях оно и выделяется из целого разными способами технического отвлечения «несущественных» частей или элементов. Это—материальная, практическая «абстракция», материальный «анализ» предметов.

За реально-трудовым действием, отделившись от него, следует его символ—слово-понятие, идеологически его замещающее. Так и за реально-трудовым отвлечением следует его идеологический образ—«словесное» и «мысленное» отвлечение. Строитель смотрит на растущие деревья и, мысленно абстрагируя их кроны, кору и пр., определяет, какие бревна из них выйдут. Это—«познавательное», но еще не собственно «научное» применение абстрагирующего аналитического метода,—потому что задача его обыденно-практическая, а не научная, возможное использование, а не исследование.

С переходом к научному мышлению и постановке научных целей существо метода не меняется. Дело также сводится к тому, чтобы из сложного комплекса выделить «существенное» или «основное» с точки зрения намеченной задачи, и чтобы дальше

с этим и оперировать. Выполняется абстрагирование так же реально, технически, если это возможно. Тогда оно обозначается, как «эксперимент» или научный опыт.

Так, напр., если требуется выяснить основную правильность падения тел, то стараются экспериментально отвлечься от таких осложняющих условий, как сопротивление воздуха, случайные толчки, действие ветра. Для этого тела, которые взяты для исследования, помещают в замкнутую трубку, чем устраняются случайные воздействия, и из нее выкачивают воздух, чем устраняется его сопротивление.—Если надо установить основную форму свободных жидкостей в пространстве, то стараются абстрагировать силу тяжести, которая заставляет их растекаться по поверхности или принимать форму сосудов. Для этого действие тяжести уничтожают, «парализуют» другим, ему равным и противоположным: давлением другой жидкости, одинакового с первой удельного веса, внутри которой ее помещают, выбирая, конечно, такую, которая с ней не смешивается, или избегая смешения с помощью тонкой эластичной пленки; при этом жидкость, как известно, принимает форму шара.

На обоих примерах видно, что «абстрагирование» получается не совершенное, лишь приблизительное: осложняющие моменты сводятся только к минимальной величине; напр., в трубке для падения тел остается хотя очень немного воздуха; удельный вес двух разных жидкостей не абсолютно совпадает, как ни стараться об этом, и т. под. Этими остатками осложняющих моментов, если они очень малы, просто «пренебрегают», т.-е. уже мысленно от них отвлекаются.

В массе случаев—такого реального, технического абстрагирования выполнить не удастся даже и приблизительно; тогда оно заменяется всецело мысленным отвлечением. Таким почти всегда является абстрактный метод в общественных науках; над людьми и их отношениями эксперименты возможны лишь весьма редко, и постановка их, при громадной сложности явлений, слишком трудна.

Адам Смит и Давид Рикардо исследовали экономические процессы капитализма с помощью основной абстракции «экономического человека»: они мысленно отнимали у человека все иные мотивы—нравственные, политические, идейные, лично-эмоцио-

нальные—кроме мотивов «экономической выгоды»,—как бы обру- бали и обрезывали человеческую личность, оставляя только «су- щественное» для их задачи; а затем оперировали уже с этим упрощенным комплексом.—Маркс, изучая развитие капитализма, берет за основу «чисто капиталистическое общество»; эта абстракция получается путем мысленного очищения современной Марксу капиталистической организации от всех заключающихся в ней остатков и пережитков прежних экономических систем и от зародышей будущих. Такие упрощения позволяют проследить главные закономерности бесконечно сложной экономической жизни.

Абстрактный анализ есть самый тонкий, самый совершен- ный—и самый трудный метод индуктивного исследования. Однако, он произошел в конечном счете из элементарно-грубых техниче- ских приемов, с которыми его связывает непрерывный ряд раз- вития.

### VIII.

Сущность дедукции заключается в применении результатов, добытых индукцией, т.-е. ее обобщений. Начало того и другого метода совершенно сливается, оно до такой степени общее, что в нем различать тот и другой еще нельзя.

Это начало—слово-понятие, первичное обобщение. Оно обо- значает ряд однородных действий, или событий, или предметов, выступавших в прошлом, пережитом опыте,—и прилагается к действиям, событиям, предметам, в опыте новым, появляю- щимся впервые. Такое новое приложение, без которого слова были бы вполне бесполезны, и есть уже э л е м е н т а р н а я д е- д у к ц и я.

Пусть, напр., первичный арийский корень «ку» связан с актом копания. Если допотопный дикарь, встретив на пути яму, не- произвольно произносил «ку», то междометие это есть не что иное, как вывод из обобщенного прежнего опыта, примененный к новому опыту, дедуктивное о б' я с н е н и е конкретного факта: принимается, что тут были люди, которые, преследуя некоторую техническую цель, совершили ряд определенных действий. Об'яснение может быть и ошибочным: всякая дедукция гипоте-

тична, т.-е. только вероятна, хотя эта вероятность в иных случаях достигает почти полной достоверности. Но по своему познавательному характеру объяснение первобытного дикаря не отличается от тех, напр., дедукций, которыми астрономы пытаются объяснить происхождение «каналов», усмотренных в телескопы на Марсе; самое слово «канал» происходит от того же первичного корня, и заключает в себе здесь ту же гипотезу-дедукцию.

Аналогичным образом, если современный человек, увидевши в воде некоторое существо, называет его словом «рыба», то этим самым он делает целый ряд сложных дедуктивных выводов: и относительно наличности разных органов определенного строения, и относительно их взаимного расположения, и относительно их жизненных функций, связи с водной средой, и т. д. Дедукция того же рода, и также, может быть, ошибочная,—если, напр., существо окажется дельфином, т.-е. млекопитающим, или куском дерева подходящей формы. Установить ее верность или ошибочность можно только «практически»: поймавши предполагаемую рыбу и подергнув ее вскрытию, или иным путем в таком же роде.

Когда работник в своем труде следует усвоенному техническому правилу, это—практическая дедукция: обобщение прежнего труда, примененное к новому материалу, с новыми (т.-е. хотя бы несколько изменившимися за истекшее время) орудиями, в новой (хотя бы до некоторой степени) обстановке. Практическая дедукция тоже гипотетична; но она отличается тем, что ее истинность или ошибочность тут же обнаруживается, на деле: если, напр., материал окажется недостаточно одинаков по свойствам с прежним, то получится продукт, не предусмотренный примененным техническим правилом.

Техническое изобретение, когда оно не случайно, а научно, есть не что иное, как сложная, комбинированная практическая дедукция. Простейший пример—способ, по которому Архимед во время осады Сиракуз поджигал римские корабли. По своему или чужому прежнему опыту, Архимед владел техническим правилом, согласно которому можно произвести некоторое нагревание предмета, направив на него металлическим зеркалом отражение солнечных лучей. Другое, гораздо более общее техническое правило говорят, что, повторяя трудовые акты, можно получить умно-

женное количество их продукта, или вообще их результатов. Третье, опять довольно частное, но весьма известное, утверждает, что, увеличивая нагревание деревянных предметов, можно достигнуть их возгорания. Связывая первое и третье правило посредством второго, Архимед заключил, что, направив отражение многих зеркал на один пункт деревянной стенки римского корабля, он его зажжет. С помощью 150 — 200 зеркал дедукция была реализована, и оказалась правильной.

Сложные теоретические дедукции отличаются только исходным материалом—имеют дело с познавательными обобщениями, вместо технических правил,—а в общем идут тем же путем. Например, объяснение пути планет могло быть получено Ньютоном посредством такой дедуктивной комбинации. 1-ое обобщение: свободные тела падают на землю вертикально. 2-ое: боковой толчок отклоняет падающие тела от вертикали, придавая их пути кривизну; 3-ье широко организующее обобщение: умноженное действие дает умноженный результат. Ближайший вывод: чем сильнее боковой толчок, тем более значительное отклонение от вертикали, тем более отлогая кривая падения. 4-ое обобщение: земная окружность—весьма отлогая кривая линия. Вывод из соединения этой идеи с предыдущим: достаточно сильный толчок может дать падающему телу линию пути такой же отлогой кривизны, как земная окружность, или еще более отлогой, причем тело, очевидно, облетит кругом Земли, не попадая на ее поверхность. 5-ое обобщение: Луна движется вокруг Земли. Вывод из него и предыдущего: Луна движется так, как тело, свободно падающее на Землю при достаточно сильном боковом толчке.

И здесь, в области дедукции, обнаруживается непрерывная и неразрывная цепь развития от элементарно-трудовых организационных приемов до вершин научных методов.

## IX.

Таково происхождение двух основных, всеобщих методов познания. В их рамках лежит множество методов более частных, специальных, которые применяются в отдельных, более или менее обширных областях науки. Что верно по отношению к общему,

ть справедливо и по отношению к частному; происхождение этих методов не может быть иным, чем происхождение тех. Проследить его по всем наукам здесь нет возможности; ограничусь несколькими типичными иллюстрациями, взятыми из моей прежней работы («Культурные задачи нашего времени», стр. 61—64).

Основу аналитической геометрии составляет, как известно, отнесение пространственных элементов к заранее определенным «системам координат», или взаимно связанных линий, принимаемых неподвижными. В громадном большинстве случаев употребляются либо прямоугольные, либо полярные координаты; т.-е. берутся три прямые, сходящиеся в одном центре под прямыми углами между собою; между ними лежат три также взаимно-перпендикулярные плоскости, и положение изучаемой точки определяют либо ее расстояниями от каждой из этих плоскостей, либо ее расстоянием по прямой линии от центра и величинами углов, которые эта прямая образует с теми же самыми плоскостями.

Легко заметить, что в трудовой технике система трех прямоугольных координат тысячи миллионов раз осуществлялась раньше того, как ее сделали схемой геометрического исследования. Она в точности воспроизводится каждым углом каждого четвероугольного здания и ящика,—следовательно, является прежде всего элементарной схемой построек. А метод полярных координат применялся практически еще первобытным охотником, когда он искал себе дорогу в девственных лесах или степях, ориентируясь по солнцу и звездам. Он инстинктивно определял направления, основываясь на величине углов между своими лучами зрения, обращенными к солнцу, к горизонту, к знакомым звездам, к далеким горам, и т. п.; а эти углы геометрически представляют не что иное, как элементы полярных координат.

Аналитическая алгебра основана на счислении бесконечно-малых величин. Понятие о бесконечно-малых возникло еще в классической древности: и, однако, античный мир, давший не мало гениальных математиков, не создал дифференциального и интегрального счисления. Почему так случилось? Ближайшую причину отыскать легко: по различным замечаниям древних философов с несомненностью можно видеть, что



бесконечно-малые, равно как и бесконечно-большие, внушали им своеобразное отвращение. Авторитарно-аристократическому миру присуще консервативное направление мысли, тяготеющее к устойчивому, неизменному, неподвижному; а символы «бесконечных» выражают непрерывное движение в ту или иную сторону, неограниченный прогресс возрастания величин или углубления в них; чувство противоречия тут являлось вполне естественно.—Веке же в XVI, XVII, хотя уважение ученых к древней философии было очень велико, не только исчезло это отвращение, что можно объяснить подрывом феодально-авторитарного строя, а с ним консерватизма жизни и мысли,—но оно сменилось величайшим интересом к бесконечно-малым, и породило покую математику. Откуда же взялся такой интерес?

Идея бесконечно-малой имеет своим содержанием, как известно, лишь стремление неограниченно уменьшать какую-либо данную величину. И вот, именно с XV — XVI века такое стремление возникло в самой технической практике и стало чрезвычайно важным для нее. То была эпоха зарождения мировой торговли, опирающейся на океаническое мореплавание, и эпоха первого распространения мануфактуры. Для мореплавателя огромное значение приобрела точность ориентировки, для промышленности — точность производства инструментов. Минимальная ошибка в линии курса при путешествиях на тысячи верст по великим водным пустыням угрожала не только усложнением и замедлением трудного пути, но зачастую даже гибелью всей «транспортной мануфактуры» — корабля с его экипажем. Стремление уменьшать эту ошибку до практически-ничтожной стало жизненно-насущным.—В мануфактуре также минимальные ошибки и неточности в инструментах приобрели большое реальное значение, благодаря доведенному до высокой степени техническому разделению труда. Если в ремесленной мастерской работнику, выполняющему свое дело при помощи целого ряда различных орудий, приходилось каждым из них сделать несколько десятков движений в час, а то и меньше, то в мануфактуре, оперируя все одним и тем же инструментом, рабочий производит с ним тысячи однообразных движений за такое же время. Неудовимая для глаза погрешность в устройстве орудия, оказывая свое влияние тысячи и тысячи раз, производит весьма заметное ухудшение в резуль-

татах работы—в количестве продуктов, в степени утомления работника и т. д. Всякую неровность и асимметрию инструмента требуется уменьшать настолько это возможно, не удовлетворяясь окончательно никакой достигнутой степенью, т. е. именно требуется сводить к бесконечно-малой величине. Понятно, что античное, презрительное отношение к бесконечно-малым должно было исчезнуть и смениться живым интересом: новые мотивы, чуждые древнему миру, были порождены новой социально-трудовой практикой.

Насколько интенсивен был этот интерес, показывают те огромные усилия, которые тогда делались для создания мощных увеличивающих инструментов. Приготавливались неуклюжие астрономические трубы футов во 100 и более длины: а одна из луп Левенгука увеличивала в 2000 раз. Видеть в нее, конечно, нельзя было почти ничего, благодаря темноте поля зрения; и весь тяжелый труд, на нее потраченный, имел, в сущности, лишь символический смысл—выражал стремление, так сказать, глазами уловить бесконечно-малые.

Когда бесконечно-малые заняли свое настоящее место, как действительные элементы практических, конечных величин, тогда стал возможен анализ величин в их изменениях и в их связи. А вся техника производства, которая стала прогрессивной и изменялась с возрастающей скоростью, настойчиво ставила эту задачу.

## X.

В других научных областях то же самое.

Физика, химия, теория строения материи—вся эта группа наук за последнее время все теснее сливается в одно целое, и по своему социальному существу представляет общее учение о тех сопротивлениях—активностях внешней природы, с которыми встречается коллективный труд человечества. Учение это проникнуто одним принципом, опирается на один универсальный метод, называемый энергетикой. Сущность ее, закон энергии—энтропии, есть не что иное, как непосредственно перенесенный в познание принцип и метод машинного производства. Превращение энергии из одних форм в другие, это и есть прямо то, что делает машина в практике производства; закон сохране-

ния энергии, согласно которому она не создается в опыте, а всегда берется из того или иного наличного источника, есть выражение того факта, что, пользуясь работой сил природы, трудовой коллектив всегда должен черпать их из каких-либо данных запасов. Закон же энтропии говорит о невозможности полного превращения сил природы в те формы, которые могут быть использованы человечеством,—о постоянном частичном рассеянии энергии в виде теплоты: прямое выражение объективных пределов, на которые необходимо наталкивается машинное производство.

В области наук о жизни огромную роль играет методологический принцип естественного подбора. С его точки зрения объясняются бесчисленные факты целесообразности жизненных форм. Он говорит о выживании и размножении форм, приспособленных к своей среде, вымирании неприспособленных. Прошло каких-нибудь 60 лет с тех пор, как этот принцип был формулирован Дарвином и Уоллесом в науке. Но еще за целые тысячелетия до того в скотоводстве, разведении хлебных злаков, огородничестве, садоводстве практиковался «искусственный подбор»; он позволял выживать для размножения тем формам домашних животных и полезных растений, которые были наиболее приспособлены к условиям и потребностям хозяйства, устранял от размножения неприспособленные. И здесь, как видим, технический метод предшествовал научному, который был создан по его образу и подобию.

Выводы ясны. В мире мысли, как и во всей жизни, человечество не творит из ничего. Царство познания выросло из царства труда, глубоко в нем коренится, питается его соками, строится из его элементов. Оттуда исходит реальное содержание науки — коллективно-трудовой опыт: там зарождается душа науки—ее методы.

Старая наука не знала, не понимала этого, и это во многом ослабляло, обессиливало ее; отсюда рождались в ней фетиши, мнимые вопросы, ненужные отклонения и усложнения, от которых она понемногу и с трудом освобождается за последние десятилетия. Первый, основной фетиш старой науки—чистое, абсолютное знание, заключающее вечные истины. Он отрывал людей науки от трудовых классов; веря в него и считая себя его жре-

цами, ученые не могли не чувствовать себя аристократами духа, высшими существами по сравнению с теми народными массами, которым недоступно служение чистой истине, которые живут физическим трудом и практическими заботами. Мнимыми были вопросы о «сущностях» тех или иных явлений, о «силах», скрытых под ними; эти вопросы занимали умы ученых и вызывали затрату больших усилий, отвлекая от действительного, всеобщего вопроса—как овладеть явлениями. Бесплодные ухищрения и тонкости порождались стремлением заменять «грубые» трудовые методы измерения, взвешивания, эксперимента «идеальными», чисто логическими способами доказательства истин посредством других истин, признаваемых бесспорными и безусловными,—каких на деле нет и быть не может в изменчивом потоке растущего коллективного опыта. Старая наука не признавала природы своих методов, поэтому неэкономно их применяла, и развивать их могла только ощупью, а не планомерно.

Новая наука все это изменит. Она знает, откуда идет, и знает, что делает в общей организации работы человечества. Она будет сознательно и неуклонно служить делу коллективного труда и развития, видя в нем свой источник и свое назначение. Она станет близка и понятна трудовым массам, будет глубже и глубже проникать в них, и будет не отрывать от них, а все теснее связывать с ними своих работников—ученых, до полного слияния тех и других. Она будет наукой не избранных, но всего человечества, могучим орудием его стройного и гармоничного объединения.

# Тайна науки.

(1913).

## I.

Одну за другою человечество вырывает у природы ее тайны: от победы к победе идет наука — объединенный, организованный опыт человечества. Но в самых ее победах скрыта новая тайна, и может быть наиболее грандиозная. Мы не замечаем ее: наше мышление слишком привыкло к ней, постоянно ею окруженное, как воздухом окружено наше тело. Требуется огромное усилие, чтобы отрешиться от этой привычки. Надо «наивными глазами» взглянуть на чудеса науки — как будто мы еще не видели их, и тогда мы заметим, что они гораздо больше, чем мы думали.

Вот астроном делает вычисление, и находит, что в такой-то день и час, в таких-то местностях будет наблюдаться полное солнечное затмение. Снаряжаются научные экспедиции... Предсказание исполняется.—Что в этом особенного? Делались вещи гораздо более замечательные в той же астрономии, как и в других областях науки. Но постараемся представить себе отчетливо смысл и объем факта.

В бесконечном, безжизненном пространстве эфира движутся исполинские тела. Их размеры, расстояния, скорости превосходят всякое человеческое воображение. Вся жизнь, которую мы знаем, тончайший слой плесени на поверхности одного из таких тел — планеты «Земля», — из числа наименьших между ними. Силы, несоизмеримые с нашими силами; периоды развития, несоизмеримые с временем нашего опыта... Это — один ряд событий.

Мысли проходят, ассоциативно сцепляясь в сознании астронома, недоступные ничьему объективному наблюдению, никакому постороннему контролю, как если бы они были вне пространства и вне действия физических сил... Это — другой ряд событий.

Движение руки при посредстве пишущего орудия обуславливают на листе бумаги, лежащей перед астрономом, цепь комбинаций из черточек и точек. Третий ряд.

Что общего между тремя рядами явлений? Их элементы настолько различны, насколько возможно различие во вселенной. количественное и качественное: астрономические тела, образы сознания, черные значки. Их связи разнородны также в наибольшей возможной степени: там—пытоновское тяготение, тут—депхическая ассоциация, здесь—соседство и последовательность расположения на поверхности бумаги. Как может что-либо получиться из сочетания этих трех рядов, несоразмеримых и несравнимых? Мы засмеялись бы над человеком, который соединил бы вместе булжаник, мечту и телеграфный сигнал. Но перед ними комбинация того же типа и характера; а в ее результате—одно из обыкновеннейших чудес науки, и точное предвидение факта в близком или далеком будущем.

Тайна природы побеждена; но на сцену выступает тайна самой победы—тайна науки...

## II.

Это не тот вопрос, который ставят и глубокомысленно размышляют гносеологи-специалисты: «как возможно познание?» Дело идет вовсе не только о познании: тайна науки была еще раньше тайною всей человеческой практики. Всякий «труд», т. е. сознательно-целесообразная деятельность, необходимо заключает в себе момент предвидения; а всякое предвидение, даже самое обыкновенное элементарное, как и самое сложное, научное, основано на соотношении между явными событиями, наиболее разнородными, какие только доступны опыту.

В почве происходят бесчисленные химические и органические процессы: растворения, окисления, разложения, брожения, размножения живых клеток, и т. д.; ряд стихийно-физический.—В сознании крестьянина проходят ассоциации восприятий образов, воспоминаний, эмоций, стремлений: ряд психический.—В организме крестьянина протекают последовательные цепи мускульных сокращений, образующих его «работу»: ряд физиологический... И вот,

все эти «несоизмеримые» образуют вместе одно живое, разумное целое, одну из величайших побед человечества над природою: земледелие.

Философия подошла к задачке, но не охватила ее объема, поняла ее лишь частично, как задачу «теории познания». Этим была исключена возможность действительного, принципиального разрешения вопроса: все попытки обречены были остаться в области спорного, ненадежного; той объективной убедительности, которая свойственна выводам наук, здесь нет, и быть не может.

Около 75 лет тому назад Маркс, в критических замечаниях по поводу Фейербаха, написал:

«Философы хотели так или иначе объяснять мир; по сути дела в том, чтобы изменять его».

Эти слова заключают в себе не только критику всей домарксовской философии, и притом приложимую также почти ко всей философии позднейшей; они, кроме того, намечают программу, указывают направление работы, которая должна сделать то, что непосильно для философии. Но ни критика, ни программа обычно не понимаются до сих пор; пророческая идея не получила развития и осуществления.

Правда, в своей сжатой форме она была выражена не вполне ясно. Не было бы, разумеется, понимать мысль Маркса так, что он приглашал не познавать, не исследовать мир, а прямо практически воздействовать на него: вся деятельность великого мыслителя была бы опровержением этого. Другие примечания о Фейербахе несколько поясняют мысль; напр., в первом из них Маркс упрекал материализм за «созерцательную» точку зрения на действительность, и противопоставлял ей точку зрения «конкретно-практическую». Следовательно, он требовал, чтобы миропонимание было активным, чтобы в своей основе оно было теорией практики, а не «теорией познания», и вообще не «миросозерцанием».

Сам Маркс выполнил эту задачу в одной важнейшей области нашего опыта: в его руках социальный наука стала, на самом деле, теорией трудовой и социально-боевой практики; и вместе с тем она впервые сделалась наукою, а не только «философией» общественной жизни. Такое же преобразование надо было выполнить по всей линии опыта. Этого нет и до сих пор.

Тайна науки может быть раскрыта лишь на том же самом пути; ибо она существовала и до самой науки, как тайна человеческой практики.

### III.

Нам приходится поставить вопрос о человеческой практике в общем в целом. Чтобы исследовать ее в таком масштабе, надо всю ее чему-нибудь противопоставить, всю ее с чем-нибудь сравнивать. Чему же она реально противостоит? Мы знаем это: процессам природы. Одна сторона представляет активности сознательно-целесообразные, другая—стихийные; так обе они взаимно определяются и ограничиваются.

Но недостаточно установить различие: исследование достигает своих целей только в обобщении, в выяснении сходств; а без этого и пределы различий и их значение остаются неизвестными. Существуют ли сходства между человеческой практикой и стихийными процессами? Несомненно, да.

Человек, в своей сознательности, часто воспроизводит то, что делает природа в своей стихийности: пользуется методами, подобными ее методам, создает комбинации, сходные с ее формами. Чаще всего такие совпадения объясняются подражанием человека природе: в историях культуры приводится масса примеров этого подражания.

Однако, если мы оставим в стороне попытки искусства воспроизводить внешние формы некоторых объектов и процессов природы, а будем иметь в виду самые приемы и способы человеческой деятельности, то вопрос о «подражании» оказывается неожиданно-сложным. Рассмотрим несколько примеров.

Метод паруса уже несколько тысячелетий применяется людьми для передвижения. Еще гораздо раньше он служил для перемещения и распространения семян некоторых растений; а также он играл роль в устройстве двигательного аппарата таких животных, как, напр., белка-летяга. и затем, в более развитой форме,—всех летающих животных, птиц, насекомых и пр. Было ли тут со стороны человека «подражание»? Если и да, то совершенно иного рода, чем то прямое, более или менее сознательное подражание, которое обычно подразумевается под этим термином. Надо пред-



положить огромную способность сравнения, обобщения и отвлечения у древних дикарей, чтобы допустить, что они начали уstrarивать паруса на своих плотах и лодках, руководствуясь образцами паруса в природе; в н е ш н е е сходство здесь и там слишком малое. Но мы знаем, что первобытное мышление непосредственно, конкретно, чуждо отвлечения; его подражательность стихийна и примитивна; она исходит лишь из очевидного, внешнего в явлениях.

Природа для защиты пластичных живых тканей, жидких и полужидких, пользуется методом «паружного скелета»: раковина улиток, хитинная оболочка насекомых, кожа у позвоночных, череп для их нежного мозга, и т. п. Тот же, по существу, метод применяют люди, когда делают разные сосуды, посуду, ящики и прсч. Но опять-таки принять здесь наивное, непосредственное подражание слишком трудно.

Взятые примеры еще могут оставлять сомнение. Есть другие случаи, где для него уже нет места. Таков, хотя бы, «принцип рычага». В нашей технике его применение колоссально: вся практическая механика, от элементарной до сложнейшей машинной, пользуется им буквально на каждом шагу. Однако, его применение в природе еще более широко; он лежит в основе анатомии органов движения у человека и у других животных: скелет, внутренний или паружный, с его отдельными частями и их сочленениями. С уверенностью можно признать, что эта анатомия не была моделью для подражания людей, когда они впервые начали пользоваться принципом рычага: в те времена они вовсе не настолько ее знали и понимали.

Искусственный подбор в технике разведения домашних животных и культурных растений является способом получения новых пород и разновидностей. Подражание ли это естественному подбору, образующему виды в природе? Конечно, нет: естественный подбор действует так медленно, что люди не могли наблюдать его роли в развитии жизни; и он был открыт теоретически.

Итак, несомненно, что в иных случаях—и разумеется, их гораздо больше, чем здесь приведено,—приемы человеческой практики совпадают с методами творчества природы помимо всякого подражания: люди «самостоятельно» приходили к этим приемам. Сознательность, идя своими путями, повторяет стихийность.

Старая философия дает готовое объяснение таким фактам: человек сам—часть природы, и потому нет ничего удивительного, что он повторяет ее. Объяснение вполне допустимое. Но в нем скрыто принимается та предпосылка, что самой природе свойственно повторять себя, даже на столь далеких один от другого ее полюсах, как сознательное и стихийное. Это приводит нас к более общему вопросу—о совпадениях в природе.

#### IV.

Нас несколько не удивляет повторение форм, когда они происходят одна от другой или от определенного общего начала. Сходство родителей и детей, сходство человека и оранг-утанга, общий тип строения млекопитающих, и т. д., понятны нам, потому что в этих случаях повторение сводится для нас к простому продолжению того, что уже имелось раньше. Но есть много рода совпадения, которые далеко не так просты, а становятся тем более загадочны, чем более в них вдумываться,—совпадения независимо возникших форм.

Сравним общества людей и общества муравьев. Общие предки тех и других были, несомненно, животные весьма низкого типа, вроде каких-нибудь из нынешних червей, существа не социальные, лишенные всякой техники и всякой экономики. Между тем, в технике у людей и у муравьев мы встречаем скотоводство, причем в чрезвычайно сходных формах: муравьи содержат и эксплуатируют определенные породы травяных тлей, выделяющих сладкий сок, наподобие того, как люди разводят молочный скот; у других муравьев есть и зародыши земледелия. Устройство муравейника в целом централистическое, аналогичное многим социальным системам у людей.—Предполагать какое-либо «подражание» между людьми и муравьями, разумеется, невозможно.

Способы размножения у растений и у животных развивались по одним и тем же линиям, от бесполого к гермафродитному и раздельно-половому. В своих высших формах они представляют здесь и там огромные аналогии, простирающиеся даже на сложную архитектуру аппаратов для полового размножения: так, план строения женских половых органов представляет величайший параллелизм с планом строения цветка. Но у общих предков жи-

вотного и растительного царства, простейших одноклеточных далекой геологической эпохи, ничего подобного этим сложным методам и формам не могло быть. Там могла существовать лишь примитивная «копуляция», какая теперь наблюдается у одноклеточных организмов: простое слияние пары недифференцированных или минимально дифференцированных клеток. — Природа пользуется половым размножением, как способом выработки новых сочетаний жизненных свойств; и, развивая его независимо в двух царствах жизни, она приходит к повторению одних и тех же схем.

Пример сравнительно частный из той же области: строение зерна и яйца. В основе оно одинаково: зародыш, окруженный питательными слоями, затем—защитительная оболочка. Сами питательные слои большей частью аналогичны по составу: один с преобладанием азотистых, другой—безазотистых веществ, разумеется, различных в том и другом случае; различно бывает и расположение этих слоев.

Крыло птицы и крыло насекомого не имеют ничего общего по своему происхождению, но совпадают по своей механике. Подобных совпадений сравнительная анатомия знает массу. Они объясняются тем, что «сходные функции создают сходные органы». Но для занимающего нас вопроса из этого следует только то, что природа повторяет себя и в функциях и в органах.

Наиболее поразительное из таких повторений—это устройство глаза у высших моллюсков и высших позвоночных, напр., у спрута и у человека. Этот орган состоит из массы частей, с различнейшими функциями, неизмеримой сложности и тонкости. Его устройство у человека и спрута сходно почти до малейших деталей; но об единстве происхождения не может быть и речи: общие предки позвоночных и моллюсков ничего подобного этому аппарату не имели,—самое большое, у них были местные скопления пигмента в наружных слоях тела, для простого поглощения лучистой энергии; а глаз, не говоря уже об его физиологии, даже с чисто оптической стороны представляет сочетание камеры-обскуры, угломерных и дальномерных приборов огромной чувствительности.

Область жизни дает самые сложные и самые яркие примеры подобных совпадений, но они продолжаются и за ее пределами. Кристаллы среди раствора обнаруживают процессы обмена веществ, роса, восстанавливают свои повреждения, при известных

условиях «размножаются»,—как живые клетки, ткани и организмы, хотя строение кристаллов неизмеримо проще.—Централистический тип устройства, обычный для различных обществ у людей и животных, а также для высших организмов, характеризует, в то же время, солнечную систему и, вообще, насколько можно судить, звездно-планетные системы; а на другом полюсе бытия нынешние теории приписывают его атомам в их внутреннем строении.

Бесконечно повторяется во вселенной, на всех ее ступенях, тип волн или периодических колебаний. Волны электричества или света в эфире, волны звука в воздухе и других телах, морские волны и т. д.; даже астрономические движения светил представляют периодические сложные вибрации около общих центров тяжести. В жизни организма не только пульс и дыхание, но почти все органические процессы подчинены колебательному ритму: сон и бодрствование, работа и отдых, волны внимания и пр. Смена поколений может рассматриваться, как ряд накладывающихся одна на другую волн роста и упадка жизни. Хорошо известна роль ритма в коллективном труде, в музыке, поэзии, во всех видах человеческого творчества...

Все подобные совпадения, по-истине, бесчисленные, приводят к одному общему вопросу. От этого вопроса невозможно отделиться фразой: —случайные аналогии!» Никакая теория вероятностей не была бы мыслима, если бы «случайность» забавлялась таким систематическим повторением методов и форм во вселенной. Здесь необходимо научное объяснение.

## V.

Если самые различные виды человеческой деятельности, с одной стороны, стихийной работы сил природы—с другой, могут приводить к схематически-совпадающим результатам, то очевидно, во всех этих разнородных активностях должно найтись нечто общее, способное дать основу для всех таких совпадений. В чем оно может заключаться?

Чтобы идти последовательно, попробуем найти самый общий характер, присущий человеческой практике, и в то же время встречающийся в стихийных процессах. Он состоит в о б' е к-

тивном смысле нашей практики. Активность человека что-либо организует или дезорганизует, как мы это наблюдаем на каждом шагу; и те же определения мы часто относим к активности природы. Исследуем эти характеристики: что они означают, и насколько широко применимы?

Употребление слова «организовать» в обычной речи довольно прихотливо и неопределенно. Чаще всего оно относится к людям и их труду, их усилиям: «организовать» предприятие, армию, нападение, защиту, научную экспедицию, изучение вопроса, и т. д. Затем, «организационными» называют стихийные процессы, посредством которых образуются живые тела, их группы и их части: «это растение организовано так-то»; — «виды животных и растений организуются в природе действием естественного подбора и наследственности»; — «организация данных тканей, их функций такая-то», и т. п. Для нашей цели необходимо установить точное и строгое, научно-пригодное значение слова.

Прежде всего, следует ли относить понятие «организации» только к живым объектам или активностям, как делается в обыденной речи? Берем самый типичный пример: «организовать предприятие». В чем сущность этого процесса? Организатор комбинирует рабочие силы, соединяет трудовые акты людей в целесообразную систему. Но это — не все элементы, с которыми имеет дело его организующая функция. С силами людей он сочетает энергии вещей: с рабочими руками — орудия, машины, вообще — средства производства. Мысль организатора оперирует и с теми и с другими элементами одинаково, так, что даже те и другие взаимно замещаются: недостаточность или порча орудий заставляет увеличивать количество труда; напротив, новая машина вытесняет часть рабочих рук, исполняя за них некоторые операции. Очевидно, что с точки зрения техники предприятие является организацией людей и вещей одновременно: то и другое — производительные силы, организуемые в целесообразное единство.

Следовательно, здесь понятие организации прилагается и к «мертвым вещам». В самом деле, если понимать организованность, согласно обычным представлениям, как «целесообразное единство» элементов, то странно было бы не признавать,

напр., машину за организованную систему; и не только машину, а всякое орудие, всякое техническое приспособление.

Далее. Стихийные процессы выработки жизненных форм считаются также «организующими»; однако, понятие «целесообразности» тут может применяться лишь как метафора: создавая клетку или организм, природа не ставит себе «целей», как их ставит человек, устраивающий предприятие или строящий машину. Значит, обычное понимание организации не обладает научной точностью.—А в то же время сравнение живой и мертвой природы приводит к мысли, что нельзя ограничивать область «организованного» только живыми телами, исключая из нее все «мертвое». Если кристаллы, подобно клеткам или организмам, способны к подвижному равновесию обмена вещества со своею средой, к росту, к размножению, к восстановлению нарушенной повреждением формы, то как считать их совершенно неорганизованными? Ясно, что и по этой линии границы обычного понятия неизбежно расплываются.

Чтобы выбраться из этих неопределенностей, анализируем организующую деятельность как в человеческой практике, так и в природе.

## VI.

Организирующая деятельность всегда направлена к образованию каких-нибудь систем из каких-нибудь частей, или элементов.

Какие же вообще эти элементы? Что именно организует человек своими усилиями? Что организует природа своими эволюционными процессами? При всем разнообразии случаев, одна характеристика остается повсюду применимою: организуются те или иные активности, те или иные сопротивления. Исследуем, и мы убедимся, что это, во-первых, на самом деле одна, а не две характеристики, и во-вторых, что она универсальна, не имеет исключений.

Система труда представляет организацию человеческих активностей и сопротивлений, направленных против сил внешней природы, т.-е., опять-таки, ее сопротивлений и активностей. Всякий жизненный процесс является организованным, именно, как

сочетание активностей и сопротивлений, противостоящих его среде.—Но что такое «сопротивление»?

Когда две активности сталкиваются, то каждая из них—сопротивление для другой. Если вы боретесь с врагом, то его усилия для вас—сопротивление, которые надо преодолеть; но также и обратно: все зависит от выбора точки зрения. Активность и сопротивление—не два разных типа явлений, а два соотносительных обозначения для одного типа. Исключений нет.

Прежде думали, что существуют сопротивления, вполне лишённые характера активностей, чисто-пассивные, и называли их «инерцией». Инерцию приписывали веществу, именно атомам; полагали, что материя, не будучи сама «силою», оказывает действию сил сопротивление, пропорциональное массе своих атомов. Но теперь представление о чистой инерции разбито; атом оказался не пассивной субстанцией, а, напротив, системой наиболее быстрых и концентрированных движений, какие только известны во вселенной; материя свелась к «энергии», т.-е. к действию, к активности.

Мы сказали: все, что организуется, есть не что иное, как активности-сопротивления. Легко убедиться, что это так. Все, доступное нашему опыту, нашему усилению и познанию, представляет необходимо активности-сопротивления. Если бы существовало нечто иное, не имеющее этого характера, оно не производило бы действия на наши чувства, не проявляло бы противодействия нашим движениям: оно не могло бы войти в наш опыт, и навсегда осталось бы для нас неизвестным, недоступным. Значит, «оно» нас и не касалось бы, о нем не приходится ни говорить ни думать, если наши слова и мысли должны иметь какой-нибудь смысл.

Итак, организация есть некоторое сочетание активностей-сопротивлений. Исследуем, какое.

## VII.

Предположим, что человек в своем сознательном или природа в своем стихийном творчестве соединяет некоторые однородные активности. Соединение может быть вполне различным спо-

собою; и, в зависимости от этого, результаты получаются весьма неодинаковые.

Мы привыкли считать «дважды два—четыре» образцом непреложной истины. Эта истина на каждом шагу опровергается различными сочетаниями активностей.

Мы комбинируем для работы две пары средних человеческих силы. Будет ли коллективная рабочая сила равна учетверенной индивидуальной? Общее правило на практике таково, что не будет равна, а окажется больше или меньше. Если эти силы сгруппированы так, что они мешают друг другу, стесняют одна другую, то коллективная сила меньше их суммы, как это очевидно само собою. Если они организованы в планомерное сотрудничество, то коллективная сила больше их суммы, как учит, на основании опыта, политическая экономия.

Расположим эти четыре силы так, чтобы они были сопротивлениями один для других: с двух концов веревки по два человека тянут в противоположные стороны. Коллективная сила равна нулю, ребенок может толкнуть всю компанию в ту или другую сторону. Это—система вполне дезорганизованная по отношению к данной, специальной активности. При менее полной дезорганизации коллективная сила—больше нуля, но меньше четырех.

Предположим, что работники должны поднять тяжесть в 15 пудов. Один рабочий ничего с ней не поделает: его активность по отношению к этому сопротивлению объективно равна нулю. Два работника вместе, может быть, с величайшими усилиями приподнимут тяжесть на сантиметр. Четыре, координируя свои усилия, поднимут ее уже не на два сантиметра, а на метр или больше. Это—организованная система сил.

Но существует и средний случай, где целое как раз равно сумме своих частей? Да. Но если четыре работника сгруппированы так, что их общая трудовая активность точно равна учетверенной индивидуальной, то это означает, что организационное влияние сотрудничества уравновешено дезорганизующим влиянием взаимных помех. Иначе какая-нибудь разница в ту или другую сторону имела бы налицо, малая или большая, это принципиально не важно. Следовательно, формула «дважды два—четыре» выражает лишь предельный случай, а именно пол-



ное равновесие тенденций организующих и дезорганизующих. Та-кую систему можно назвать «нейтральной».

Естественно, что это—случай наиболее редкий в действительности. Если бы мы могли с абсолютной точностью измерять результаты соединения активностей, то систем строго нейтральных, истинно-верных математической абстракции, вовсе не нашлось бы.

### VIII.

То же соотношения наблюдаются на всех ступенях лестницы бытия.

Так, живой организм уже давно определяли, как «целое, которое больше суммы своих частей». Действительно, сумма активностей-сопротивлений, которые организм проявляет по отношению к своей среде с ее враждебными силами, гораздо больше, чем простой результат сложения тех элементарных активностей-сопротивлений, какими обладают по отдельности, напр., клетки нашего тела; отделенные от целого, они беззащитны перед средою, и немедленно разрушаются. Но если бы даже они могли жить самостоятельно, как амёбы, то разве 60—100 триллионов амёб составили бы по отношению к природе такую силу, какую представляет человек?

Естественный магнит в оправе из мягкого железа обнаруживает значительно больше свободного магнетизма, чем без оправы, хотя если взять ее в отдельности, то ее свободный магнетизм очень мал, почти не отличается от нуля. Но можно сложить две магнитные полосы таким образом, что их общее магнитное действие почти уничтожится.

Кристалл обладает неизмеримо большим сопротивлением механическим деформирующим воздействиям, чем такое же количество того же вещества в виде мелкого порошка. В жидком состоянии тел частицы менее тесно связаны между собою, чем в твердом, и сопротивление деформации сравнительно ничтожно; в газообразном—оно становится отрицательным, форма нарушается, если нет препятствий, сама собою;—это можно назвать механически-дезорганизованным состоянием.

Интерференция волн, напр., световых, дает хорошую и весьма простую иллюстрацию всех трех типов сочетаний. Когда две одинаковые волны сливаются так, что их подёмы вполне совпадают

между собою, и понижения, конечно, тоже, то сила света в этом пункте не вдвое больше, чем от одной волны, а вчетверо: целое превосходит сумму частей, сочетание «организованное». Когда же подъем одной волны точно накладывается на понижение другой, и обратно, то соединение света и света дает темноту: комбинация наиболее «дезорганизованная». Промежуточные соотношения волн образуют все ступени между крайними пределами «организованности» и «дезорганизации». Средняя из этих ступеней, где сложение волн дает двойную силу света, соответствует «нейтральным сочетаниям».

Мы нашли формально-строгое, пригодное для научного исследования определение «организации». Оно, как видим, одинаково прилагается и к сложнейшим, и к простейшим явлениям, и к живой природе, и к «неорганической». Оно показывает, что организация—факт универсальный, что все существующее можно рассматривать с организационной точки зрения.

## IX.

Но, повидимому, до сих пор наши поиски ведут нас только от загадки к загадке. Вот и теперь, у нас получился парадокс, мы принуждены отрицать священную основу здравого смысла, формулу «дважды два—четыре»: оказывается, что в действительности, если она и бывает верна, то скорее по исключению: по правилу же целое бывает или больше или меньше суммы своих частей; и математическая аксиома «целое равно сумме своих частей»—лишь предельная абстракция. Каким образом возможно все это?

Всего проще было бы ответить так: это—факты; а значит, и толковать нечего.—Но из уважения к мудрости веков, пострадаем, если не оправдать, то объяснить наше посягательство на священную основу.

Та же самая математика знает множество случаев, где целое не равно простой арифметической сумме своих частей, а меньше ее: такое, в алгебре, результат сложения положительных и отрицательных величин: там два со знаком плюс и два со знаком минус дает не 4, а 0; такова, в теории векторов и кватернионов, «векториальная» сумма; примером ее может служить положение,

что сумма двух сторон треугольника равна третьей его стороне. В механике, в физике выясняется реальный смысл этих формул: противоположно направленные перемещения тел, силы, скорости, ссоединяясь, уменьшают друг друга; вообще же при различных направлениях подобные величины складываются по закону векторной суммы,—так-наз. «параллелограмм» перемещений, сил, скоростей, и т. под. Все это, в сущности, вещи очень обычные, всем знакомые из опыта: если активности соединяются так, что становятся друг для друга сопротивлениями, вполне или отчасти, то их практическая сумма соответственно уменьшается. Если направления сил противоположны, то они всецело «дезорганизованы»; если совпадают, то вполне координированы или «организованы» против общих им сопротивлений; в промежуточных комбинациях, напр., силы, действующие под углом, они отчасти взаимно ослабляются, отчасти же взаимно усиливаются. Тут и для здравого смысла загадки нет.

Но другой случай—«целое больше суммы частей»? Он легко объясняется через предыдущий, если мы примем во внимание, что активности существуют и изменяются не сами по себе, а по отношению к каким-либо сопротивлениям, как и сопротивления—лишь по отношению к активностям. Возьмем самую простую иллюстрацию.

Два работника убирают камни с поля. Физическая сила каждого из них выражается предельной величиною, допустим, 8 пудов. Но там есть камни и по 10, 12, 14 пудов. По отношению к ним, работник индивидуально бессилен: т.-е., измеренная объективно, по ее реальному эффекту, его активность, примененная к ним, определяется величиной нуля.—Но вот оба работника соединяют свои силы. Соединение получится, конечно, несовершенное: они будут не только помогать, но отчасти и мешать друг другу. Реальная сумма их усилий в пределе окажется, напр., 15 пудов. Но измеренная по эффекту ее приложения к самым большим камням, она больше единицы, тогда как то и другое слабое равнялись нулю. Целое больше суммы частей; созданся новый фактор действия, тот, который Маркс называл «механической силой масс».

Активности работников, хотя и несовершенно, сложились, а сопротивления не складывались вовсе. Это, очевидно, самая благо-

приятная комбинация. Большей частью соотношение бывает менее благоприятным: складываются и активности и сопротивления. Так, если в лодку сели, вместо одного, два гребца, то не только больше прилагаемая сила, но больше и сопротивление: прибавляется вес лишнего тела, лодка садится глубже, трение с водой значительнее, и т. д. Достаточно, чтобы первая сумма была образована совершеннее, чем вторая, с меньшей потерей; и тогда при наблюдении объективных результатов окажется, что целое больше суммы частей, т. е. сочетание сил организованное.

Чрезвычайно наглядные подтверждения той же мысли дает опыт военного дела. Войны французов с арабами и другими туземцами Сев. Африки показали, что при равном вооружении превосходство европейского солдата над противником в столкновениях один - на - один, ничтожно, и даже вообще сомнительно; но отряд в двести французских солдат уже с успехом мог бороться против 300 — 400 арабов; а армия в 10.000 французов — против 30 — 40 тысяч туземцев. Цифры, конечно, более чем приблизительные; но общий характер соотношения, несомненно, таков, как они выражают: чем больше численность отрядов обеих сторон, тем больше относительная сила европейского войска. Почему? Потому что комбинировать боевые активности становится тем труднее, чем значительнее число боевых элементов; и эту сложную задачу европейская тактика разрешает лучше: благодаря ей, «складывание» военных сил происходит совершеннее, полнее, с меньшими «потерями суммирования», чем для другой стороны.

Аналогично объяснение, которое приходится дать нашему примеру с магнитом и его оправой. По теории магнетизма, все частицы мягкого железа магнитные, все обладают «круговыми электрическими токами», обуславливающими магнитное действие. Но при обычных условиях все такие элементарные магниты-частицы расположены беспорядочно, их магнитные действия скрещиваются по всем направлениям и взаимно уничтожаются. В магните, природном или искусственном, имеется частичная «поляризация», т. е. элементарные магниты повернуты, в более значительной части, в одну сторону одинаковыми полюсами; и магнитные действия, соответственно этому, складываются. В мягком железе магнит, в свою очередь, вызывает такую же поляризацию, поворот магнитных молекул или круговых токов к одностороннему направле-

нию; часть активностей складывается, переставая быть друг для друга сопротивлениями; получается организационный эффект — увеличение суммы действия.

Так объясняется организационный парадокс. Мы живем в мире разностей: мы ощущаем только разности напряжений энергии между внешней средой и нашими органами чувств; мы наблюдаем, мы измеряем только разности между активностями и сопротивлениями. Если, с одной стороны, ряд активностей, а с другой, ряд сопротивлений складываются не одинаково совершенно, то находящаяся в опыте разность между обоими рядами окажется больше, чем результат сложения прежних отдельных разностей: целое больше суммы частей.

## Х.

Точное определение организованности таково, что это понятие оказывается применимым универсально, на всех ступенях бытия, а не только в области жизни: всюду, где могут комбинироваться те или иные активности, те или иные сопротивления. Из определения следует, что абсолютно-неорганизованное невозможно в опыте; если бы оно и существовало, то мы ничего о нем не могли бы знать. В самом деле, представим себе, чем оно должно быть: это такое сочетание активностей, в котором они направлены вполне беспорядочно, вплоть до малейших, до бесконечно-малых своих элементов. Следовательно, все эти их элементы между собою сталкиваются, являются друг для друга сопротивлениями, и во всем своем бесконечно-большом числе взаимно парализуются, взаимно уничтожаются. Но тогда они не могут оказать никакого сопротивления нашим усилиям: тут нечего ощущать и воспринимать; с точки зрения нашего опыта, это — чистейшее «ничто»..

Даже, когда мы наблюдаем «дезорганизованные» сочетания, то они всегда получаются из организованных частей; иначе эти части не были бы доступны опыту. И весь мировой процесс необходимо является для нас процессом организационным. Это — бесконечно разветвляющийся ряд комплексов разных форм и степеней организованности, в их взаимодействии, в их борьбе или объединении.

## XI.

Мы хотели объяснить себе поразительно «схематические совпадения» различных методов и продуктов как человеческой деятельности, так и природы. Для этого мы искали общего характера всех этих процессов, сознательных и стихийных, и нашли его, а именно—характер организационный. Тем самым определилась и основа исследуемых совпадений: пути и способы организации, которые, как видим, для самых несходных элементов могут оказываться сходными.

Это чрезвычайно важный для нас вывод. Если человек опираясь на свое сознание, а природа помимо всякого сознания вынуждены в своей организационной работе идти одними и теми же путями; если централистический способ организации приложим для людей в обществе, для муравьев в их родовой коммуне, для светил в звездных системах, для электронов в атомах; если ритм и периодичность служат организующим моментом едва ли не для всех явлений мира, и т. д., и т. д.,—то в нашем опыте возможно установить гораздо больше единства, чем до сих пор допускалось обыденным, и даже научным мышлением. Вдумаемся в этот вывод:

Все, самые разнообразные, самые далекие одни от других, качественно и количественно, элементы вселенной могут быть порождены одним и тем же организационным методом, организационным формам.

В чем состоит тайна науки? В том, что несоизмеримо-различные ряды явлений наука связывает так, что результатом являются предвиденье и целесообразность. Мы видели, что в ее корне лежит тайна труда, практики. В поисках за решением мы еще расширили вопрос: человеческую практику мы сопоставили со всей жизнью, со всем движением природы. Все это обобщилось для нас одной—организационной концепцией. И вот, оказалось, что обобщение наше не только формальное, не голая отвлеченность: оказалось, что за ним скрываются какие-то еще глубокие, универсальные закономерности, применимые ко всем и всяким организационным процессам, каков бы ни был их деятель, каковы бы ни были элементы.



социализма, задача триединой, целостной организации людей, вещей, идей.

Ясно, что она не может быть построена иначе, как научным путем. Чудеса нынешней техники основаны на комбинациях несравненно менее сложных и трудных; однако, они возможны только благодаря методам и формулам математических, естественных, вообще специальных наук, концентрировавших, каждая в своей области, опыт человечества. Для разрешения всеобъемлющей организационной задачи эти специальные науки, очевидно, недостаточны, в силу своего частичного характера, своей раздробленности. Тут необходима наука столь же всеобъемлющая, которая охватила бы в его целом организационный опыт человечества. Без такого собирания, без такой систематизации этого опыта, преобразование общества, устраняющее коренную анархию в его строении, было бы утопией, столь же наивной, как мечта о воздушных кораблях до развития механики и физики.

### ХІІІ.

До сих пор история ставила перед человечеством новые задачи только тогда, когда они были уже разрешимы для него. Но «разрешимая» еще не значит—легкая. Развитие новой, универсальной науки встретит, особенно при первых своих шагах, огромные препятствия. Их главным источником будет специализация...

Специализация оказала и продолжает оказывать человечеству величайшие услуги в борьбе с силами и тайнами природы. Но она создала также некоторые привычки мышления, консервативные и прочные, способные в данном случае сыграть роль вредных предрассудков.

Специализация дробит поле труда и мысли, чтобы лучше им овладеть. Но дробление означает сужение этого поля для работников-специалистов, — а вместе с тем и ограничение их кругозора. Лучшие представители науки давно поняли это, и не раз указывали на отрицательную сторону специализации. В занимающем нас вопросе, к несчастью, именно эта сторона неизбежно выступит на первый план.



Чем больше дробились и расходились между собою специальности, чем более обособленно они жили и развивались, тем сильнее укоренялась в специалистах привычка рассматривать каждую отрасль опыта, как особый мир с особыми законами, а вместе с тем стремление охранять границы этого мира, склонность заранее считать всякую попытку перейти их или нарушить—за ненаучную и вредную фантазию. Как известно, именно со стороны специалистов наибольшее сопротивление, часто ожесточенную борьбу, встречали те открытия, которые основывались на перенесении методов из одной специальной отрасли в другую,—которые вели к сближению или слиянию.

Специализация теперь господствующий тип развития: если в науке она достигает, может быть, крайней степени, то ведь и в обыденной практике—кто не «специализирован» в том или ином смысле и степени? Оттого указанные нами привычки-предрассудки распространены повсюду. Они и мешали до сих пор часто даже заметить, и особенно—исследовать многочисленные, поразительные совпадения организационных форм и методов в самых отдаленных одна от другой областях жизни и опыта.

«Истинный», закоренелый специалист, если ему скажут, что возможно и следует установить общие законы сочетаний, равно применимые ко всяким без различия элементам, будем ли мы брать за такие элементы звездные миры или электроны, людей или камни, представления или вещи,—вероятно, не станет даже возражать на столь явную нелепость, а только пожмет плечами. Но он будет неправ, этот почтенный «филистер специальности» (так их назвал Эрнст Мах, знаменитый физик, физиолог и философ). Столь явная нелепость на деле возможна, и доказательства искать недалеко—в той же, хотя и специализированной, науке.

Существует наука—и, как раз самая точная,—которая дает законы и формулы сочетаний для каких угодно элементов вселенной. Это—математика. В ее схемах численные символы могут относиться ко всяким безразлично объектам—звездным мирам или электронам, людям или вещам, поверхностям или точкам,—и законы счетных комбинаций остаются одни и те же. Для математики все объекты сравнимы, все подчинены одним и тем же формулам, как величины; для новой всеобщей науки все они сравнимы, все подчинены одним формулам, как организационные элементы.

## XIV.

Специализация порождает еще одно, и очень крупное, затруднение на пути новой науки—это особый технический язык каждой отрасли. Когда одни и те же соотношения выражаются разными символами, то мы неизбежно принимаем их за разные соотношения и не можем их обобщить. Но в разных отраслях чрезвычайно часто одно и то же обозначается разными словами, и, наоборот, одни и те же слова получают разный смысл. Примеров можно указать сколько угодно.

Все содержание политической экономики сводится, по существу к исследованию того, как люди приспособляются к объективным условиям труда. Но «приспособление»—термин биологии, а в экономических произведениях его редко даже встретишь; там, вместо: «человек экономически приспособляется», говорят: «человек действует сообразно хозяйственной выгоде».—Коренное единство феодальных форм у всех народов долго скрадывалось от историков благодаря тому, что феодалы в одних странах назывались сеньорами, в других—удельными князьями, в третьих—князьями, и т. д. Малые боги католицизма называются святыми, и потому, католицизм, вопреки своему объективному характеру, до сих пор многими причисляется к религиям единобожия: специалисты по католической теологии слишком редко знали сколько-нибудь серьезно теологии «языческие».—Но особенно яркую иллюстрацию нашей мысли дает как раз понятие «организовать». Оно чуть не в каждой отрасли труда и познания выражается иначе.

О людях, о коллективе обыкновенно говорится: «организовать», об усилиях, о движениях чаще—«координировать», и знаниях, фактах—«систематизировать». Когда труд организует элементы, взятые из внешней природы, в планомерное целое, это называют в одних случаях: «произвести» продукт, в других—просто «сделать» его; если продуктом является здание, машина, то—«построить». Организовать разные элементы жизни, мысли, чувства в эстетическое целое—обозначается: «создать» художественное произведение, «сочинить» роман. Во многих специальностях то же общее понятие находит выражение в терминах частных операций: «написать» книгу (подразумевается вся работа мысли и воли, а отнюдь не только движения

писца), «нарисовать» картину, «сшить» костюм (план, моделирование костюма, кройка, примерка и пр.—большая организационная работа, а отнюдь не одно спивание ткани), и т. под.

Нам показались бы, конечно, смешными сочетания слов: «организовать» машину, здание, книгу, картину, костюм. Но это—дело привычки, а привычка—не доказательство. Нам не смешны выражения: «построить теорию», «построить партийную организацию», «произвести реформу», и т. под. В каждом из специальных выражений «координировать», «построить», «сочинить» и т. д., без сомнения, есть особый оттенок, указывающий на ту или иную специальную технику организационного процесса. Но этот оттенок вполне определяется в указании на организуемый объект: понятно, что строить дом, строить теорию и строить партию приходится технически разными приемами, а также разными создавать поэму, картину, статую, костюм; не зачем еще другой раз указывать то же самое в глаголе: это плеоназм, и плеоназм вредный, мешающий обобщению.

Множественность специальных словесных обозначений—одно из важнейших условий, препятствовавших обобщению организационного опыта, его объединению в форму универсальной науки.

## XV.

Насколько, в действительности, будет нова эта наука? Ее материалом будет весь организационный опыт, и, прежде всего, конечно, старый опыт, накопленный человечеством, но только существующий в разрозненном виде, не собранный, не разработанный. Ее методы будут те же методы старых наук: индуктивное обобщение, основанное на сводке наблюдений и, где возможно, на точных экспериментах; отвлеченная символизация; дедукция. Новой окажется лишь точка зрения, воплощающаяся в самой постановке задачи, и планомерная работа над этой задачей.

Но так ли нова и точка зрения? К счастью, она тоже имеет свое прошлое, свои многочисленные зародыши и преобразы.

Первый из них заключается в самой человеческой речи, точнее—в том ее принципе, который Макс Мюллер назвал «основной метафорой». Речь возникла из «трудовых междометий»,

непроизвольных звуков, сопровождавших разные акты труда; и первые слова были обозначением только человеческих трудовых действий. Универсальным выражением опыта речь могла сделаться лишь благодаря тому, что те же слова стали применяться для обозначения аналогичных стихийных действий, происходивших в природе. Напр., слово, выражающее акт разбивания, дробления предметов в производстве, охоте, войне, стало относиться и к действию лавины, разбивающей, дробящей разные предметы в своем падении; или слово, означающее акт копания, рытья,—к действию потока, прорывающего себе новое русло, и т. под. Через величайшее различие, какое имеется в опыте,—различие человека и внешней природы, сознательности и стихийности,—язык уловил и признал принципиальное единство соотношений. Не ясно ли, что здесь, в скрытом виде, уже есть начало новой, всеобъединяющей точки зрения?

Далее, она же выступает еще определеннее в «народной мудрости», с ее пословицами, притчами, баснями и пр. Какая-нибудь пословица «в единении сила», или соответствующая ей притча о венике и прутиках объединяет огромную массу организационного опыта, относящегося к комбинированию активностей и сопротивлений во всех, самых различных областях опыта: в жизни человеческих коллективов, в сфере технических сочетаний разных материалов и энергий, в группировке знаний и мыслей, и т. д. Почти такую же массу, и столь же разнообразного опыта дезорганизационного охватывает, в своей наивнообразной форме, пословица «где тонко, там и рвется»: всякая система начинает дезорганизоваться с пункта наименьшего сопротивления, будет ли это организация людей, или живое тело, или орудие, или ткань, или теория, и т. д.—Нет надобности продолжать примеры. Здесь перед нами действительное,—но донаучное и потому не-научное выполнение той задачи, которую ставит наша новая наука.

## XVI.

В большей мере прообразом, чем зародышем новой науки, является старая философия. Отыскивая единство мира, она не

понимала, что оно может быть установлено только, как единство организационных методов и форм; она представляла единство фетишистически-отвлеченно. Но в свои построения она старалась вносить научную широту и методичность; поэтому она подготовила не мало материала для новой науки.

Одно из философских построений стоит особенно близко к новой точке зрения. Это—диалектика Гегеля. Гегель хотел установить универсальный метод «развития» для вселенной, в ее целом и в ее частях. Под «развитием» он, в сущности, понимал метод или путь организации всевозможных систем. Но гегелевская диалектика не была на деле универсальной, потому что взята из ограниченной сферы—отвлеченного мышления. Не была универсальной и позднейшая вариация диалектики—материалистическая. Но глубина и широта замысла обусловила огромное историческое влияние диалектики на развитие научной мысли.

## XVII.

Новая наука должна родиться из нынешней науки. Есь ее материал, все ее методы должны быть исследованы с новой точки зрения <sup>1)</sup>.

И самой нынешней науке эта точка зрения не так чужда. С разной степенью определенности, она выступает во многих теориях, связывающих наиболее отдаленные одна от другой области бытия, наиболее разнообразные формы явлений. Таковы особенно теории общей физики. И не только теории. Даже среди отдельных экспериментов есть настолько проникнутые этой точкою зрения, что их скорее можно отнести ко всеобщей организационной, чем к какой-либо из специальных наук.

Вот примеры. Канто-лапласовская теория происхождения миров находит опору в формах планетных туманностей, кольцах Сатурна, и также в известном опыте Плато. Жидкий масляный шар в смеси двух других жидкостей, имеющей одинаковый с ним удельный вес, будучи приведен во вращение, воспроизводит форму кольца Сатурна. По методу—опыт физический; по цели—

<sup>1)</sup> Такому исследованию посвящена «Всеобщая организационная наука», в трех частях (1913—1922).

космологический. Куда его отнести? И по составу и по условиям среды, что общего между гигантской туманностью из разреженного газа в пустом эфире и масляным шариком в жидкости? Но есть общая закономерность в процессах строительных, т.-е. организационных.

Бючли приготовлял «искусственные клетки» из пенистой или эмульсионной смеси, не имеющей по химическому составу ничего общего с живой протоплазмой. Эти клетки воспроизводили переливающиеся движения живых амёб; этим решается вопрос о физическом строении протоплазмы. Что это за опыт? Отнести его к молекулярной физике? Но вопрос, о котором идет дело, биологический. К биологии? Но объект опыта—вовсе не живые тела. Это несомненно, эксперимент из области законов организации вообще.

Чтобы выяснить возможное расположение электронов в атоме, современные физики строят модели с электро-магнитом или наэлектризованным кондуктором и плавающими маленькими магнитами или токами. Ясно, насколько несоизмеримы такие модели с тем, что они изображают. Значит ли это, что опыты нелепы? Нет, потому что смысл их в принципах строения, в принципах мировой организации.

Нынешняя наука полна элементов науки будущего, как нынешнее общество заключает в себе массу элементов будущего строя...

\*\*\*

Наука есть коллективизм опыта.

История поставила перед нашим поколением необходимую задачу: обобщить и обобществить организационный опыт человечества. Задача трудная, материал ее подавляюще-громоздкий, самые прочные традиции прошлого ей враждебны.

Что же! Значит, эта задача не для робких и слабых, и не для людей прошлого...

Растущий великий коллектив разрешит ее на своем пути к решению той задачи, для которой она является средством—мировой организационной задачей социализма.

## О тенденциях пролетарской культуры.

(Ответ А. Гастеву).

(1919).

1. Вопрос о пролетарской культуре нельзя решать слишком просто: это сложный и трудный вопрос.

2. Его следует решать на основе живой действительности, путем исследования тенденций развития.

Вот положения, для нас вполне бесспорные, нами всегда проводившиеся, и которые только по странному недоразумению тов. Гастев выдвигает, как нечто новое.

«3. Решать этот вопрос следует всецело исходя из техники производства, из его «тончайшего молекулярного анализа».

Так пытается решать его тов. Гастев. Здесь начинается наше расхождение с ним. Мы полагаем, что исследование нарождающейся культуры следует вести, исходя в первую очередь из условий техники, но не всецело из них, не только из них. Третье положение противоречит второму: оно берет не всю живую действительность с ее тенденциями, а только часть ее, одну сторону. Технический процесс производства есть основа социальной жизни, но не вся эта жизнь. Пролетариат живет трудом, но не исключительно в труде: он живет также в сфере экономических отношений к капиталу и рынку, как продавец рабочей силы и покупатель предметов потребления. Он живет также в сфере возникающей отсюда политической, а затем и «культурной» борьбы, в узком смысле слова. Пролетарская жизнь есть целое, и надо исследовать ее в целом, а не вырывать кусок, хотя бы и очень важный, основной. Здесь Гастев хочет

решать вопрос черезчур «просто»,—значит, как видим, вступает в противоречие и с первым своим положением.

4. «Металлургия Нового Света, автомобильные и аэропланые фабрики Америки и Европы и, наконец, военная промышленность всего земного шара нового мира — вот новые гигантские лаборатории, где создается психология, где фабрикуется культура пролетариата». Это «надо принять как аксиому», повторяет затем Гастев.

И на это мы не согласны. Решение вопроса становится еще более «упрощенным». Вместо целой живой действительности берется уже не одна ее сторона, а кусок этой ее стороны. И берется без анализа. Механическое производство в общем можно признать передовым: научная техника, концентрирующая гигантскую сумму накопленного опыта, огромная концентрация живой рабочей силы. Но разве ниже по научно-технической прогрессивности, напр., химическая индустрия Германии? А затем, насчет «всей военной промышленности земного шара» следовало быть много осторожнее, именно со времени мировой войны. Дело в том, что «промышленная мобилизация», с необыкновенным расширением военной индустрии, втянула в нее огромную массу отсталых элементов, по всему прошлому не пролетарских, а мелко-буржуазных и крестьянских. Коренной пролетариат всюду был сильно разбавлен, а во многих случаях прямо-таки затоплен ими. Сразу стать «культурным авангардом» рабочего класса они, конечно, не могли. Напротив, как раз отсталостью этих масс определились некоторые организационные особенности самой военной индустрии, в том числе, как увидим, одна важнейшая, по мнению Гастева, тенденция.

Итак, уже в исходных пунктах нашего критика есть несомненные ошибки и противоречия. Но, прежде чем проследить, как они на деле приводят его к ложным выводам, нам надо остановиться на одной скрытой ошибке, свойственной не одному Гастеву, на ложной предпосылке, которая бессознательно принимается в наше время огромным большинством людей. Это — смешение трех глубоко-различных организационных понятий: «планомерная организация», «регулирование», «нормирование».

Гастев, несомненно, разделяет нашу основную идею относительно культуры вообще, классовой или не классовой: именно,



что она сводится к совокупности методов и средств организации социальной жизни людей. Согласится он, вероятно, и с тем, что пролетарская культура идет в направлении планомерной организации жизни, сначала самого класса, затем всего общества. Но что такое эта планомерная организация?

Когда в Германии был широко проведен государственный капитализм, то многие — вероятно, почти все — экономисты рассматривали его, как «планомерную организацию» экономики общества, проведенную буржуазией в ее интересах. На самом же деле это была далеко еще не планомерная организация, а только регулирование, в наибольшей же части и того меньше — всего лишь нормировка.

Через широкую и глубокую реку требуется построить мост. Постройка «планомерно организуется» инженерами. Что сюда входит? Сначала исследование местных условий, т.-е. приобретение новых, относящихся к задаче данных. Затем составление и разработка плана, т.-е. комбинирование этих данных с накопленным раньше техническим опытом при помощи научных методов. Затем подбор соответственных работников, приобретение материалов, орудий, целесообразное распределение всех этих элементов производства. Наконец, сообразное с планом выполнение самого дела. Можно ли охватить такую совокупность организующих актов одним понятием «регулирования»? Конечно нет.

Регулирование — это только «упорядочение» того, что делается, внесение правильности в идущий процесс работы. Глубже лежит вся творческая сторона процесса, которая и есть его основа. Ее можно обозначить, как «комбинирование» разных элементов процесса — взявши термин в самом широком значении: комбинирование данных опыта в стройный план, живых и мертвых элементов производства в цельную действенную группировку.

Когда этим путем создан план и реально собраны воедино все условия его выполнения, тогда «дело» идет этап за этапом к своей цели: организованной системе вещей, называемой мостом. В самом ходе дела возникают несогласованности и противоречия. Напр., рабочие, исполняющие одну операцию, не успевают за другими, которые ведут другую, технически предшествующую или последующую; у иных обнаруживается нерасчетливость в обраще-

нии с материалом, или неосторожность с машинами; некоторые служащие вызывают недовольство и протест подчиненных, чем нарушается ход работы; какие-нибудь доставленные машины оказываются по величине полезного действия ниже, чем предполагалось, какие-нибудь строительные материалы не с теми коэффициентами сопротивления, что значились в проекте и по договорам с поставщиками, и т. под. Тогда выступает на сцену второй момент организационного процесса: «регулирование». Оно устраняет противоречия, вносит необходимую согласованность во взаимоотношения разных живых и мертвых факторов, изменяет для этого их пропорции, темп работы, отбрасывает негодное, и т. д. Оно не создает, а исправляет то, что уже есть; оно само по себе не инициативно, а только следует за событиями, за требованиями, которые предъявляет ход дела. Оно подобно судебному приговору, который не предотвращает преступления, но восстанавливает нарушенный им порядок.

Самый характер регулирования бывает различен. Здесь представляется два типических случая: «индивидуализация» и «нормирование». В первом согласование вырабатывается специально для тех данных условий, которые вызвали вмешательство регулирующей активности; напр., выяснив, насколько рабочие одной функции отстают от рабочих другой, с нею связанной, соответственно увеличивают число первых или уменьшают число вторых; устраняют инженера, которым рабочие недовольны; перевычисляют и изменяют размеры некоторых частей постройки соответственно найденным на деле коэффициентам сопротивлений материалов, и т. п. Во втором случае ограничиваются применением какой-нибудь «нормы», которая должна служить для всех случаев подобного рода; напр., рабочим предписывается определенный дневной «урок», с требованием, чтобы они его выполняли или увольнялись; на выражение недовольства отвечают штрафами и предложением подчиняться или уходить; материалы постановляют принимать только вполне соответствующие первоначальным предположениям, а в противном случае отсылать их обратно. Словом, это — регулирование по шаблону.

Не надо думать, что творческий организационный момент относится только к началу процесса, в нашем примере — технического предприятия. Нет, в разной степени, он играет роль и на

дальнейших стадиях. Во-первых, если в ходе дела обнаружится много новых, не предусмотренных обстоятельств, или извне жизнь предъявит новые потребности, то может понадобиться пересмотр выработанного плана, переорганизация всей системы; напр., выяснится очень быстрый экономический рост окружающего района, и возможность того, что мост должен будет вскоре обслуживать гораздо более широкий транспорт; или вероятность того, что он понадобится для стратегических целей, т. под. В любом капиталистическом предприятии этот момент выступает во всяком расширении производства, при всяком техническом или организационном усовершенствовании, при введении новой машины, а также когда предприятие приспособляют для выделки нового продукта, и т. д. Вообще, в развивающейся системе он имеется постоянно, и есть именно двигатель развития.

Во-вторых, творческий момент, хотя и в ослабленной степени (без характера инициативы) сопровождает и большинство случаев регулирования, особенно там, где применяется индивидуализация: тут прежде всего комбинируются данные и делаются выводы, и результат является частично-новым, если не в качественном, то в количественном смысле. То же относится и к нормировке в ее начальной фазе, когда норма вырабатывается: это акт комбинационного, созидательного характера. В дальнейшем, когда норма или шаблон только применяется, творческий момент уменьшается до ничтожной величины, и регулирующий акт становится просто механическим.

В деле планомерной организации сторона инициативно-творческая, очевидно, является по преимуществу человеческой, всего меньше может передаваться мертвому механизму, всего больше зависит от культуры работника — от суммы его опыта и знания, от навыка в применении методов, от гибкости нервно-психического аппарата. Напротив, сторона регулятивная, а особенно регулирование по нормам, по шаблонам, несравненно меньше связана с этими условиями; путем технического упрощения, путем дробления на отдельные, частичные операции, она доводится в массе случаев до такой элементарности, что легко передается сначала не квалифицированному и мало-культурному работнику, а затем даже машине.

Именно об этом шаблонном регулировании говорит Гастев следующее:

«Технический контроль теперь становится, как это ни странно, привилегией самых неквалифицированных рабочих. Мало того, в дальнейшем технический контроль эволюционирует так, что контролируют уже не чернорабочие, а специальные механизмы, инструменты, машины»...

Но когда это приводит его к выводу о «машинизированной системе трудового управления», о том, что «машины из управляемых переходят в управляющие» (он сам подчеркнул это курсивом), — то для нас уже должно быть ясно, что он впал в недоразумение. Если, напр., рабочий вытаскивает стальные шарики, а контрольная машина отбрасывает в сторону те из них, которые отклоняются от нормальной величины диаметра, или имеют царапины, неровности, то это далеко еще не значит, что машина стала «управляющим», т.-е. организатором производства. Он смешал организаторскую функцию вообще с ее низшей стороною — шаблонно-нормировочной. А где же вся главная, инициативно-творческая сторона, и где даже высшие формы регулирования, с индивидуализацией условий?

Во многих машинах давно имеются регуляторы силы пара, силы тока, скорости движения, и пр. Когда такой регулятор поставлен, положим, на известное число оборотов в секунду, то понятно, что тем самым «регулируется» затем и внимание рабочего и темп его действий. Но значит ли это, что машина им распоряжается? Он должен быть, поистине, фетишистом, чтобы так воспринимать факты. Пусть он не сам установил норму скорости машины; но он знает, что она установлена другими участниками производства, на основании коллективно-трудоого опыта, воплощенного в науке. Таким образом мнимая власть машины является для него — если он не фетишист — лишь выражением его организационной связи с другими людьми, и даже с другими поколениями, опыт которых мог быть учтен в данной норме. Если другие, установившие норму, социально-чужды ему, не принадлежат к его товарищескому коллективу, — пусть это буржуазно-инженерская интеллигенция, — то он ощущает над собою власть, но не власти машины, а враждебно-классовую; она будет тогда порождать в

нем идеологию борьбы, а не идеологию «нормализации», как полагает Гастев.

Но он ссылается на те «нормировочные тенденции», которые идут уже из самого рабочего класса. Они, по словам Гастева, обозначались в западно-европейском пролетариате, особенно английском, еще тогда, когда «современный машинизм не развернулся так широко», еще «на заре рабочего движения». Отразились они и в России. На первом плане Гастев ставит «нормы выработки», борьба за которые объединила рабочих всей России во время революции. Они отнюдь не просто преследовали цель нарочитого организованного понижения производительности. «Нет, они в своем роде представляли классовую гордость пролетариата». В своем развитии эта нормировочная тенденция «обещает невиданную старым миром классовую претензию пролетариата — работать не только в пределах своей нации, но и на всем земном шаре с совершенно одинаковым темпом».

Поразительно, до какой степени предвзятая идея мешает ясности взгляда, беспристрастности исследования. Самые различные вещи смешиваются воедино, когда они внешним образом подходят под заранее принятую схему. И еще тот же Гастев без малейшего одобрения называет меня «схематиком»!

Всякому экономисту и многим даже неэкономистам известно, что «нормировочные тенденции» английских трэд-юнионов «на заре рабочего движения» были прежде всего пережитком предшествующей ремесленно-цеховой регламентации. Оттого в этих нормировках было так много бесспорно-реакционного. И видеть в них тенденцию пролетарской культуры!

Иного характера борьба за нормы выработки, напр., у нас в революционную эпоху при обострении классовой борьбы. Эти нормы устанавливаются не по среднему рабочему, а ниже среднего, чтобы не выбрасывать за борт значительную долю работников. Поэтому они способны «организованно понижать производительность», и Гастеву приходится их оправдывать «классовой гордостью», в форме «претензии на одинаковый темп работы». Для трудового класса, стремящегося взять в свои руки всю организацию производства в целях высшего прогресса, такая невыгодная для производительности «гордость одинакового темпа» может показаться странной. Но она имеет свои, временные основания.

Где всего важнее и нужнее «одинаковый темп»? В армии. Для чего он требуется? Для сплочения боевой массы. «Нормы выработки» знаменуют коллективизм не труда, а социальной борьбы, служат не для технического прогресса, а для победы. Очевидно, это лишь временная и частичная тенденция. Строить на ней пролетарскую культуру, значит — впадать в «консерватизм», который так любезно тов. Гастев мне всецело уступает.

Но, — говорит он, — нормировочная тенденция совпадает с общей тенденцией развития машинизма. Недаром «война с ее массовым нормализованным производством» закрепила торжество III тарифного типа приведенных таблиц. Это тип «массовой работы, лишенной какой бы то ни было печати», где господствует «один пронизывающий метод — метод резца и шестерни». И далее: «Это именно тот тип, куда идет деклассификация высших и квалификация низших типов. Он характеризуется высшей степенью машинизации труда, его нормализованностью, об'ективизмом работы, чуждой всяких индивидуальных эффектов, и, наконец, точностью самой работы». Действительно, если месяц за месяцем точить, в сотнях тысяч, в миллионах, шрапнельные трубки или патронные гильзы одного и того же калибра, какие уж тут индивидуальные эффекты! Но это ли идеальный тип работника?

III тип до войны, т.-е. в более нормальных условиях производства, был мало распространен; а война его страшно размножила. Почему? Потому что потребовалось сразу в сотни раз увеличить производство шаблонных элементов потребительной техники: патронов, снарядов, винтовок, полевых орудий, и пр. Были привлечены массы не-пролетарского, городского и сельского населения, без навыков индустриальной техники, без пролетарского заводского воспитания. Приспособить их к новому делу в кратчайший срок было возможно только путем полного сведения работы к шаблонам, путем крайней «нормализации». Что же, этот неизбежный на время способ обработки отсталых, непролетарских рекрутов военной промышленности предопределяет линию развития пролетарской культуры в целом? Было бы слишком печально, если бы это было возможно. К счастью, для этого нет никаких оснований. Иго милитаризма, всюду, а не только в казарме, механизмирующего людей, будет и здесь в свое время сброшено пролетариатом.

С неуклонной последовательностью, которая заслуживала бы лучшего применения, тов. Гастев делает, поистине, грозные выводы:

«Социальное нормирование в недрах рабочего класса чувствуется не только в области чисто трудовой жизни, но проникает во весь социальный уклад, во весь быт... Постепенно расширяясь, нормировочные тенденции внедряются в боевые формы рабочего движения: стачки, саботаж, — в социальное творчество, питание, квартиры, и наконец, даже в интимную жизнь, вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата». (Курсив мой. А. Б.).

Эта чудовищная арапчьеващина есть, конечно, порождение не производственного коллективизма, а милитаристической муштровки.

И еще вывод — о «величайшей стихийности пролетарского мышления», соединенной с «поразительной анонимностью, позволяющей квалифицировать отдельную пролетарскую личность» каким-нибудь номером или буквой. Он пытается уверить, что это не обыкновенная стихийность, «шалая, слепая», а какая-то иная, высшая. Но увы! — вот картина, которую сам он тут же рисует: «мощные, грузные психологические потоки, гуляющие из края в край мира», с психологическими «включениями, выключениями, замыканиями»... Это именно картина так-называемых «панических массовых настроений», с резкими переходами от под'ема к упадку, от боевого порыва к покорной сдаче или безумному бегству. Это — не коллектив, это всего лишь толпа, или даже стадо.

Гастев недаром отказывается характеризовать пролетарскую культуру ее коллективизмом. Это, по его мнению, ничего не выясняет. «Коллективы-артели, коллективы-коммуны, коллективы религиозные, политические, социальные... Их было тысячи», — говорит он.

Да, их было тысячи; и потому надо исследовать, тов. Гастев, а не просто отмахиваться. И от этих тысяч надо перейти к тому единому, пролетарскому трудовому коллективу, который и создает, сперва стихийно, а потом, все более сознательно, новую культуру. И когда «схематик» исследовал, то оказалось вот что.

Пролетарский коллектив отличается и определяется особой организационной связью, которая называется товарищеским сотрудничеством. Это такое сотрудничество, в котором организаторская и исполнительская роль не раз'единены, а связаны в общей совокупности работников, так что нет властного авторитета и нерассуждающего подчинения, а есть общая воля, которая решает,— и участие каждого в выполнении общего дела. Где же работа требует прямого руководства отдельного лица, там вместо авторитета и власти выступает товарищески признаваемая компетентность; и тот, кто в одном деле был инструктором, в другом может сейчас же следовать указаниям товарища, которым только что руководил: организатор и исполнитель часто меняются местами. Это кажется «парадоксом современной специализации» тов. Гастеву, который отмечает возможность того, что установщик III типа будет инструктировать токаря II и I типа <sup>1)</sup>; но это давно отмеченная в «схемах» черта новейшего сотрудничества.

Исследование трудового коллективизма, действительного принципа пролетарской культуры, велось не на основе «элементарной теории классовой борьбы и теории вооруженного восстания». Оно исходило из трудовой техники машинного производства. В этом сам Гастев только последовал по намеченному до него пути.

В ряде работ было показано, как машина порождала и вынуждала новый тип труда, совмещающий особенности организаторского и исполнительского, как при этом возрастает все более основная однородность труда рабочих и преодолевается раз'единяющая сила специализации, как новые технические условия ведут ко все более широкому нервно-психическому прогрессу рабочей силы, к повышению культурного уровня пролетария. Правда, все это опиралось не на опыт мобилизованной промышленности, его тогда и не было, лет за 15 до мировой войны. Но имелся опыт более, чем векового развития машинного производства в нормальных, мирных условиях; и временная обстановка нескольких лет, созданная разрушительными задачами, не может подорвать сделанных выводов.

Напротив, совершенно неверным следует считать вывод Гастева о неизбежном поглощении I и II рабочего типов, типов арти-

<sup>1)</sup> II тип у состава характеризуется разносторонностью подготовки, а I тип артистичностью работы.



стической тонкости и инженерски-разносторонней умелости, обезличенно-механичным III типом. Это — тип только средний, и только для определенного момента, а вовсе не тип нормальный. Совершенно непонятно, почему высшие типы должны «декавалифицироваться», т. е. принижаться к нему. Наоборот, прогресс и усложнение машин вместе с культурным ростом работников должны мало-по-малу возвышать этот тип до нового уровня, сливающего технически-артистическое чутье с универсальной технической умелостью. В коллективе связь создается основной однородностью типа, дающей глубокое взаимное понимание; но единица в нем ценна не «безличностью», а, напротив, «индивидуальностью», которая отнюдь не означает индивидуализма, а означает своеобразие личного опыта и способностей, благодаря которому все единицы дополняют друг друга в целом.

Гастев не видит, насколько противоречит обезличенной «нормализованной» механичности та «социальная конструктивность», в которой он справедливо усматривает важную тенденцию пролетарской культуры. Где уж там безлично-механическому исполнителю «впитать в свою психику весь грандиозный монтаж предприятия»!

А между тем для широкой «социальной конструктивности» требуется «впитать» не только этот монтаж отдельного предприятия. И потому наше исследование на нем не остановилось.

Техника отдельного предприятия, как бы оно ни было грандиозно, способна связать воедино только рабочих этого предприятия. Она не может сама по себе дать связь классового пролетарского коллектива, а следовательно и служить исключительной основой пролетарской культуры.

Товарищеское сотрудничество, которое зарождается и углубляется в рамках мастерской, завода, расширяется и выходит из этих рамок в социальной борьбе. Связь общего экономического положения, общих интересов оформляется и развивается дальше в рабочих организациях, профессиональных, кооперативных, политических, а затем и культурных.

Это надо помнить, а не игнорировать, как делает тов. Гастев, говорящий по этому поводу о «грубой дедуктивности, взятой напрокат из агитационных брошюр». Он слишком «упрощает» и самый вопрос, и свои расчеты с другой стороны.

В его упрощенных схемах есть еще одна сторона, скрытая, но страшно важная. За его коллективом, созданным по образу и подобию отсталых масс, втянутых в индустрию ее мобилизацией, невидимо чувствуются руководящие авторитеты.

В самом деле, способна ли эта масса механизированных безличностей, в головах которой «из края в край гуляют» хотя бы очень «грузные и мощные психологические потоки», — способна ли она — этот III тарифный тип — взять на себя планомерную организацию производства во всей широте и в мировом масштабе? Конечно, нет. Требовать той или иной «нормировки», соглашаться на те или иные нормы, это — да. Но где ей взять художественно-научное творчество и инженерски точный расчет для строительства и прогрессивного развития стройного мирового аппарата, технического и экономического? Эта главная, самая трудная сторона дела планомерной организации — не для нее. Очевидно, это будет даваться откуда-то со стороны. Раскроем скобки: останется социальная группа не обезличенного, полного оригинальности и талантов, ученого и инженерства, которое будет брать на себя инициативу и вести общее руководство над анонимно-стихийным коллективом, при случае считаясь с «замыканиями и размыканиями» гуляющих в нем потоков, но в общем умело их направляя. Это неизбежный вывод, ибо вопроса о сближении, а затем слиянии обоих типов — инженерской и исполнительской рабочей силы — Гастев даже не ставит <sup>1)</sup>.

Вот что в действительности скрывается за верой в «механизированный» коллектив, за фетишизмом «машин, управляющих людьми».

---

Итак, попытка Гастева заключает в себе глубокие ошибки. Но мы не считаем ее «жизненно-бесплодной», как он любезно характеризует всю нашу работу, и не будем искать в ней «консерватизма восточной философии» (откровенно говоря, и не понимаем, что он под этим разумеет).

<sup>1)</sup> Этот вопрос рассматривается в главах о коллективистическом строе трех моих курсов политической экономии «Начального», «Краткого» и курса, составленного вместе со Степановым (мой, 4-ый выпуск II тома, изд. 2-ое, 1923 г.).

Серьезные искания могут вести и к ошибкам; но даже тогда они не бесплодны, даже тогда помогают выяснению дальнего пути.

До сих пор мы имели дело не с такими критиками. Перед нами проходили то «скептические» рассуждения о том, что куда уж бедному, забитому пролетариату строить свою культуру, — хоть бы ему только понять, как следует, свои пятачковые интересы; то иронические замечания о «пролетарской геометрии» со стороны, большей частью, людей не знающих ни геометрии вообще, ни ее социально-исторического развития.

Тов. Гастев суров в своей критике, и, как мы показали, несправедлив. Но он старается исследовать и дать решение вопроса, исходя из положительных основ. Ему повредил недостаток «лабораторной осторожности»; но его попытка все же — материал для дальнейших шагов.

Идея пролетарской культуры не исключает ни критики ни полемики; но и их она делает формой товарищеского сотрудничества. Будем же дальше исследовать и развивать работу!

---

# Пролетарская культура и международный язык.

(Тезисы доклада).

(1919).

1. Если культура есть совокупность организационных методов и форм коллектива, в классовом обществе — классового, и если язык есть основная из организующих социально-идеологических форм, — то пролетарская культура необходимо должна характеризоваться и в области языка своими особыми тенденциями. И если пролетариат развивается в интернациональном направлении, стремится стать международно-классовым коллективом, то он неизбежно должен явиться носителем тенденции к развитию международного языка. Жизненная потребность в этом для него обнаруживается на практике более интенсивно, чем когда-либо для какого-либо другого класса: вся его история доказывает это с жестокой наглядностью.

Область языка вообще отнюдь не является внеклассовой: и лексикон, и стиль речи, и содержание понятий, связанных с одними и теми же словами, у разных классов и теперь уже различны. Но в области языка особенно сильно сказывается подчинение пролетариата культуре старых классов.

2. И в пределах старой культуры экономическое развитие с его расширяющимися в мировые связи товарообмена, породило ту же международно-организующую тенденцию к единому языку. Но она в сильной степени парализовалась и еще больше наскриновалась тенденциями борьбы национальных капиталов, закрепляющей границы между народами, вплоть до искусственной поддержки их лингвистической розни (напр., специальной

очистки немецкого языка от массы заимствованных французских слов).

Однако, монистическая тенденция выступает с большой силой, в виде тысяч взаимных заимствований в лексиконе разных языков, и даже в их грамматическом строении. А знакомство с иностранными языками становится все более постоянным элементом образования.

3. Вполне естественно, что всего ярче монистическая тенденция проявляется в наиболее прогрессивной области социальной жизни—в технической и на основе именно машинного производства, его стремительного развития. Всюду, где создается новая отрасль, вроде автомобильного дела, авиации,—или где новыми приспособлениями глубоко преобразуется старая техника, сразу создается целый комплекс терминов, обозначающих технические элементы и процессы данного производства приблизительно одинаково во всех языках. Также и развитие точных наук, являющихся теперь, по существу, идеологией высшей техники, идет по пути общей терминологии.

В виду основного значения технической области для всей социальной жизни, ясно, что при еще большем ускорении технического прогресса и при устранении враждебных монизму языка тенденций, единый для всего человечества язык создастся с большой быстротой. Но это последнее условие осуществится лишь при коллективистическом строе.

4. Попытки искусственного создания международного языка — волапюк, эсперанто, идо и т. п., — с организационной точки зрения представляются наивными, основанными на непонимании жизненной функции речи. Организовать мировое богатство труда и опыта немислимо посредством выдумки, опирающейся на микроскопический опыт нескольких ученых: организующая форма соотносительна материалу, который она организует, и только на основе этого материала в целом она и может исторически выработаться. На каком-нибудь наивно-шаблонном эсперанто немислимо выразить объективно, т.-е. общезначимо, бесконечную сложность и разнообразие социальных отношений и переживаний с их оттенками и в их сплетении.

5. Следует ли из этого, чтобы культурная позиция пролетариата в области языка должна была сводиться к пассивному

ожиданию результатов стихийно идущего развития? Очевидно, нет: здесь, как и в других областях, задача заключается в том, чтобы внести в развитие планомерность — выяснивши его тенденцию, поддерживать ее и устранять противодействия ей, словом — сознательно идти по линии жизни. Чем это должно выразиться практически? Активным содействием процессу лингвистического объединения, в пролетарско-классовых рамках и соответственно пролетарско-классовым интересам.

6. Конечно, средством для этого в первую очередь служит распространение среди рабочего класса знания иностранных языков. Но оно требует от каждого изучающего затраты огромной энергии, большого количества времени, — а у пролетария свободный избыток того и другого так мал, что нужна величайшая планомерность в организации этой затраты сил, — иначе вместо пользы может получиться большой вред. И необходимо, чтобы работа пролетариата в этом направлении наиболее прямым, кратчайшим путем вела к конечной лингвистической цели, в то же время практически, непосредственно усиливая организационную связь мирового пролетариата.

Все это требует решения задачи о переходной форме международного языка.

7. До развития мирового рынка прогресс лингвистической связи между народами шел по типу простой «ингрессии» (целной связи): каждый народ знакомился с языком своих соседей, не интересуясь, вообще говоря, языком более отдаленных наций... Мировой рынок изменил положение: язык, по крайней мере каждой из великих передовых наций, стал до некоторой степени «универсальным», в каждой стране имея своих представителей, и представляя реальный интерес для туземцев каждой страны. Английский, немецкий, французский встречаются на общем мировом поле и в разной мере разливаются в нем. При этих условиях развитие должно идти уже по иному типу — «агрессии»: — т.-е., тот язык, который в мировой конкуренции оказывается жизненно сильнее других, должен получать все большее преобладание над ними и становиться международным языком по преимуществу. Это и есть его превращение в ту переходную форму, которая нас интересует, — в естественную базу развития единого языка человечества. Ибо, находясь

в наибольшем соприкосновении со всеми народами, в наибольшем общении со всеми другими языками, он в наибольшей мере и должен впитывать их жизненные элементы, усваивать из них все нужное и полезное для мировой организующей функции, — развиваться наиболее быстро и интенсивно в ее направлении.

8. Культурная задача пролетариата в денной области заключается, следовательно, в том, чтобы объективно установить, какой именно язык исторически предназначен к этой роли, помогать ему, чтобы он овладел ею, воздействуя в то же время на него в таком смысле, чтобы он максимально к ней сам приспособлялся.

9. Ряд объективных данных намечают для этой роли английский язык:

а) Наибольшая распространенность по всему миру: этот язык господствует не только на громадном пространстве Британской империи с колониями и Соед. Штатов, — он также служит, хотя в испорченной форме, языком связи для народов Восточной Азии — Китая, Японии. В частности, на нем говорит и наибольшее количество индустриального пролетариата;

в) Наибольшая синтетичность строения: огромная близость к немецкому, скандинавским и другим германским языкам и по грамматике, и по лексикону; к французскому — по лексикону;

с) Огромная пластичность: быстрое историческое развитие, наибольшая сжатость, простота форм;

д) Исход мировой войны.

Важное препятствие — окаменелый пережиток орфографии (отчасти, кроме того, особенная многозначимость английских слов).

10. Культурно-программные выводы:

а) Борьба вообще против национально-кустарнических тенденций в области языка (особенно, где дело касается мелких или отсталых наций).

в) Пропаганда в пролетариате всех стран, кроме англо-саксонских, изучения в первую очередь английского языка. Для пролетариев англо-саксов, напротив, рекомендуется ознакомление с разными языками, не исключительно с французским или немецким, как

большей частью теперь бывает (конечно, каждому пролетарию в отдельности очень редко может найтись время изучать больше одного языка).

с) Преобразование — по собственной инициативе пролетариата, не только англо-саксонского, но международного. — варварской орфографии английского языка в рациональную, — быть может, и с некоторыми грамматически-упрощающими реформами.

д) После такого преобразования — объявление этого языка международно-пролетарским; и практические меры, отсюда вытекающие.

Параллельно со всем этим должна идти теоретическая разработка вопроса о такой постановке изучения языков, при которой оно не имело бы обычного, механического, одуряющего характера, а являлось изучением, действительно, определенной идеологии, вводящим в жизнь народов и в организационное развитие общества. Уже сейчас многое для такого изучения сделано сравнительной филологией. Но надо специально поставить такую задачу, и по мере ее решения вырабатывать соответственного типа учебники, особенно того же английского языка.

11. Не надо рассчитывать на скорый успех, или хотя бы скорое признание этой программы: национализма окажется достаточно даже в германском пролетариате; а мелкие нации, наверное, займут реакционную позицию. Но предвидение и планомерность в этой области могут и должны дать пролетарско-культурному движению большой плюс и влияние, хотя бы позже.



## Законы новой совести.

Новая культура неизбежно вырабатывает свои руководящие нормы поведения людей. Высшая культура означает высшие нормы. Они исходят из развития высшего коллектива, того, который в нашу эпоху завершает дни своего детства в виде социального класса — пролетариата, и который, достигнув зрелости, объединит и сольет в себе все человечество. Это, конечно, не «заповеди» в старом смысле слова, а нормы целесообразности для коллектива; они выражают условия наибольшей его жизнеспособности, его тенденции к наибольшей организованности, его собственные организационные законы.

Душу исторических коллективов представляют их основные формы сотрудничества. Высший коллектив характеризуется товарищеской связью. Но к этому коллективу, к этой форме связи человечество шло через низшие формы: через стадность зародышевых первобытных общин, через авторитарность ограниченных организованных обществ и через индивидуализм буржуазного мира. Эти ступени запечатлелись в культурных формах прошлого, которые не только сохраняются еще и теперь, но в общем и целом до сих пор господствуют.

Заповеди новой совести являются и отрицанием норм этих низших ступеней, и утверждением высшей формы культуры. Этим определяется логическая цель их формулировки, отражающая борьбу и смену культур.

Еще одно отличает новые нормы от прежних. — то, что они обращены не только к человеческим единицам, личностям, но и ко всем и всяким частичным организациям высшего коллектива — рабочего класса в его историческом развитии.

Тут нет непогрешимости: ошибаться, нарушать эти нормы может не только каждый отдельный член коллектива, но и самые широкие из его организаций, даже весь пролетариат на том или ином из этапов его боевого и творческого пути. Пролетариат данного момента, это только часть великого коллектива, развертывающегося во времени, только звено в цепи сотрудничества его поколений. И наше нынешнее понимание жизненных его законов тоже, конечно, не окончательное. Но все же оно — истина времени, если его основа действительно охватывает опыт прошлого и настоящего в труде и в мышлении.

### I. Не должно быть стадности.

Первобытная стадность была безличным, стереотипным единством людей в их маленьком коллективе. Стадным является и теперь человек, который безлично и пассивно сливается со своим ограниченным, частичным коллективом, подчиняясь его настроениям и мыслям, не стремясь критически и творчески отнестись к ним, поднять их выше, внести в них новое и лучшее.

Стадными и теперь очень часто бывают люди в толпе; самый резкий пример — паника. Стадность в мышлении не так бросается в глаза, как стадность чувства или порыва, — но в жизни имеет еще больше значения. Это — мещанская, и не только мещанская, боязнь «быть не как все» в своем кругу, нарушать его привычки, приличия, моды.

К стадности относится всякое стихийно-пассивное подчинение социальной среде. Так, на войне человек находится в грубом и жестоком окружении, сам вынужден совершать грубые и жестокие дела. Но мерой его стадности может служить то, насколько он при этом сам становится грубым и жестоким, т. е. насколько начинает выходить в подобных проявлениях из пределов вынужденности, из рамок внешней необходимости.

Стадность толпы, группы, организации порождает борьбу против того, что пытается быть не стадным. Нередко толпа в паническом настроении бешено набрасывается на того, кто ему не поддается и пробует внести сознательность в ее действия, или вообще не идет по ее линии. Случалось также наблюдать у отстающих рабочих, что при забастовке на одной фабрике бастующие не

позволяли никому из своих поступать на другие, работающие фабрики, потому что для стадного сознания это ощущается, как убыль общей силы.

В отрицании стадности коллективизм сходится с индивидуализмом; но мотивы здесь резко различны. Индивидуалист отстаивает против стадности только себя и свое; коллективист же стремится к возвышению и совершенствованию своего коллектива, и отстаивает свое не как свое, но как лучшее, и не для того, чтобы обособиться от коллектива, но чтобы дать ему это лучшее, и на такой основе удержать и развить свое единство с коллективом. Безличное существо — не истинный член коллектива, член его только тот, кто дает ему нечто свое, большое или малое, но лично и свободно осознанное, и потому неизбежно иное, чем то, что дают другие. Стадная единица ничего не прибавляет к коллективу, кроме своей механической силы, и при этом увеличивает его инерцию. А это может быть полезно, пока движение целого идет по установившейся, прямой линии, — но неизбежно вредно в наиболее важные моменты движения, на его исторических поворотах.

Стадность — это стихийный зародыш коллективизма, она несовместима с его высшею, осознанною формою.

## II. Не должно быть рабства.

Рабство, авторитарность заключается в слепом подчинении высшей индивидуальности или в требовании такого подчинения. Вопрос об этом рабстве, не внешнем, а внутреннем, есть вопрос об отношении рядовых членов коллектива к вождям и вождей к ним.

Необходимость единства, решительности и быстроты в коллективном действии, в боях социальной борьбы, ведет к тому, что массы часто должны по доверию следовать за своими вождями, не имея времени контролировать, даже ясно осознать их директивы. Но в каждом данном случае это должно быть только доверием к испытанной компетентности, не превращаясь в преклонение перед авторитетом; оно требует последующего осознания и проверки; только тогда оно может сохра-

нить характер товарищеского отношения, свободного от рабско-авторитарных элементов.

Из этого ясно, что подчинение по доверию допустимо вообще только в сфере действия, но не в области мысли. В выработке идей и в их усвоении время всегда есть. И тот, кто здесь слепо идет за высшей индивидуальностью, тот по существу не отличается от религиозных последователей любого из пророков прошлого.

Раб тот, кто отдает человеку или частице коллектива то, что принадлежит всему великому коллективу — свою волю и разум. Борцом за рабство является человек или организация, которые требуют, или хотя бы допускают, такое отношение к себе. Товарищество тогда превращается в пустое слово.

В борьбе против авторитарности коллективист сходится с индивидуалистом. Но глубоко различны мотивы, различен весь смысл и результаты этой борьбы. Индивидуалист идет против порабощения личности, отстаивая себя и свое, и признавая за другими право такого же отстаивания; но он проникнут духом конкуренции, войны всех против всех; его цель — личная победа, а ее достижение само ведет к порабощению других, — тогда он сам легко превращается во власть и в авторитет для побежденных. Так исторически превращалась буржуазия из борца за свободу в капиталистического работодателя. Такой путь и исход совершенно невозможны для того, кто против авторитета и рабства отстаивает, не себя и свое, а свободу и творчество великого коллектива.

Сила авторитарности в том, что она организует; в этом она даже выше индивидуализма. Но ее организованность в основе своей еще стадна; а возможность развития вся сосредоточивается в высшей личности или господствующей группе. База развития узка и не способна к расширению; а развитие жизни рано или поздно требует его, и тогда рамки рабства — авторитарности должны быть разорваны, или становятся мертвящими оковами для жизни.

Новая культура означает неограниченное расширение базы развития, воплощенной в неограниченно раздвигающемся коллективе.

III. Не должно быть субъективизма, ни личного, ни группового.

Субъективизм личный, это индивидуализм; групповой — это

кружковщина, цеховая узость, профессионализм, патриотизм, национализм,—всякое замещение великого коллектива, как центра интересов и мысли, како-нибудь его исторически данною частицею. Все формы субъективизма ведут его к разрозненности и борьбе, самые широкие, такие как национализм — к наиболее жестокой и разрушительной. Здесь и узость развития, и растрата сил коллектива в анархических столкновениях.

Для рабочего класса вопрос о преодолении всех форм такого субъективизма в своей среде есть вопрос о превращении в действительный коллектив. Индивидуализм его разрознивает, а часто и отнимает ценные силы, когда одаренные и энергичные пролетарии, одерживая личные победы в жизни, подчиняются своей карьере и отрываются от своего класса. Групповая узость вводила и продолжает вводить обширные отряды пролетариата в ошибки при выборе линий исторического пути, в долгие блуждания с бесплодной растратой сил. Профессиональная ограниченность породила трэджюнионизм с его мелкими идеалами и духом компромисса; она же не раз в тяжелые эпохи революционной борьбы побуждала целые группы и сильные организации пролетариата ради своих временных интересов изменять целому, жертвовать его единством и его великими задачами. В наше время квалифицированные верхи западного пролетариата, более счастливые, имевшие доступ ко многим благам буржуазной культуры, оторвались от обездоленных низов и, подчиняясь буржуазному способу понимания своих интересов, принизили знамя своей борьбы. От этого сила пролетариата развилась надвое, и часто расхождением двух частей сводится к ничтожеству.

Со всем этим должна бороться новая культура, и все это она будет преодолевать по мере того, как жизнь будет направлять рабочий класс по ее пути.

#### IV. Не должно быть готтентотства.

Готтентотство — условное обозначение, повод для которого подала характеристика добра и зла, высказанная, будто бы, одним готтентотом: «добро, когда я краду; зло, когда у меня крадут». Такое применение претивоположных критериев для себя и для других бесконечно распространено в нашу эпоху. Всего ярче оно

выступает в оценках событий войны и всякой обостренной борьбы: на каждом шагу одинаковые действия со стороны противника клеймятся позором, со стороны своих рассматриваются, как вполне естественные или восхваляются; так было с истреблением пленных и другими военными жестокостями; Версальский же мир — грандиознейший памятник цивилизованного готтентотства.

Острота классовой борьбы легко создает уклон к готтентотству и среди мало сознательных элементов пролетариата, и среди тех его идеологов, которые наиболее пропитаны духом старой культуры. Готтентотство практических оценок часто дополняется готтентотством мышления, когда в критике и полемике к другой стороне предъявляются требования, которых к своей заведомо не относят, напр., в том, что касается умственного консерватизма, односторонности, рабско-религиозного следования авторитетам. Существует даже наивно-теоретическое оправдание готтентотства, наиболее обычное у профессионалов политики: «мы отстаиваем наши интересы, и должны оправдывать все, что им соответствует, отрицать и порицать все, что им вредит; никакого беспристрастия тут быть не может, — оно было бы выгодно только для врагов, которые, ведь, не станут платить таким же беспристрастием». Ошибка заключается здесь в старом, буржуазном понимании «своих интересов», как некоторой непосредственной выгоды, материальной, политической, идеологической, получаемой личностью или данным ограниченным коллективом, хотя бы даже классовым, но взятым не в его развитии, а только в данный момент. Сила классового сознания в его цельности и неуклонной последовательности, они для пролетариата имеют то же значение в борьбе и творчестве, что «дух армии» в войне, они выражают всечеловеческую тенденцию пролетариата к преодолению классов, они — высший интерес, который не должен никогда нарушаться ради частных и низших. В действиях пролетариат должен на удары отвечать ударами, в оценках, в логике он должен быть объективен, завоевывая тем право быть представителем человечества как целого. Солдатская же логика принижает его до уровня враждебных ему групп и классов, подрывая в нем силу идеализма.

Готтентотство — производное стадности, для которой целое — только свой ограниченный коллектив, и группового субъективизма,

который целого вообще не видит. Высшая культура должна все это преодолеть.

#### V. Не должно быть абсолютных норм.

Высшая культура — носительница объективного в руководстве практикой и мышлением. Но объективные нормы не абсолютны: они выражают жизнь развивающегося через борьбу и творчество коллектива; а развитие, борьба, творчество не могут быть закованы в абсолютные формулы. Принимая исторически-объективное — истину времени — за над исторически-абсолютное или вечную истину, многие идеологи становились на путь застоя и реакции. Высшая культура — не мертвая, неизменная оболочка, а живая одежда растущей жизни.

\*

#### VI. Не должно быть инертности.

Стадность, рабство, групповая ограниченность неизбежно тяготеют к остановке движения. Движение вперед совершается не по гладким путям, творчество не только радостно, но и болезненно, как роды. Стадности недоступно новое и высшее; рабство, авторитарность враждебны ему, потому что оно нарушает тяжело достигнутую и с трудом сохраняемую гармонию, угрожает устойчивости самого центра этой гармонии — авторитета; групповой субъективизм, опираясь на узкую базу развития, держится за ее рамки и борется против их расширения.

Трудно учиться, еще труднее переучиваться. Оттого высокая культурность очень часто становится препятствием для прогресса культуры. Устойчивое безумие английской орфографии зависит оттого, что каждое взрослое, вошедшее в активную жизнь поколение уже оказывается хорошо обучено этой трудной грамоте, за тратило на нее массу сил, а всякое упрощение нужно еще усваивать, с ломкой сложившегося знания и навыка, с новой тратой энергии. Так и квалифицированные верхи нынешнего пролетариата на Западе, хорошо усвоившие немало из буржуазной культуры, с ее духом конкуренции и компромисса, проявляют много стихийной инертности по отношению к революционным урокам, которые дает им история.

Еще глубже стихийно-бытовой консерватизм отсталых слоев пролетариата, который и в более революционных его низах сказывается нередко, и может быть, еще сильнее. Оплотом этого консерватизма служит особенно семья, где так упорно держится рабство — авторитарность, произвол грубой силы.

Буржуазный мир преодолевал инертность человечества в технике, в экономике, в науках суровостью своей борьбы, беспощадностью к отсталым. Новая культура ведет на другой путь преодоления — через победу над разрозненностью, через дружное товарищеское объединение усилий во всепобеждающий поток творческого труда.

## VI. Не должна нарушаться чистота целей.

Революционный пролетарий, сознательный социалист смотрит в будущее; но очень большая доля его души принадлежит прошлому. Сопровождая работника на пути его великой борьбы, это прошлое постоянно предъявляет свои права, и где ему удается — загрязняет великие цели чуждыми им, мелкими мотивами.

Здесь типичны две группы мотивов — импульсы выгоды и мести. Те и другие обычно приспособляются, как бы переодеваются в костюм идеальных целей, порождая своеобразный самообман, где низкое выдается за проявление высшего.

Активный борец выдвигается на видные позиции — допустим, в депутаты парламента. Это дает ему обеспеченность, досуг, почет. Это может быть очень хорошо и нужно для дела; но дух старого мира легко тут находит дорогу для переодетых мотивов выгоды. Человек убеждает себя, что именно на такой работе, и ни на какой иной, он может приносить наибольшую пользу, что именно парламент — лучшее орудие революционной борьбы, и т. под. Происходит отрыв от прямой массовой борьбы, развиваются парламентские иллюзии. — Аналогичным путем шло бюрократическое вырождение секретарей английских и немецких профсоюзов, торгашеское вырождение бельгийских и иных кооперативов: мелким заволакивалось великое.

Труднее прослеживаются превращения мотивов мести. В напряженной классовой борьбе жестокие, истребительные действия могут быть объективно необходимы. Вряд ли можно сомневаться,



что нерасчетливое великодушие победившего народа по отношению к его врагам, такое как во французских революциях 1830 и 1848 годов, только сберегало силы этих врагов и побуждало их в моменты, когда победа переходила к ним, тем более жестоко расправляться с этим народом — в июньские дни 1848 г., при подавлении Коммуны... Но надо, помнить, что всякое об'ективно лишнее истребление и разрушение, всякая ненужная жестокость преступны по отношению к человечеству, деморализуют коллектив и уменьшают энергию, которой он может располагать в дальнейшей борьбе и в труде. Сколько обманутых, сражавшихся за реакцию, стали потом драгоценными солдатами революции, сколько техников и ученых, сначала враждебных ей, стали потом незаменимо-полезными работниками в ее строительстве! И насколько лучше овладеть дворцами для народа, чем их разорять. Член великого коллектива не должен уподобляться жалким дикарям-погромщикам, опустошающим завоеванную страну — свое достоинство. Но слишком легко сладкая месть за свои пережитые страдания одевается в костюм «необходимой жестокости», — нужно большое внимание к своим целям и мотивам, даже для крупных и высоко-сознательных работников, чтобы избежать преступных ошибок этого типа.

Преобразованную форму мести представляет ренегатство. Честно переменявший убеждения, конечно, не ренегат; это имя относится к тем, кто после перемены убеждений злобствует против своих вчерашних друзей, специально и с особенной охотой берет на себя их преследование. Современная психология выясняет, что в этом скрыта перенесенная на других месть за свои собственные ошибки. Ренегатство грязнит человека и унижает коллектив.

Не столь грязна, разумеется, но тоже вредна и неразумна подобная месть, направленная на себя самого. — то, что называется «раскаянием» или «угрызениями совести». Это бесплодная растрата психических сил, нужных для работы. Осознанная ошибка должна вести только к изменению линии действий: если ее вред можно исправить, хорошо; если нет — надо возместить его полезными усилиями в других направлениях.

Коллектив живет будущим, а не прошлым. И в живое будущее, а не в мертвое прошлое должен быть устремлен взгляд работника.

## VIII. Всеовладение — величайшая цель.

В своем развитии, в борьбе и труде коллектив организуе т мир: в этом смысл его пути. Всем должен он владеть, все своей силою связать в гармоническое целое. Отсюда — уважение к труду, живому и мертвому, постоянная забота о росте его энергии, о расширении его поля. Беречь для коллектива силы и время каждого со-работника, и свои также, овладевать для него продуктами прошлого труда, хранить и на пользу ему их тратить, искать для него новых путей, новых источников энергии, вперед и вперед нести его знамя в борьбе со стихиями — это заповедь силы коллектива и воли к его победе

## IX. Всепонимание — высший идеал новой совести.

Это — самое глубокое выражение того же процесса всеовладения, его интимный момент. Оно имеет начало во взаимном понимании сотрудников, на котором основывается сплоченность и стройность коллектива, самая возможность гармонического сочетания усилий в одно целое. Понимание это было полным, но стихийным, в эпоху первичной стадности, стало неполным в периоды авторитарной и анархической связи людей, когда оно подрывается неравенством, разрозненностью, противоречиями взаимной борьбы. Оно должно стать вновь полным, но уже осознанным взаимопониманием сотрудников товарищеского коллектива, постоянно углубляющимся единением в области воли, ума и чувства. Это душа коллектива, его общее сознание. Эту связь в ее развитии лишь слабо и неполно могут выразить слова об уважении к сотруднику, заботе о нем, любви...

Но понимание должно идти, и с самого начала шло, дальше и шире. Проникая в жизнь других существ, овладевая их слабой психикой, оно дало людям возможность приобрести полезных союзников, скромных, но верных друзей среди природы. Где было бы теперь человечество без той поддержки, которую оказали ему в охотничьей фазе собака, в кочевой и земледельческой лошадь, корова? По этой линии прогресс понимания теперь замедлился, — но неизбежно должен ускориться в дальнейшем развертывании.

Только истинное понимание внутренней жизни всего живого даст людям полное овладение тайнами жизненной организации, в которых ключ и к полному самопознанию человечества.

А границы между живым и не-живым уже разрываются. Настанет время, когда интимное бытие того и другого раскроется для человечества. Тогда ничто в природе не будет ему чуждым, — нити коллективной воли и мысли свяжут во-едино весь мир.

## Х. Гордость Коллектива — верховный стимул воли и мысли работника.

В авторитарные времена гордость служения «Вышей Воле» вела пророков к чудесам героизма и мученичества. В опустошенном от богов индивидуалистическом мире ее сменила гордость служения «Истине» и «Долгу». Под этими масками скрывались жизненные устремления коллективов.

В растущем великом коллективе все осознается — срываются маски божества и ствлеченной идеи, нет больше преклонения, нет служения. Самосознание работника есть сознание себя живым звеном великого всепобеждающего целого. Это — гордость Коллектива, которою должны быть пронякнуты каждый шаг, каждая мысль работника, гордость, которая должна быть его неизменной опорой и верховным контролем. Она отвратит его от всего мелкого и пошлого, от всего, что недостойно творческой миссии человека. Это — надежная магнитная стрелка, прямо направляющая работника на путь к высшему.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
От издательства . . . . .	5
От автора . . . . .	10
<b>Новый Мир</b> . . . . .	12
I. Собираание человека . . . . .	13
II. Цели и нормы жизни . . . . .	37
III. Проклятые вопросы философии . . . . .	77
Социализм в настоящем . . . . .	94
1918 . . . . .	100
Возможно ли пролетарское искусство . . . . .	104
Пролетариат и искусство . . . . .	117
Что такое пролетарская поэзия . . . . .	125
О художественном наследстве . . . . .	142
Критика пролетарского искусства . . . . .	158
Простота или утонченность . . . . .	175
Пути пролетарского творчества . . . . .	192
Наука и рабочий класс . . . . .	200
Наука и пролетариат . . . . .	222
Идеал воспитания . . . . .	231
Пролетарский университет . . . . .	238
О провинциальных пролетарских университетах . . . . .	263
Методы труда и методы познания . . . . .	270
Тайна науки . . . . .	289
О тенденциях пролетарской культуры . . . . .	315
Пролетарская культура и международный язык . . . . .	328
Закон новой совести . . . . .	333